Вирджиния

ВУЛФ

Миссис Дэллоуэй
На маяк



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Миссис Дэллоуэй. На маяк
Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. Миссис Дэллоуэй. На маяк
Миссис Дэллоуэй
На маяк
Окно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
Проходит время
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Маяк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Аннотация

Кларисса Дэллоуэй, светская дама пятидесяти с небольшим лет, готовится к приему, который организует у себя дома. Утром она выходит из дома за цветами, она их очень любит, надо обязательно украсить ими дом к вечеру. Гуляя по Лондону, она вспоминает свою юность, первую любовь. В другом районе Лондона Септимус Уоррен Смит, ветеран Первой мировой войны, страдающий от контузии, идет со своей женой Лукрецией на прием к психиатру. День Смита переплетается с днем Клариссы и ее друзей, их жизни сходятся воедино, когда вечеринка достигает своего апогея. Узнав о трагедии со Смитом, Кларисса переосмысливает свою жизнь и отношение к смерти.

Мастерский роман Вирджинии Вульф, в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются в один знаменательный день в июне 1923 года. «На маяк» – книга категорически необычная. Два дня, разделенные десятилетним промежутком времени. Изображенные идеи, настроения и духовный

опыт. Память, с помощью которой постепенно и незаметно в этот тонкий и изящный роман входит большая жизнь. Таково самое знаменитое произведение Вирджинии Вулф.

На его страницах большая семьи Рэмзи, проводя лето на острове Скай, мечтает отправиться к маяку, который виден с их берега. Ежедневно миссис Рэмзи сообщает, что отец отвезет их туда на следующий день. Однако поездка все откладывается и откладывается.

Описав эту историю, Вулф сумела нарисовать причудливый объемный рисунок человеческих взаимоотношений и рассказать, как и что думают женщины и мужчины, пока их никто не слышит.

Вирджиния Вулф
Миссис Дэллоуэй. На маяк

© Д. Целовальникова, перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Вирджиния

ВУЛФ

✣

Миссис Дэллоуэй
На маяк

МОСКВА
2023

Миссис Дэллоуэй

Миссис Дэллоуэй сказала, что цветы купит сама.

У Люси и так полно забот: двери с петель снимать, доставку из кондитерской Румпельмайера встречать. И потом, подумала Кларисса Дэллоуэй, утро выдалось дивное — свежее, будто созданное для отдыха на море с детьми.

Наверное, то же самое чувствует жаворонок, взмывая в небо. Какое раздолье! Давным-давно, в Бортоне Кларисса распахивала настежь стеклянные двустворчатые двери и вырывалась на свежий воздух, чувствуя примерно то же, что и сейчас. Ранним утром воздух прохладный, спокойный, гораздо спокойнее, чем в городе, конечно; как плеск воды, как поцелуй волны — студеный и резкий, и все же упоительный, особенно для восемнадцатилетней девушки. Кларисса стояла в дверях и ждала: ей казалось, того и гляди произойдет невообразимое. Она смотрела на цветы, на деревья в дымке и на грачей, порхающих в кронах, стояла и смотрела, пока Питер Уолш не спросил: «Предаешься мечтам среди овощей?»

Так ли он выразился? «Лично я предпочитаю людей, а не цветную капусту». Так ли?.. А может, это было за завтраком, на террасе? Питер Уолш вроде бы возвращается из Индии — то ли в июне, то ли в июле, точно Кларисса не помнила, потому что письма у него ужасно скучные; вспоминаешь скорее глаза и улыбку, перочинный нож, разные словечки, резкие замечания и — как странно, столько всего кануло в вечность — подобные фразы про капусту.

Кларисса помедлила на обочине, пропуская фургон Дартнолла. До чего очаровательна, подумал Скруп Первис (знакомый с ней, насколько могут быть знакомы соседи, живущие рядом в Вестминстере); похожа на птичку вроде сойки — сине-зеленая, подвижная, жизнерадостная, хотя самой уже за пятьдесят и после болезни изрядно поседела. Смотрит сверху вниз, как всегда, его не замечая, вся подобралась, ждет, когда можно будет перейти дорогу.

Прожив в Вестминстере — сколько уже? более двадцати лет, — Кларисса полагала, что даже посреди уличного движения или ночью в постели поневоле ощущаешь особую торжественность, неописуемое затишье, тревожное ожидание перед тем, как Биг-Бен начинает бить. (Впрочем,

виной тому может быть перенесенная инфлюэнца, давшая осложнение на сердце.) Ну вот, гудит! Сначала мелодично предупреждает, потом уверенно отбивает часы. По воздуху расходятся свинцовые круги. Какие мы глупцы, думала она, переходя Виктория-стрит. Лишь небесам ведомо, почему мы ее так любим, что мы в ней находим, выдумывая на ходу, выстраивая вокруг себя, опрокидывая и каждый миг создавая заново; точно так же делают даже самые последние замухрышки, понурые горемыки, что пьянствуют на ступеньках, упиваясь своим падением; с ними не справиться никакими указами парламента именно по этой причине: они любят жизнь. В глазах прохожих, в мерном движении, в топоте ног, в сутолоке; в шуме легковых автомобилей, омнибусов, грузовиков, в шарканье рекламных агентов со щитами на спине и на груди, в реве духовых оркестров, шарманок; в ликовании и звоне, в чужеродном высоком гуле аэроплана над головой было все то, что Кларисса так любила, — жизнь, Лондон, миг июньского утра.

Стояла середина июня. Война закончилась, хотя и не для всех: миссис Фокстрот сокрушалась вчера в посольстве, что тот славный мальчик погиб и старое поместье отойдет к его кузену;

и леди Бексборо, говорят, открывала благотворительный базар с телеграммой в руке — Джон, ее любимец, убит; но все кончено, слава небесам, кончено! Наступил июнь. Король с королевой вернулись во дворец. И повсюду, даже в столь ранний час, кипит жизнь, несутся вскачь лошади, стучат биты — вновь открыт крикетный стадион «Лордс», ипподром «Аскот», поло-клуб «Ранелаг» и прочие подобные заведения; серо-голубая утренняя дымка скоро развеется, по лужайкам и центральным площадкам заскачут лошади, едва касаясь передними копытами земли, закружат лихих наездников; смеющиеся девушки в прозрачных муслиновых платьях, протанцевавшие ночь напролет, выведут на прогулку вздорных мохнатых собачонок; и даже теперь, в этот ранний час, несутся по загадочным делам знатные пожилые леди в своих автомобилях; владельцы магазинчиков суетятся в витринах вокруг стразов и бриллиантов, прельщая американок дивными, цвета морской волны брошами в оправах под старину (нужно экономить, никаких опрометчивых подарков для Элизабет!), и сама Кларисса, питавшая ко всему этому пылкую и нелепую страсть, чувствовала себя частью этой жизни, ведь ее предки были придворными

во времена правления Георгов, и сегодня вечером она тоже собирается зажигать и блистать, потому что устраивает прием! До чего странно, войдя в парк, погрузиться в тишину, в дымку, в гул — медленно плавают довольные утки, несуразно переваливаясь, бродят зобастые пеликаны, а кто же шагает ей навстречу, возвышаясь на фоне здания министерства, как ему и подобает, и несет коробку для бумаг с королевским гербом, кто, как не Хью Уитбред, старый друг, неподражаемый Хью!

— С добрым утром, Кларисса! — воскликнул Хью с неуместной высокопарностью, ведь они знакомы с детства. — Какими судьбами?

— Обожаю гулять по Лондону, — призналась миссис Дэллоуэй. — Гораздо приятнее, чем за городом.

К сожалению, они приехали показаться докторам. Иные приезжают в Лондон посмотреть картины, послушать оперу, вывезти дочерей в свет, а Уитбреды тут, чтобы «показаться докторам». Кларисса навещала Эвелин Уитбред в лечебнице бессчетное множество раз. Неужели Эвелин снова больна? Эвелин немного расклеилась, сообщил Хью и доверительно качнулся всем своим мужественным, чрезвычайно кра-

сивым, упитанным и элегантно наряженным телом (он всегда одевается хорошо, даже слишком, видимо, непыльная должность при дворе обязывает), (как бы) намекая, что жена испытывает легкое недомогание, ничего серьезного, и Кларисса Дэллоуэй как давняя подруга должна бы догадаться сама, без лишних подробностей с его стороны. Ах да, конечно, какая досада, — откликнулась она, одновременно с сестринской заботой ощутив странную неловкость за свою шляпку. Наверное, не особо подходящий выбор для утренней прогулки. В присутствии Хью, который продолжал говорить, экстравагантно приподнимая шляпу и заверяя Клариссу, что она выглядит лет на восемнадцать, и он, разумеется, придет к ней сегодня, Эвелин настаивает, только немного задержится на приеме во дворце, куда нужно отвести одного из сыновей Джима, — Кларисса всегда терялась, чувствуя себя школьницей, и в то же время была к нему очень привязана, отчасти потому, что знала Хью целую вечность, отчасти потому, что считала его по-своему милым, хотя Ричарда он бесил до невозможности, а что до Питера Уолша, так тот до сих пор не простил ее за то, что Хью ей нравился.

Она вспомнила сцены, которые Питер закаты-

вал ей в Бортоне; Хью, конечно, ему не соперник, однако не такой уж набитый дурак, каким выставлял его Питер, и вовсе не напыщенный болван. Когда престарелая мать хотела, чтобы он отказался от охоты или отвез ее на курорт в Бат, он подчинялся без единого слова — эгоистом он не был, а утверждения ее дорогого Питера, что у Хью нет ни сердца, ни мозгов, лишь манеры и воспитание английского джентльмена, выставляют его самого не в лучшем свете; конечно, порой Хью просто невыносим, зато с ним приятно прогуляться погожим летним утром.

(Июньская листва буйно зеленела. В Пимлико матери кормили грудью своих младенцев. В адмиралтейство поступали депеши с флота. Казалось, Арлингтон-стрит и Пикадилли заряжают самый воздух парка упоительной энергией, которую Кларисса так любила, и каждый листок трепещет и поблескивает на его горячих, живительных волнах. Когда-то она обожала и танцевать, и кататься верхом.)

Хотя они с Питером расстались сто лет назад и она никогда ему не писала, а его письма были сухими, как пожухлая листва, порой Кларисса задумывалась: что сказал бы Питер, будь он рядом? Временами он всплывал в ее памяти — спокойно,

без прежней горечи — пожалуй, такова награда за былую привязанность; вот и сейчас, прекрасным летним утром, они нахлынули посреди парка Сент-Джеймс. Впрочем, каким бы чудесным ни был день, и деревья, и трава, и маленькая девочка в розовом, Питер ничего этого не замечал. Если бы Кларисса ему сказала, он надел бы очки и посмотрел. Его интересовало положение дел в мире, музыка Вагнера, поэзия Поупа, человеческая натура в общем и недостатки души Клариссы в частности. Как он ее честил! Как яростно они спорили! Ей впору выйти замуж за премьер-министра и встречать гостей, стоя наверху лестницы, — образцовая хозяйка, вот как Питер ее обозвал (после этого Кларисса плакала у себя в спальне), у нее есть все задатки образцовой хозяйки.

И вот она идет по Сент-Джеймсскому парку, продолжая тот самый спор и доказывая себе, что правильно — конечно, правильно! — не вышла замуж за Питера. Ведь между людьми, живущими в браке день за днем, в одном доме должно быть хоть немного свободы, хоть немного независимости, которую дает ей Ричард, а она — ему. (К примеру, куда он отправился сегодня утром? В какой-то комитет, в подробности она

никогда не вникала.) С Питером же приходилось делиться абсолютно всем, он вникал во все. И это было настолько невыносимо, что во время сцены у фонтана Клариссе пришлось с ним порвать, иначе они погибли бы оба, она уверена, уничтожили бы друг друга. Впрочем, эту острую стрелу в сердце она носила еще много лет, сама не своя от тоски и горя, а потом ужаснулась, когда на каком-то концерте узнала, что Питер женился на женщине, которую встретил во время плавания в Индию. Такого забывать нельзя! Он назвал ее холодной, бессердечной недотрогой. И никогда-то она не понимала его чувств! Зато их отлично поняли те простушки на пароходе — пустоголовые смазливые дурынды. И незачем его жалеть! Он вполне счастлив, заверил Питер, абсолютно счастлив, хотя и не добился ничего, о чем они столько говорили в юности, — жизнь совершенно не удалась. Злости на него не хватает!

Она дошла до ворот парка и немного постояла, разглядывая омнибусы на Пикадилли.

Теперь она ни о ком не судила бы, что он такой или эдакий. Кларисса чувствовала себя совсем юной и в то же время чудовищно старой. Она вонзалась в городскую суету, словно нож, и в то же время взирала на происходящее как бы

со стороны. Наблюдая за лондонскими такси, она ощущала себя выпавшей из жизни и такой одинокой, словно находится в открытом море; ей всегда казалось, что прожить хотя бы день — очень, очень рискованно. Она не особо умна, в ней нет ничего выдающегося. И как только ей удалось пройти по жизни с теми крупицами знаний, которыми снабдила своих учениц фрейлен Дэниелс? Кларисса не знает ни иностранных языков, ни истории, редко берет в руки книгу, разве что мемуары перед сном, тем не менее вся эта круговерть ее совершенно поглощает; она больше не скажет ни про Питера, ни про себя, что он — такой, а она — эдакая.

Единственный ее талант — распознавать окружающих почти интуитивно, на ходу размышляла Кларисса. Очутившись в одной комнате с посторонним, она, подобно кошке, выгнет спину или замурлычет. Девоншир-хаус, особняк графа Девонширского, Бат-хаус, резиденция барона Эшбертона, особняк с фарфоровым какаду в окне — когда-то в них горел яркий свет, и она вспомнила Сильвию, Фреда, Сэлли Сетон — такая уйма народу! — и танцы до утра, и едущие спозаранку на рынок груженые фургоны, и возвращение домой через Гайд-парк. Кларисса

вспомнила, как однажды бросила шиллинг в озеро Серпентин, но к чему вспоминать — это может делать кто угодно! Она любила то, что видела здесь и сейчас, даже тучную леди в наемном экипаже. Разве имеет значение, думала Кларисса, направляясь к Бонд-стрит, разве имеет значение, что придется исчезнуть без следа, что все это уцелеет, а ее не станет? Возмущает ее или утешает, что со смертью все закончится? На лондонских улицах все меняется, все течет, и в том или ином виде она продолжит свое существование, и Питер тоже, ведь они живут друг в друге, и отчасти в деревьях возле старого, осыпающегося родительского дома; отчасти в людях, которых даже не знают; вьются дымкой вокруг тех, кого прекрасно знают, и те вздымают их своими ветвями все выше и выше, словно деревья туман, разгоняя все дальше и дальше, как растекается и ее жизнь, и она сама… О чем же она замечталась, глядя в витрину книжного «Хэтчердс»? Что пытается вспомнить? Что за образ холодного рассвета в сельской глуши видит Кларисса, читая в открытой книге:

Не страшись ни палящего зноя,

Ни яростной зимней стужи[1]...

Недавняя эпоха мировых потрясений открыла в них всех, и в мужчинах, и в женщинах, неиссякаемый источник слез и горя, мужества и выдержки, твердости духа и стойкости. Взять, к примеру, женщину, которой Кларисса особенно восхищается, — леди Бексборо.

В витрине лежат «Прогулки и забавы Джоррока», «Похождения мистера Губки» Р. С. Сертиса, «Мемуары» миссис Асквит и «Охота на крупную дичь в Нигерии» — все раскрытые. Так много книг, и ни одна не годится вполне, чтобы захватить в лечебницу для Эвелин Уитбред. Ничего, что могло бы развлечь эту маленькую увядшую женщину, заставить ее глаза радостно вспыхнуть при виде Клариссы, пока они не завели бесконечный разговор о женских недомоганиях. Чудесно ведь, подумала Кларисса, что люди радуются, когда ты входишь в комнату, свернула за угол и зашагала обратно к Бонд-стрит, досадуя, что некоторые вечно все усложняют. Хорошо живется Ричарду, который всегда поступает по своему усмотрению, в то время как ей, думала Кларисса, стоя на переходе, в доброй половине

---

[1] Сноски: 1

У. Шекспир. «Цимбелин». Акт IV, сцена 2.

случаев приходится действовать с оглядкой, надеясь на ту или иную реакцию окружающих — полный идиотизм, она и сама сознает (наконец полицейский поднял руку), ведь никого-то этим ни на миг не проведешь. Вот бы начать жизнь заново, подумала она, ступая на тротуар, вот бы даже выглядеть иначе!

Клариссе ужасно хотелось быть темноволосой, как леди Бексборо, с тонкой, мягкой кожей и красивыми глазами. Она стала бы медленной и величавой, разбиралась бы в политике как мужчина, жила бы в загородном доме, донельзя почтенная и прямодушная. Вместо этого Клариссе досталась узкая, как стручок, фигурка и нелепая мордашка с носом, напоминающим птичий клюв. Правда, держаться она умела, руки и ноги у нее были изящные, одевалась она со вкусом, хотя и недорого. Но часто собственное тело (она остановилась поглядеть на голландскую картину), при всех его достоинствах, казалось ей ничем — буквально ничем! Порой у Клариссы возникало странное чувство, что ее никто не видит, никто не замечает, никто не знает; что в жизни больше нет места ни замужеству, ни детям, лишь этому мрачному шествию вместе со всеми — по Бонд-стрит шагает некая миссис Дэллоуэй, даже не Кларисса,

просто миссис Ричард Дэллоуэй.

Бонд-стрит ее завораживала, особенно ранним утром — реющие на ветру флаги, магазины обставлены скромно, но со вкусом — рулон твида в витрине ателье, где отец заказывал костюмы пятьдесят лет кряду; пара ниток жемчуга, лосось на льду.

— Вот и все, — проговорила она, глядя на витрину торговца рыбой. — Вот и все, — повторила она, помедлив у магазина, где до войны продавались прекрасные перчатки. Дядюшка Уильям любил повторять, что леди можно узнать по туфлям и перчаткам. Однажды утром, в разгар войны, он отвернулся к стене и сказал: «С меня хватит!» Перчатки и туфли — Кларисса их обожала, а ее собственная дочь Элизабет подобные мелочи ни в грош не ставит.

Ни в грош, подумала она, идя по Бонд-стрит к магазинчику, где покупала цветы для своих приемов. Гораздо больше Элизабет заботит ее собака. Весь дом дегтем пропах. Хотя уж лучше бедняга Гризли, чем мисс Килман! Лучше терпеть собачью чумку и деготь, чем сидеть с молитвенником в душной спальне, как в клетке! Все лучше, чем это, думала Кларисса, однако Ричард считает, что подобную фазу пережи-

вают все девочки. Может, просто влюбилась. Но почему именно в мисс Килман?! Разумеется, бедняжке пришлось несладко, и Ричард говорит, что та очень способная — с ее складом ума впору быть историком. В любом случае теперь они неразлучны, и Элизабет, ее собственная дочь, ходит к причастию; а как стала одеваться, как небрежно обращается с гостями Клариссы; похоже, религиозный экстаз делает людей бестактными, притупляет чувства: ради русских мисс Килман пойдет на все, ради австрийцев готова уморить себя голодом, но терпеть ее в домашней обстановке — настоящая пытка, что за невыносимая особа в своем вечном макинтоше! Носит его год за годом, потеет; уже после пяти минут рядом ощущаешь ее превосходство и собственную неполноценность, ведь она бедная, а ты богатая; она живет в трущобах и спит чуть ли не на голом полу, вся душа проржавела от давних обид — в годы войны ей пришлось бросить школу — что за несчастное, озлобленное создание! Кларисса ненавидела вовсе не ее, а то, что она воплощала, вобрав в себя многое, чего не было в самой мисс Килман; некий фантом, с которым сражаешься в ночных кошмарах; подобные ей агрессоры и мучители стоят над тобой

и высасывают жизненные соки. Несомненно, при ином раскладе Кларисса, может, и полюбила бы ее, только не в этой жизни!

Клариссу раздражало, что в лесной чаще ее души ворочается свирепое чудовище — ломает ветки, взрывает копытами палую листву; она больше не знала ни радости, ни покоя, потому что в любой миг могла пробудиться эта тварь — ненависть, которая за время болезни набралась сил и терзала ее, отдавалась болью в позвоночнике, доставляла буквально физические страдания и мешала наслаждаться красотой, дружбой, хорошим самочувствием, любовью и домашним уютом, заставляя благоденствие Клариссы шататься, дрожать и крениться, словно корни подрывает чудовище, словно его пышная крона — не более чем бахвальство. Ох уж эта ненависть!

«Вздор, вздор!» — вскричала она про себя, толкая двойные двери в цветочный магазин «Малберриз».

Кларисса вошла — высокая, худая, с очень прямой спиной, и к ней тут же радостно подлетела мисс Пим — женщина с плоским невыразительным лицом и ярко-красными руками, словно вечно держит их в холодной воде вместе с цве-

тами.

Дельфиниум, душистый горошек, охапки сирени и гвоздики — уйма гвоздик. И розы, и ирисы. Кларисса вдыхала дивный аромат влажного сада, разговаривая с мисс Пим, которая многим ей обязана и считает ее доброй, очень доброй; такой Кларисса была и раньше, но в этом году постарела… Она переводила взгляд с ирисов на розы, кивала гроздям сирени; опустила веки, наслаждаясь восхитительным запахом и прелестной прохладой после шумной улицы. А потом, открыв глаза, поразилась, как свежи розы — словно белье с оборками, доставленное из прачечной в неглубоких корзинках из ивовых прутьев; темно-красные гвоздики держатся чопорно, гордо задрав головки; душистый горошек раскинулся в вазах, расправив фиолетовые, белоснежные и бледные цветки — словно наступил вечер, и девушки в кисейных платьях вышли нарвать душистого горошка и роз в конце великолепного летнего дня с его чернильно-синим небом, дельфиниумами, гвоздиками, каллами; и время уже между шестью и семью часами, когда каждый цветок — розы, гвоздики, ирисы, сирень — буквально светится белым, фиолетовым, красным, ярко-оранжевым; каждый цветок на влажных

клумбах словно горит изнутри — мягким, чистым светом… О, как Кларисса любила светло-серых мотыльков, кружащих над гелиотропами, над вечерними примулами!

Переходя с мисс Пим от вазона к вазону и выбирая, Кларисса твердила «Вздор, вздор!» уже мягче, словно вся эта красота, запах, цвет, привязанность и доверие мисс Пим — волна, которая ее захлестнула и смела всю ненависть, смела напрочь, приподняла и… И вдруг снаружи раздался выстрел!

— Будь неладны эти авто! — в сердцах воскликнула мисс Пим, выглянула в окно и вернулась с охапкой душистого горошка, смущенно улыбаясь, словно автомобили, издающие резкие звуки, — ее вина.

Виновником оглушительного взрыва, заставившего миссис Дэллоуэй подпрыгнуть, а мисс Пим выглядывать в окно и извиняться, был автомобиль, свернувший к тротуару в аккурат возле витрины «Малберриз». Прохожие, конечно, остановились и принялись глазеть, но успели заметить лишь чрезвычайно важную физиономию на фоне серо-голубой обивки и мужскую руку, задернувшую шторку, — больше смотреть было не на что.

И все же с середины Бонд-стрит мигом понеслись слухи — до Оксфорд-стрит в одну сторону, до парфюмерной лавки Аткинсона в другую — невидимые, невнятные, словно стремительное и легкое облако обволокло окрестные холмы, опустилось внезапным спокойствием и безмолвием на лица, за миг до того совершенно суматошные. Теперь их коснулась своим крылом тайна, они услышали голос власти, повеяло монаршим духом. Впрочем, никто не знал, чье лицо промелькнуло — то ли принца Уэльского, то ли королевы, то ли премьер-министра. Кто это был? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткисс со свернутой в кольцо свинцовой трубой на руке довольно громко заметил, разумеется, в шутку:

— Авто небось премьерское!

Его услышал Септимус Уоррен Смит, которому Уоткисс загородил дорогу.

Септимусу Уоррену Смиту было под тридцать, лицо бледное, нос похож на птичий клюв, одет в коричневые ботинки и потрепанный плащ, в карих глазах — тревога, от которой даже незнакомые люди тревожатся в ответ. Мир уже занес свою плеть — куда она опустится?

Улица замерла. Двигатели стучали, словно

неровный пульс, сотрясающий все тело. Автомобиль стоял ровно напротив витрины «Малберриз», солнце палило вовсю, старушки наверху омнибусов укрылись за черными зонтиками; с легким щелчком раскрывался то зеленый, то красный зонт. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка прильнула к стеклу, недоуменно поджав розовое личико. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки соскочили с велосипедов. На дороге образовался затор. А посреди всего этого — автомобиль с задернутыми шторками, на которых виднелся любопытный рисунок, похожий на дерево, подумал Септимус, и постепенное сведение всех предметов воедино наполнило его ужасом, словно на поверхность поднималось нечто жуткое. Мир задрожал, искривился, готовясь полыхнуть огнем. «Я всем загораживаю дорогу», — сообразил Септимус. Не на него все смотрят и тычут пальцем; не его ли умышленно остановили, приковали к тротуару с непонятной целью? Но зачем?

— Пошли, Септимус, — поторопила жена, миниатюрная итальянка с большими глазами на желтоватом заостренном личике.

Впрочем, Лукреция тоже не могла оторваться

от автомобиля с деревьями на шторках. Вдруг там сама королева — королева выехала за покупками?

Шофер открыл капот, что-то повернул, захлопнул крышку и снова сел за руль.

— Пошли, — повторила Лукреция.

Муж, с которым она прожила уже четыре, нет, пять лет, подскочил, вздрогнул и воскликнул: «Иду!», словно она оторвала его от чего-то важного.

Люди обязательно заметят, люди обязательно увидят. Люди, думала она, глядя на толпу, глазеющую на автомобиль, эти английские люди со своими детьми, лошадьми и нарядами, которыми Лукреция отчасти восхищалась. Сейчас это были просто «люди», потому что Септимус сказал: «Я себя убью» — разве не ужасно говорить такое? А вдруг услышат? Она оглядела толпу. «Помогите, помогите! — хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. — Помогите!» Еще осенью они с мужем стояли на набережной, завернувшись в один плащ на двоих; Септимус читал газету, Лукреция выхватила ее и рассмеялась в лицо старику, уставившемуся на них! Увы, несчастье приходится скрывать. Нужно увести его в какой-нибудь парк.

— Давай перейдем, — предложила она.

Право на безвольную руку Септимуса у нее осталось, хотя Лукреция подобного явно не заслуживала: юная, всего двадцать четыре года, наивная и порывистая — в Англии совсем одна, уехала из Италии только ради него.

Автомобиль с задернутыми шторками направился к Пикадилли с видом непроницаемой сдержанности, сопровождаемый любопытными взглядами с обеих сторон улицы и все тем же дуновением глубокого почтения то ли к королеве, то ли к принцу, то ли к премьер-министру — наверняка не знал никто. Лицо загадочной особы узрело от силы человека три, да и то лишь на пару секунд. Неизвестно даже, мужчина то или женщина. Однако ни малейшего сомнения в величии пассажира не возникло — по Бонд-стрит проехал небожитель, причем буквально на расстоянии вытянутой руки от простых смертных, впервые в жизни очутившихся в пределах слышимости от его королевского величества, долговечного символа государства, которое будет известно пытливым любителям древностей, скрупулезно просеивающим руины былых веков, когда Лондон зарастет травой и все прохожие, спешащие по тротуару этим июньским утром,

превратятся в груду костей с примесью редких обручальных колец и бесчисленных золотых коронок с прогнивших зубов. Даже тогда лицо в автомобиле не изгладится из памяти человечества.

Наверное, королева, подумала миссис Дэллоуэй, выходя с цветами из «Малберриз», королева. И приняла исполненный чрезвычайного достоинства вид, глядя на проезжающий автомобиль с задернутыми шторками. Королева едет в больницу, королева открывает благотворительный базар, думала Кларисса, стоя в солнечных лучах у цветочного магазина.

Для раннего тура толчея стояла страшная. «Лордс», «Аскот», «Херлингэм»? — гадала она, потому что улица встала. В подобный день британцы среднего класса, сидящие наверху омнибусов со свертками и зонтиками, некоторые даже в мехах, выглядят невообразимо нелепо, и сама королева застряла, королева не может проехать. Клариссе пришлось остановиться на одной стороне Брук-стрит, старому судье сэру Джону Бакхерсту — на другой, а между ними застыл автомобиль (сэр Джон много лет представлял закон и любил хорошо одетых женщин), и тут шофер, слегка склонившись, что-то проговорил, что-то

показал полицейскому, и тот отдал честь, поднял руку, мотнул головой в сторону обочины, убирая омнибус с пути и давая автомобилю проехать, медленно и в полной тишине.

Кларисса догадалась, конечно, Кларисса все поняла: она приметила в руке шофера белый круглый диск, на котором написано имя (королевы, принца Уэльского, премьер-министра?), силой собственного блеска прожигающее себе путь (автомобиль уменьшался в размерах, исчезал у Клариссы на глазах), чтобы вечером сиять в Букингемском дворце среди канделябров, орденов, медалей, Хью Уитбреда и всех его сослуживцев, знатных англичан. Сегодня Кларисса тоже устраивает прием. Она слегка подобралась; значит, стоять ей наверху лестницы и встречать гостей.

Автомобиль уехал, оставив на Бонд-стрит легкую рябь, которая всколыхнула магазины перчаток и шляп, ателье по пошиву одежды. Все головы повернулись в сторону окна. Леди, выбиравшие перчатки — до локтя или выше, лимонные или серые? — замерли на середине фразы: что-то произошло. Причем настолько мизерное, что ни один прибор, способный уловить подземные толчки в далеком Китае, не смог бы

зафиксировать колебание; при этом довольно внушительное по своей полноте и апеллирующее к лучшим чувствам, поскольку во всех шляпных магазинчиках и ателье незнакомые друг с другом люди обменялись взглядами и вспомнили о павших, о флаге, об Империи. В пивной на глухой улочке уроженец Колонии помянул Виндзоров недобрым словом, что вылилось в перепалку, битье стаканов и всеобщую потасовку, резанувшую тонкий слух девушек, покупавших к свадьбе белоснежное белье с белыми же лентами. Поверхностный ажиотаж, вызванный автомобилем, не исчез без следа — он задел некие глубинные струны.

Проехав по Пикадилли, автомобиль повернул на Сент-Джеймс-стрит. Высокие, крепкого телосложения мужчины во фраках, белых галстуках, с зачесанными волосами, которые по непонятной причине стояли в эркере «Брукса», заложив руки за фалды, и глазели, инстинктивно поняли, что мимо проезжает особа величественная, и на них упал бледный отсвет бессмертия, как чуть раньше на Клариссу Дэллоуэй. Они вмиг подтянулись, убрали руки и выразили готовность последовать за своим сюзереном, если потребуется, в огонь и в воду, как некогда их предки.

Белые бюсты и столики в глубине, номера «Тэтлера» и сифоны с содовой их вроде бы одобряли, навевая мысли о тучных нивах и английских поместьях, и отражали тихий гул мотора, как стены шепчущей галереи возвращают возглас, усиленный мощью собора. Закутанная в шаль Молл Прэт, торгующая цветами на улице, пожелала милому мальчику всего наилучшего (наверняка сам принц Уэльский!) и собралась швырнуть ему вслед букет роз — почитай, стоивший целую уйму пива — прямо на тротуар Джеймс-стрит из чистой прихоти и презрения к нищете, но поймала взгляд констебля, начисто отбивший у старой ирландки желание выражать народное ликование. Часовые у Сент-Джеймса отдали честь, полицейский у мемориала королевы Александры последовал их примеру.

Тем временем у ворот Букингемского дворца выросла небольшая толпа. Собрались в основном бедняки — они ждали апатично, но уверенно, глазея на реющий флаг, на памятник королеве Виктории на высоком пьедестале, восхищались резными уступами, геранями, всматривались то в один, то в другой автомобиль, катящий по церемониальной аллее Мэлл, напрасно умилялись при виде простолюдинов, отправившихся про-

катиться, и сдерживали чувства, сохраняя их для объекта более достойного; и кровь их бурлила от слухов, чресла трепетали при мысли о том, что их удостоит взглядом монаршая особа, — королева кивнет, принц козырнет; при мысли о божественной сущности власти, о шталмейстере и глубоких реверансах, о кукольном домике королевы, о принцессе Мэри, вышедшей замуж за англичанина, о принце — ах, принц! — который удивительно похож на старого короля Эдварда, только куда стройнее. Хотя принц живет в Сент-Джеймсе, он вполне может навестить с утра свою матушку.

Так сказала Сара Блетчли, покачивая ребенка и упираясь ногой в ограду, словно в свою каминную решетку в Пимлико, и не сводя глаз с аллеи Мэлл, а Эмили Коутс окинула взглядом дворцовые окна и замечталась о горничных, бесчисленных горничных, о спальнях, бесчисленных спальнях. Тем временем толпа росла — подошел пожилой джентльмен со скотчтерьером, потом какие-то праздные зеваки. Маленький мистер Боули, квартировавший в «Олбани», давно замкнулся в своей скорлупе, отгородившись от глубинных жизненных источников, и все же порой его охватывали совершенно неуместные

сентиментальные порывы — бедные женщины, надеются увидеть, как мимо пройдет королева — бедные женщины, милые детки, сироты, вдовы, война — ай-ай-ай, — и на глаза его наворачивались слезы. Теплый ветерок, гулявший по церемониальной аллее меж тонких молодых деревьев, меж бронзовых героев, всколыхнул гордость за державу в британской груди мистера Боули, и при виде автомобиля, свернувшего на Мэлл, он приветственно поднял шляпу и стоял очень прямо в толпе бедных матерей из Пимлико. Автомобиль приближался.

Внезапно миссис Коутс посмотрела в небо. В уши зловеще вонзился шум аэроплана. Вот он летит над деревьями, выпуская белый дым, тот перекручивается и складывается в буквы! Да он же пишет на небе! Все задрали головы.

Резко снизившись, аэроплан взмыл вверх, заложил петлю, разогнался, нырнул, поднялся — и куда бы он ни летел, следом струился густой белый дым, который закручивался и сплетался в буквы прямо в небе. Что же это за буквы? Вроде бы Г или Т, потом Р или О… На миг они застывали неподвижно, затем смещались и таяли в небе, аэроплан двигался дальше, петлял снова и снова, выводя на чистом участке Т, Р и О.

— «Граксо», — заявила миссис Коутс напряженным, благоговейным голосом, глядя прямо в небо, и младенец у нее на руках, застывший и бледный, тоже смотрел вверх.

— «Тремо», — пробормотала миссис Блетчли словно сомнамбула. Держа шляпу в вытянутой руке, мистер Боули не отрываясь смотрел вверх. По всей аллее Мэлл люди стояли и молча глазели в небо. Одна за другой пролетели две чайки, и в этой необычайной тишине и покое, в чистоте и неподвижности часы на башне пробили одиннадцать раз, и звук затих в вышине, среди чаек.

Аэроплан развернулся, набрал скорость и спикировал легко, свободно, словно конькобежец…

— Похоже на Ф, — заметила миссис Блетчли.

…или словно танцор.

— Тоффи, — пробормотал мистер Боули.

И тут в дворцовые ворота въехал никем не замеченный автомобиль, а аэроплан перекрыл дымную струю и понесся прочь, оставив за собой тающие обрывки букв.

Он исчез, скрылся. Шум стих. Облака, к которым прибило буквы Т, С или О, плыли по небу, словно их отправили с запада на восток с тайной миссией чрезвычайной важности, о коей никто никогда не узнает, но важность ее очевидна.

И вдруг, как поезд из тоннеля, аэроплан вырвался из облаков, пронзая слух собравшихся на аллее Мэлл, в Грин-парке, на Пикадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-парке, и за ним вилась струя дыма, выписывая букву за буквой — но что же он писал?

Лукреция Уоррен Смит, сидевшая на скамейке рядом с мужем на главной аллее Риджентс-парка, посмотрела в небо.

— Гляди, Септимус! — вскричала она, поскольку доктор Холмс велел заставлять мужа (ничего с ним серьезного нет, просто хандрит) интересоваться окружающим миром.

Ну вот, подумал Септимус, поднимая взгляд, мне подают сигналы. Слов он разобрать пока не мог, но все и так ясно — красота, изумительная красота, и глаза его наполнились слезами; он смотрел на тающие в небе дымные слова, сочащиеся неиссякаемой благодатью и весельем, принимающие невообразимо прекрасные формы и обещающие снабдить его даром и навсегда, просто за то, что смотрит в небо, красотой, еще большей красотой! По щекам Септимуса побежали слезы.

Тоффи, это рекламируют тоффи, сказала нянька Лукреции. Вместе они начали называть буквы —

Т, О, Ф…

— Т, Р-р… — произнесла нянька, и глубокий, мягкий голос, словно звучный орга́н с хриплыми, шершавыми нотками, напоминающими стрекот кузнечика, прозвучал у самого уха Септимуса, прошуршал по позвоночнику восхитительным трепетом, отозвался в мозгу волнами звука, слегка его оглушив. До чего удивителен человеческий голос — при определенных атмосферных условиях (научная точность превыше всего) способен пробуждать к жизни деревья! К счастью, Лукреция положила руку ему на колено, буквально придавив, пригвоздив к месту, иначе восторг при виде колышущихся на ветру вязов, расцвеченной солнцем листвы, переливающейся от синего к зеленому, словно полая волна, словно плюмажи на лошадиных головах, словно перья на шляпках леди — так гордо, так великолепно — свел бы его с ума. Нет уж, с ума он не сойдет. Септимус зажмурится, чтобы не смотреть.

Листва манила — она была живая. Листья, соединенные мириадом волокон с телом Септимуса, сидящим на скамейке, вздымали его вверх-вниз; когда ветка вытягивалась, рука тоже тянулась следом. Порхавшие в неровных струях фонтана воробьи были частью общего узора —

бело-синего, окаймленного черными ветвями. Звуки сливались в замысел, промежутки между ними представлялись не менее важными, чем сами звуки. Заплакал ребенок. Взревел клаксон. Все вместе означало рождение новой религии…

— Септимус! — окликнула Лукреция. Он испуганно вздрогнул. Люди все замечают. — Я прогуляюсь до фонтана и обратно.

Ей этого не вынести! Доктор Холмс считает, что ничего страшного не происходит. Лучше бы Септимус умер! Невыносимо сидеть рядом, когда он смотрит в никуда, не замечает ее и все портит — небо и дерево, детишки играют, тянут тележки, дудят в свистки, падают — все просто ужасно! Он не убьет себя, и она не признается никому. «Септимус слишком много работает» — вот и все, что она говорит матери. Любовь делает тебя одиноким, подумала Лукреция. Она не могла признаться никому, даже Септимусу, который сидел на скамье в потрепанном плаще, сгорбившись и глядя в никуда. Конечно, заявлять о том, что наложишь на себя руки, — трусость, однако Септимус сражался, был храбрецом… Не то что теперь. Она надела кружевной воротничок и новую шляпку, а он даже не заметил! И вполне счастлив без нее. Разве она сможет

быть счастлива без него? Нет! Эгоист, как и все мужчины. Ведь у него ничего не болит! Доктор Холмс сказал, что муж вполне здоров. Лукреция растопырила пальцы. Ну вот, обручальное кольцо болтается — руки похудели. Она страдает, и поделиться не с кем.

Италия далеко, как и белые домики и комната, где она с сестрами мастерила шляпы; по вечерам на улицах людно — все гуляют, громко смеются, не то что эти полуживые англичане, скрючившиеся в инвалидных колясках и глядящие на уродливые цветы, понатыканные в горшки!

— Видели бы вы, какие сады в Милане! — воскликнула она, обращаясь неизвестно к кому.

Вокруг не было никого. Слова Лукреции погасли, как шутиха. Искры, прожегшие ночь, покоряются ей, темнота снисходит, обхватывает контуры домов и башен; мрачные склоны гор смягчаются и тонут во тьме. Хотя они сгинули, ночь ими полна — лишившись цвета, утратив окна, они становятся более громоздкими, выдают то, что откровенный дневной свет передать не способен — скорбь и тревогу вещей, сгрудившихся в темноте, жаждущих облегчения, которое приносит рассвет, омывая стены белым и серым, обозначая стекла и рамы, поднимая дымку

с полей, освещая мирно пасущихся рыже-коричневых коров, возвращая взору этот мир еще раз. «Я — одна, я — одна!» — вскричала Лукреция у фонтана в Риджентс-парке (уставившись на индийца и его крест), как в полночь, когда теряются все очертания и страна принимает свой древний облик — такой ее увидели римляне, высадившиеся на туманные берега, и у гор еще не было имен, а реки текли неизвестно куда — такая тьма царила в ее душе, и вдруг словно из ниоткуда возник уступ, на который Лукреция шагнула и сказала себе, что Септимус ее муж, что она вышла за него в Милане много лет назад и никогда, никогда и никому не расскажет, что он сошел с ума! Внезапно уступ обвалился, и она полетела вниз, вниз. Ей показалось, что Септимус ушел, ведь он грозился убить себя — броситься под колеса экипажа! Но нет, сидит на скамейке в своем потрепанном плаще, скрестив ноги, смотрит в никуда, разговаривает сам с собой.

Рубить деревья нельзя. Бог есть. (Подобные откровения он записывал на обратной стороне конвертов.) Измени мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет им известно… Он ждал. Слушал. На ограду уселся воробей, чирикнул раза четыре или пять «Септимус, Септимус»

и разразился пронзительной, бодрой трелью на греческом о том, что преступления не существует, затем к нему присоединилась еще одна птаха, и оба запели по-гречески протяжными, резкими голосами о деревьях на лугу, жизни за рекой, где бродят мертвые, и что смерти нет.

Мертвецы рядом, буквально рукой подать. За оградой собирались бледные существа, но он не решался взглянуть. За оградой стоял Эванс!

— Что ты говоришь? — внезапно спросила Реция, садясь рядом.

Снова она! Вечно мешает.

Прочь от людей — скорее прочь, сказал он себе, вскакивая, скорее туда, где скамейки под деревом и парк тянется зеленой лентой под голубым пологом неба и розовым дымом в вышине, вдалеке тает в чаду неровный вал домов, гудят огибающие парк машины, и справа над оградой зоопарка палевые звери вытягивают длинные шеи, лают, воют…

Септимус с женой присели под деревом.

— Взгляни, — умоляла Реция, указывая на ватагу мальчишек с крикетными битами, один из которых приплясывал и крутился на пятке, словно клоун в мюзик-холле.

— Взгляни, — настаивала она, ведь доктор

Холмс велел обращать его внимание на реальные вещи, сходить в мюзик-холл, поиграть в крикет — именно крикет, сказал доктор Холмс, хорошая игра на свежем воздухе, самое подходящее занятие для вашего мужа.

— Взгляни, — повторила она.

Взгляни, воззвала невидимая сущность, чей голос теперь говорил с ним, величайшим из людей, Септимусом, недавно перешедшим из жизни в смерть — он Господь, явившийся для возрождения общества, который простирался подобно покрову, снежному одеялу, пронзенному солнечными лучами, козел отпущения, вечный страдалец; но он же этого не хотел, простонал Септимус, отгоняя взмахом руки вечное страдание, вечное одиночество.

— Взгляни, — повторила Реция, потому что ему не следовало разговаривать с самим собой на людях. — Ну же! — взмолилась она.

На что тут смотреть? Так, пара овец, и все.

— Как пройти к станции «Риджентс-парк»? — Мэйзи Джонсон, приехавшая из Эдинбурга всего два дня назад, хотела узнать дорогу до станции подземки «Риджентс-парк».

— Не сюда — вон туда! — воскликнула Лукреция, отмахиваясь от девушки, чтобы та не глазела

на Септимуса.

Оба такие странные, подумала Мэйзи Джонсон. Все здесь очень странное. Впервые приехала в Лондон поработать у дяди на Леденхолл-стрит, а теперь идет через утренний Риджентс-парк, и от пары на скамейке у нее мурашки — дамочка похожа на иностранку, господин выглядит странно — она и в глубокой старости будет помнить, как полвека назад шла по Риджентс-парку прекрасным летним утром. Ведь ей всего девятнадцать, и она наконец добилась своего — приехала в Лондон, и теперь все так странно, особенно эта парочка, у которой она спросила дорогу, женщина вздрогнула и махнула рукой, а мужчина выглядит и вовсе не от мира сего; наверное, ссорятся или даже расстаются навсегда — что-то явно происходит; и все эти люди (девушка снова вернулась на главную аллею), каменные фонтаны, чопорные клумбы, старики и старухи, по большей части больные, в инвалидных креслах — после Эдинбурга странно все. И Мэйзи Джонсон, примкнув к медленно бредущей, рассеянно озирающейся, обдуваемой ветерком компании — белки скачут и прихорашиваются, воробьи порхают и ищут крошки, собаки обнюхивают и метят ограждения, а теплый летний

воздух омывает их и смягчает пристальные взгляды, которыми они встречают жизнь, придает им некую чудинку — Мэйзи Джонсон едва не расплакалась! (Потому что от молодого человека на скамье у нее мурашки. Она знает: что-то не так.)

Ей хотелось закричать: «Ужас! Ужас!» (Покинула своих близких, а ее предупреждали…) Почему я не осталась дома? — всхлипнула Мэйзи, вцепившись в шар на чугунной ограде.

Девчонка, подумала миссис Демпстер, которая часто выбиралась на ланч в Риджентс-парк и угощала корками белок, совсем не знает жизни. Лучше слегка расплыться, чуть расслабиться и не ждать от жизни слишком многого. Перси пьет. Лучше сын, чем дочь, подумала миссис Демпстер. С ним нелегко, поэтому девушка вызвала у нее невольную улыбку. Вполне симпатичная, значит, замуж выйдет, там и узнает, что к чему. Стряпня и прочие заботы. У мужей свои причуды. Как бы я поступила, знай все заранее? — задумалась миссис Демпстер, и ей захотелось шепнуть словечко Мэйзи Джонсон, почувствовать на старом морщинистом лице благодарный поцелуй. Тяжелая выдалась жизнь. Она лишилась всего: нет теперь ни роз, ни былой красоты, ни ног… (Миссис Демп-

стер поправила культи под юбкой.)

Розы, мысленно усмехнулась она. Что за чушь! На самом деле жизнь сводится к еде, питью и поиску пары, в жизни бывает и хорошее, и плохое, а розы вовсе не главное. Вот что я скажу тебе, милочка: Кэрри Демпстер из Кентиш-тауна не променяет свой удел ни за что на свете! Впрочем, капелька сочувствия не помешала бы. Жаль, нет роз. Старушке захотелось сочувствия Мэйзи Джонсон, застывшей возле клумбы с гиацинтами.

Ох уж этот самолет! Миссис Демпстер всегда мечтала повидать чужие края. У нее племянник — миссионер. Аэроплан взмыл, набирая высоту. В Маргейте она часто ходила на море, хотя далеко не заплывала, и терпеть не могла женщин, которые боятся воды. Аэроплан пронесся и рухнул вниз. У нее перехватило дыхание. Снова вверх! Миссис Демпстер побилась бы об заклад, что в кабине сидит славный молодой парнишка, и вот он уносится все дальше и дальше, исчезает вдали, парит над Гринвичем и парусными судами на Темзе, над островком серых церквей, над собором Святого Павла, пока по обе стороны Лондона не раскинутся поля и темные, коричневые леса, где скачут по земле

неугомонные дрозды, торопливо оглядываются, хватают улиток и долбят их о камень раз, другой, третий…

Аэроплан уносился все дальше и дальше, пока в небе не осталась лишь яркая искра — стремление, средоточие, символ (так казалось мистеру Бентли, энергично подстригающему газон у себя в Гринвиче) души человеческой, ее упорства, думал мистер Бентли, огибая кедр, вырваться за границы своего тела, своего дома, силой мысли, теории Эйнштейна, гипотез, математики, законов Менделеева — аэроплан несся прочь.

На ступеньках собора Святого Павла стоял невзрачный, потасканного вида мужчина с кожаным портфелем и не решался войти, потому что внутри такая благодать, такой радушный прием, столько гробниц и реющих над ними знамен, прославляющих победы не над армиями — над докучливым духом, вечно толкающим на поиски истины, думал он, в результате чего я и очутился в подобном положении; вдобавок собор предлагает компанию, приглашает вступить в сообщество, к которому принадлежат великие, ради которого шли на смерть мученики; почему бы не присоединиться, думал он, поставить набитый листовками портфель к ал-

тарю, к кресту, к символу того, что воспарило выше любых исканий, метаний, плетения словес и стало духом — бестелесным, призрачным — почему бы не войти? — подумал он, колеблясь, и тут над Ладгейт-серкус пролетел аэроплан.

Как ни странно, летел он тихо. Сквозь шум городского транспорта не прорывалось ни звука. Казалось, никто им не управляет и аэроплан мчится сам по себе. И вот он понесся прямо вверх, взмывая все выше и выше в порыве упоения, чистого восторга, выпуская струю белого дыма, которая складывалась в буквы Т, О, Ф.

— На что все смотрят? — спросила Кларисса Дэллоуэй у открывшей дверь горничной.

В холле стояла прохлада, словно в склепе. Зашуршав юбками, Люси заперла дверь, и миссис Дэллоуэй почувствовала себя покинувшей мир монахиней, вокруг которой смыкаются привычные покровы и дух ревностного служения. На кухне посвистывала повариха. Стучала пишущая машинка. Это — ее жизнь. Нагнувшись над столиком в холле, Кларисса прониклась домашней атмосферой, ощутила благодать и чистоту, взяла блокнот с телефонными сообщениями и напомнила себе, что подобные моменты — бутоны на древе жизни, цветы мрака, прекрасная

роза, что распускается лишь для ее глаз; в Бога она не верит ничуть, но тем более обязана в повседневной жизни воздавать должное слугам, собакам и канарейкам, а больше всех — своему мужу Ричарду, который и есть основа всего — веселых звуков, зеленого света, даже свиста поварихи, поскольку миссис Уокер была ирландкой и насвистывала день-деньской — нужно воздавать, черпая из этого тайного ресурса прекрасных моментов, думала она, листая блокнот, и Люси стояла рядом, пытаясь объяснить…

— Миссис Дэллоуэй…

Кларисса прочла в блокноте: «Леди Брутон желает знать, придет ли мистер Дэллоуэй к ней сегодня на ланч».

— Мэм, мистер Дэллоуэй велел передать, чтобы к ланчу его не ждали.

— О нет! — воскликнула Кларисса, и Люси разделила ее разочарование (но не досаду), ощутила их единодушие, поняла намек, подумала о том, как господа любят друг друга, преисполнилась спокойствия за свою будущность и, приняв у миссис Дэллоуэй кружевной зонтик, словно священное оружие, которое роняет богиня, проявившая себя с честью на поле брани, бережно поместила его на подставку.

— Не страшись, — повторила Кларисса. — Не страшись палящего зноя.

Потрясение, которое она испытала, услышав, что леди Брутон позвала Ричарда на ланч одного, заставило ее пошатнуться и вздрогнуть, как водоросли в реке вздрагивают от удара весла.

Миллисент Брутон, чьи ланчи слыли презабавными, ее не пригласила. Никакая пошлая ревность их с Ричардом не разлучит, однако Кларисса страшилась бега лет и читала его на лице леди Брутон, как на циферблате, высеченном из бесстрастного камня; жизнь угасает, год за годом теряя по куску, теряя способность растягиваться, впитывать, как в юности, цвет, вкус, оттенки бытия. Раньше Кларисса заполняла собой всю комнату и ощущала восхитительный трепет, стоя на пороге гостиной, словно пловец перед прыжком в морскую пучину — вода под ним темнеет и сверкает, волны грозят развернуться, но лишь мягко перекатываются, затухают, подергиваются рябью, осыпая водоросли жемчужными брызгами.

Кларисса положила блокнот на столик в холле и медленно поднялась по лестнице, держась за перила, словно ушла с вечеринки, где друзья поочередно отражали ее лицо и голос, захлопнула

дверь, вышла и стоит в одиночестве — одинокий силуэт в жуткой ночи, точнее, под пристальным взглядом будничного июньского утра, для кого-то наполненного сиянием роз, думала она, медля у распахнутого окна на лестничной площадке (шторы хлопают, собаки лают). На фоне всеобщей суеты, ветра, пышного цветения она внезапно ощутила себя усохшей, дряхлой, безгрудой, неуместной, ненужной, бесплотной — плоть и разум подвели, ведь леди Брутон, чьи ланчи слыли презабавными, Клариссу не пригласила.

Как удалившаяся от мира монахиня или ребенок, исследующий башню, она поднялась наверх, постояла у окна, зашла в ванную. Линолеум зеленый, из крана капает. Вместо средоточия жизни — пустота, чердак. Женщинам приходится снимать свой богатый убор. В середине дня они должны разоблачаться. Кларисса воткнула булавку в подушечку и положила шляпку с желтыми перьями на постель. Чистое белье, несмятые простыни. С годами кровать становится все у́же. Свеча догорела до середины — Кларисса увлеклась мемуарами барона Марбо и допоздна читала про отступление из Москвы. Заседания палаты заканчиваются поздно, и Ричард настоял, что жене нужен спокойный сон, особенно после

болезни. На самом деле читать про отступление французов ей нравилось больше, и он это знал. Комната была на чердаке, кровать — узкая. Кларисса часами лежала с книгой без сна. Засыпала она плохо, не в силах избавиться от девства, пронесенного сквозь роды, липшего к телу, словно простыня. В юности оно придавало ей очарования, но по велению этого хладного духа она внезапно стала отвергать Ричарда. Сначала на реке среди лесов Кливдена, потом в Константинополе, снова и снова.

Кларисса понимала, чего ей не хватает. Вовсе не красоты, не ума. В ней изначально отсутствовала некая теплота, способная сломать лед между мужчиной и женщиной или между двумя женщинами. Впрочем, смутное влечение она испытывала. Кларисса возмущалась, чуралась его бог знает почему — видимо, была такой от природы (о, природа задумала все очень мудро), однако порой поддавалась очарованию зрелой женщины, отнюдь не девушки, хотя и младше ее, которая по женскому обыкновению делилась с ней подробностями какой-нибудь ссоры или безрассудной выходки. То ли из-за их красоты, то ли из жалости или чистой случайности вроде легкого аромата или мелодии скрипки (как странно

на нас влияют звуки в иные моменты), Кларисса испытывала то же самое, что и мужчины. Лишь на миг, но этого вполне достаточно. Внезапное прозрение, смущение, которое тщетно пытаешься скрыть и не покраснеть, потом отдаешься ему без остатка, бросаешься к самому краю, замираешь и чувствуешь, как мир приближается, распухает от потрясающей значимости, под бременем упоительного восторга, и вот уже тонкая кожица лопается, сок брызжет и заливает необычайным облегчением все трещинки и язвы. И в этот миг все озаряется — словно подносишь огонек к закрывшему лепестки крокусу, и внутри все озаряется, становится почти различимым снаружи. Затем близость отступает, возбуждение идет на убыль. Все кончено — момент миновал. Подобные эпизоды (в том числе и с женщинами) особенно резко контрастировали с узкой кроватью, мемуарами барона Марбо и наполовину сгоревшей свечой. Лежа без сна, Кларисса слушала, как скрипит пол, как в освещенном доме внезапно гаснет свет, и раздается осторожный щелчок — Ричард тихонько открывает дверь, крадется наверх в одних носках, роняет грелку и чертыхается. До чего смешно!

А как насчет любви, думала Кларисса, убирая

пальто, как насчет любви к женщинам? Взять, к примеру, отношения с Сэлли Сетон в далекой юности. В конце концов, разве это была не любовь?

Она сидела на полу — такой Клариссе запомнилась первая встреча с Сэлли — она сидела на полу, обхватив колени, и курила сигарету. Где же это было? У Маннингов? У Кинлок-Джонсов? Наверное, на какой-то вечеринке. Кларисса спросила у своего спутника: «Это еще кто?» Тот назвал имя и добавил, что родители Сэлли не ладят (в то время Кларисса даже не представляла, что родители могут ссориться!). Весь вечер она не сводила с девушки взгляда. Больше всего ее восхитило сочетание необычайной красоты (темноволосая, глаза огромные) и раскованности, которой Кларисса была лишена и всегда завидовала — такое чувство, что Сэлли способна сказать или сделать все что угодно; подобное качество скорее присуще иностранкам, чем англичанкам. Сэлли утверждала, что в ее жилах течет кровь предка-француза, который служил при дворе Марии-Антуанетты, потерял голову на гильотине и оставил потомкам кольцо с рубином. Тем летом она приехала в Бортон в гости — однажды после ужина нагрянула как снег на голову,

чем ужасно расстроила бедную тетю Хелен. Родители поругались, и Сэлли в сердцах выбежала из дома буквально без гроша — пришлось заложить брошь, чтобы наскрести на дорогу. Девушки просидели за разговорами всю ночь. Именно Сэлли заставила Клариссу впервые в жизни ощутить, насколько замкнуто протекала ее жизнь в Бортоне. Она ничего не знала ни о сексе, ни о социальных проблемах. Однажды видела, как старик-крестьянин упал на поле замертво, видела коров после отела. Тетушка Хелен досужих бесед не поощряла (когда Сэлли принесла почитать Уильяма Морриса, обложку пришлось скрыть оберточной бумагой). Они часами сидели в спальне Клариссы, разговаривая о жизни и о том, как изменят мир. Они собирались основать общество по упразднению частной собственности и даже написали обращение, хотя никуда и не отправили. Конечно, идеи принадлежали Сэлли, но вскоре ими загорелась и Кларисса — перед завтраком читала Платона, увлеклась Моррисом, Шелли.

Сэлли была личностью необыкновенно одаренной во всех отношениях. Взять, к примеру, как изумительно она разбиралась в цветах. В Бортоне всегда украшали стол небольшими

чопорными вазами. Сэлли вышла в сад, нарвала мальвы, георгинов — любых цветов, которые не принято ставить вместе, — срезала головки и опустила в чаши с водой. Эффект получился потрясающий, особенно на закате, когда садишься ужинать. (Разумеется, тетушка Хелен сочла подобное обращение с цветами варварством.) Или взять тот случай, когда она забыла мочалку и пробежала по коридору голой. Мрачная старуха-горничная, Эллен Аткинс, еще долго ворчала: «А ну как увидел бы кто из джентльменов?» Своими выходками Сэлли шокировала публику. Папа называл ее непутевой.

Вспоминая свое чувство к Сэлли, Кларисса поразилась его чистоте и цельности. Оно не было похоже на то, что испытываешь к мужчине. Совершенно бескорыстное и окрашенное особой близостью, присущей лишь женщинам, причем недавно повзрослевшим. Вдобавок Кларисса всегда стремилась защитить подругу, ощущая родственную душу и предчувствуя близкую разлуку (в те дни обе относились к браку как к катастрофе), что породило дух рыцарства, больше присущий ей, чем Сэлли. Та вела себя крайне безрассудно, совершала глупости из чистого сумасбродства — каталась на велосипеде

по парапету террасы, курила сигары. Доходила до абсурда — до полного абсурда! Впрочем, следует отдать Сэлли должное, она обладала поистине неотразимым обаянием, и перед сном Кларисса не раз стояла в спальне наверху, прижимая к себе грелку с горячей водой, и шептала: «Мы с ней под одной крышей… Мы с ней под одной крышей!»

Теперь эти слова совершенно ничего не значили. Она не могла уловить даже эха прежних чувств. Зато помнила, как холодела от восторга и укладывала волосы в прическу в каком-то упоении (по мере того как Кларисса вынимала шпильки из волос, клала на туалетный столик и бралась за щетку, прежнее чувство понемногу возвращалось). За окном в вечернем розовом свете порхали грачи, она переодевалась к ужину, спешила вниз по лестнице, бежала по коридору и думала: «Умереть сейчас счел бы я высшим счастьем»[2]. Она чувствовала то же, что и Отелло, причем столь же сильно, как и герой Шекспира, и все потому, что спускается в белом платье к ужину, где встретит Сэлли Сетон!

Та надела розовое платье из газа — разве такие

---

[2] Сноски: 2
У. Шекспир. «Отелло». Акт II, сцена 1.

бывают? В любом случае Сэлли казалась словно сотканной из воздуха, светилась, как птичка или пушинка, на миг опустившаяся на куст ежевики. Для влюбленного (что же это было, как не любовь?) нет ничего более странного, чем полное безразличие других людей. Тетушка Хелен куда-то отлучилась, папа читал газету. За столом наверняка сидел Питер Уолш, и старая мисс Каммингс, и старик Йозеф Брейткопф — бедняга приезжал каждое лето, гостил неделями и делал вид, что учит Клариссу читать по-немецки, а сам играл на рояле и распевал Брамса совершенно без голоса.

Все это было лишь фоном для Сэлли. Она стояла у камина и говорила красивым голосом, придававшим всему сказанному оттенок нежности, с папой, невольно поддавшимся ее обаянию (хотя так и не простившему ей испорченную книгу, которую Сэлли взяла почитать и забыла на террасе под дождем). Внезапно Сэлли воскликнула: «Что за нелепость сидеть дома в такую погоду!», и все отправились гулять. Питер Уолш с Йозефом Брейткопфом завели разговор о Брамсе. Кларисса с Сэлли подотстали. И тогда случился самый восхитительный момент в ее жизни! Проходя мимо каменного вазона, Сэлли сорвала цветок

и поцеловала Клариссу в губы. Весь мир перевернулся с ног на голову! Все исчезли, они с Сэлли остались вдвоем. Кларисса словно получила подарок, который нельзя открывать, нельзя смотреть — бесценный бриллиант или вроде того. Пока они гуляли по саду (туда-сюда, туда-сюда), она развернула обертку или же сияние пробилось наружу — откровение, Божественное откровение! — и вдруг на них наткнулись старик Йозеф с Питером.

— Звездами любуетесь? — спросил Питер.

Все равно что влететь в темноте с разбега в гранитную стену! Ужас, просто ужас!

Не для нее, нет. Кларисса внезапно поняла, что Сэлли третируют, обижают; она ощутила враждебность и ревность Питера, норовившего вклиниться между ними. Она поняла сразу, как видишь всю местность при вспышке молнии, а Сэлли (до чего Кларисса восхищалась ею в тот миг!) повела себя как ни в чем не бывало. Она рассмеялась, спросила старика Йозефа, как называются созвездия, и тот принялся увлеченно рассказывать. Сэлли стояла и внимала. Она слушала названия звезд.

«Ужас!» — твердила Кларисса про себя, словно знала: кто-нибудь обязательно прервет, омрачит

миг ее счастья.

И все же впоследствии она была многим ему обязана. Всякий раз, думая о Питере Уолше, Кларисса вспоминала ссоры по разным поводам — пожалуй, ей очень хотелось его одобрения. Она позаимствовала из его лексикона слова «сентиментальный», «цивилизованный» — с них начинался каждый день, точно Питер продолжал ее направлять. Сентиментальной могла быть книга, отношение к жизни. Пожалуй, с ее стороны вспоминать о прошлом «сентиментально». Интересно, что он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Скажет вслух или промолчит? Впрочем, так и есть. За время болезни она совсем поседела.

Кладя брошь на стол, Кларисса содрогнулась, словно в нее вцепились ледяные когти. Она еще не старая! Ей едва исполнилось пятьдесят два. Впереди столько месяцев — июнь, июль, август! Как бы пытаясь поймать падающую каплю, Кларисса бросилась к зеркалу, погружаясь в самое средоточие момента, пригвождая к месту этот миг июньского утра, несущий на себе отпечаток всех других утр, оглядывая туалетный столик и флаконы так, словно видит впервые, собираясь в одну точку и рассматривая себя в зеркале, отку-

да глядела хрупкая, разрумянившаяся женщина, у которой сегодня прием, — Кларисса Дэллоуэй, она сама.

Сколько миллионов раз она видела в зеркале свое лицо с чуть поджатыми губами! Кларисса делала так всегда, чтобы выглядеть более эффектно. Это она — демонстративная, решительная, четкая, как стрела, летящая в цель. Такой она становилась, когда не без усилий, из чувства долга собирала себя воедино из совершенно несовместимых, самых разнородных частей, и те сливались в одно целое, в сверкающий бриллиант, в хозяйку вечера, принимающую гостей, — несомненно, яркий луч света в их скучных жизнях, вероятно, утешение для одиноких. Кларисса помогала молодым, которые были ей благодарны, пыталась всегда оставаться неизменной, никогда не показывать свои недостатки — ревность, тщеславие, мнительность — вот как сейчас, с леди Брутон, не пригласившей ее на ланч. До чего подло, думала Кларисса, расчесывая волосы. Так, где же платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Погрузив руку в ворох тонких тканей, Кларисса аккуратно достала зеленое и отнесла к окну. При искусственном освещении платье буквально сияло,

но при дневном поблекло. Слегка порвалось — на приеме в посольстве ей наступили на подол, нитки затрещали. Придется чинить самой, ведь горничные слишком заняты. Она наденет его сегодня. Возьмет шелковые нитки, ножницы — что еще? — наперсток, конечно, и пойдет в гостиную, потому что нужно кое-что написать и проследить, чтобы все было более-менее в порядке.

Странно, подумала Кларисса, медля на лестничной площадке и входя в образ сверкающего бриллианта, вновь становясь цельной, странно, как хозяйка умеет выбрать нужный момент и до чего хорошо знает свой дом! Снизу доносились слабые отзвуки приготовлений — шуршит швабра, стучат в дверь, открывают и что-то говорят, потом передают поручение тем, кто в подвале; дребезжит на подносе серебро, которое чистят к приему. Все для приема!

(Люси, войдя в гостиную с подносом на вытянутых руках, поставила на каминную полку огромные канделябры, между ними — серебряную шкатулку, а хрустального дельфина повернула к часам. Гости придут, встанут, будут говорить так учтиво, что и послушать приятно, как настоящие леди и джентльмены. И ее

госпожа — прекраснее всех, госпожа столового серебра, льняных скатертей, тонкого фарфора, ведь пока Люси клала нож для разрезания бумаги на инкрустированный столик, солнце, серебро, снятые с петель двери, посыльные от Румпельмайера давали ей почувствовать, что и сама она добилась чего-то особенного. Вот, глядите! — воскликнула Люси, обращаясь к старым подругам из булочной в Кейтрэме, где начинала служить, и украдкой взглянула в зеркало. Теперь она — леди Анджела, прислуживающая принцессе Мэри, и тут в комнату вошла миссис Дэллоуэй.)

— Ах, Люси, серебро так и блестит! Кстати, вчерашний спектакль понравился? — поинтересовалась она, поправляя хрустального дельфина.

— Им пришлось уйти пораньше, чтобы вернуться к десяти! — воскликнула Люси. — Они и не знают, чем закончилось!

— Надо же, как не повезло, — отозвалась Кларисса (ее слугам разрешалось задерживаться, если предупредят). — Даже обидно, — добавила она, взяла с дивана старую, потертую подушку, с нажимом вручила Люси и воскликнула: — Бери! Передай миссис Уокер с моими наилучшими пожеланиями! Бери!

Люси помедлила у двери, обняв подушку,

и робко вызвалась, слегка покраснев, помочь с починкой платья. Но миссис Дэллоуэй сказала, что у горничной и без того полно забот, и заверила, что справится сама.

— Спасибо, что предложила, Люси, спасибо, — проговорила миссис Дэллоуэй, спасибо, спасибо, повторяла она (садясь на диван с платьем в руках, с ножницами, с нитками), спасибо, спасибо, твердила она, благодарная слугам за то, что помогают ей быть такой, как она хочет, кроткой, великодушной. Слуги ее любят. И это платье… где же оно порвалось? И нитку в иголку вдевать… Платье было любимое, сшитое у Сэлли Паркер, одно из последних — увы, Сэлли отошла от дел, живет в Илинге, а я так и не собралась ее навестить, подумала Кларисса (ни минутки свободной!), надо съездить в Илинг. Таких мастериц, как Сэлли, еще поискать. Вечно что-нибудь придумывала эдакое, и все же ее платья не смотрелись эксцентрично. Хоть в Хэтфилде носи, хоть на приеме в Букингемском дворце. Кларисса и надевала их и туда, и туда.

На нее снизошел покой, умиротворение, безмятежность — она плавно собрала ткань на иголку, совместила зеленые складки и легкими стежками пришила к поясу. Так волны в летний день

подымаются, замирают и опадают, подымаются и опадают, и мир словно говорит: «Вот и все», с каждым разом более весомо, пока сердце в груди того, кто лежит на солнечном пляже, тоже не скажет: «Вот и все». Не страшись, вторит сердце. Не страшись, твердит сердце, отдавая свою ношу морю, которое в унисон вздыхает о всех печалях и возрождается, — волны вздымаются, замирают, обрушиваются вновь. И одинокий человек слушает, как пролетает пчела, разбивается волна, заливисто лает собака вдалеке…

— Боже мой, в дверь звонят! — взволнованно воскликнула Кларисса, закрепив нить, и прислушалась.

— Миссис Дэллоуэй меня примет, — сказал пожилой мужчина в холле. — Да, меня-то она примет, — повторил он, мягко отстранив Люси, и стремительно ринулся к лестнице. — Да-да-да! — пробормотал он, взбегая наверх. — После пяти лет в Индии Кларисса точно меня примет.

— Что за… кто за… — начала миссис Дэллоуэй (до чего возмутительно врываться в одиннадцать утра накануне приема!), заслышав шаги на лестнице. Постучали. Кларисса торопливо попыталась спрятать платье, защищая право на частную жизнь, словно девица целомудрие.

Медная ручка повернулась. И вот дверь открывается, и в комнату входит… Сначала она даже не смогла вспомнить, как его зовут! — настолько удивилась, потом обрадовалась, засмущалась, опешила при виде Питера Уолша, явившегося поутру совершенно неожиданно. (Его писем она не читала.)

— Как поживаешь? — спросил Питер Уолш с явным трепетом, целуя ей руки. Постарела, подумал он, усаживаясь. Говорить не стану, решил он, потому что действительно постарела. Смотрит на меня, внезапно смутился он, хотя руки я поцеловал. Он полез в карман, достал большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Ничуть не изменился, подумала Кларисса, все тот же странный взгляд, все тот же клетчатый костюм. Разве что лицо немного другое — чуть похудело, чуть усохло, но впечатление производит на удивление хорошее.

— Чудесно, что ты пришел! — воскликнула она.

Снова вертит в руках нож, как это похоже на Питера!

Вернулся в город ночью, сообщил Питер, нужно немедленно ехать в поместье. А как у нее дела, как домашние — Ричард? Элизабет?

— Это еще что? — поинтересовался он, указав ножом на зеленое платье.

Одет с иголочки, думала Кларисса, и как всегда меня критикует.

Сидит и чинит платье, так и просидела тут все время, пока я был в Индии, чинила платья, веселилась, ходила на приемы, бегала в парламент и все в таком духе, думал он, раздражаясь и накручивая себя все больше, словно для иных женщин нет ничего хуже, чем брак и политика, особенно если муж — консерватор, как несравненный Ричард! Так и есть, так и есть, думал он, с щелчком закрывая нож.

— У Ричарда все прекрасно. Ричард на заседании комитета, — сказала Кларисса.

Открыв ножницы, она спросила, позволит ли он ей закончить платье, ведь сегодня у них прием.

— И тебя я на него не позову, мой милый Питер!

Как заманчиво слышать из ее уст — мой милый Питер! Да тут заманчиво все — серебро, стулья — весьма заманчиво!

— Отчего же не позвать? — осведомился он.

Конечно, подумала Кларисса, он очарователен — просто очарователен! Теперь вспоминаю,

как невообразимо сложно было решиться — и почему я не вышла за него замуж? — тем ужасным летом.

— До чего невероятно, что ты пришел именно сегодня! — вскричала она, сложив руки в замок. — А помнишь, как в Бортоне шторы хлопали на ветру?

— Еще бы, — ответил Питер и вспомнил, как неловко было завтракать вдвоем с ее отцом, который умер, а он так и не написал Клариссе… Впрочем, они не особо ладили со стариком Перри — ворчливым, малодушным стариком, отцом Клариссы, Джастином Перри.

— Я часто жалею, что не столковался с твоим отцом, — признался Питер.

— Ему же не нравился никто — то есть никто из наших друзей, — сказала Кларисса и едва не прикусила язык, ведь таким образом она невольно напомнила Питеру, что тот хотел на ней жениться.

Конечно хотел, подумал Питер, и это почти разбило мне сердце. На него нахлынула печаль, поднявшаяся словно луна над террасой — призрачно красивая в свете угасающего дня. Я несчастлив как никогда, подумал он и придвинулся к Клариссе, точно они и впрямь сидят на террасе,

протянул руку и безвольно уронил. Так она и висела над ними неподвижно, эта луна. Кларисса тоже словно очутилась с ним на террасе, в лунном сиянии.

— Теперь там хозяин Герберт, — проговорила она. — Я туда больше не езжу.

И тогда, как бывает, когда сидишь на террасе в лунном свете, одному становится стыдно за свою скуку, а другой сидит молча, очень тихо, печально глядя на луну, не хочет разговаривать, и первый шевелит ногой, прочищает горло, замечает какой-нибудь завиток на кованой ножке стола, шуршит сухим листком и не говорит ничего — так поступил и Питер Уолш теперь. Зачем возвращаться в прошлое? Зачем снова об этом думать? Зачем его мучить, разве она мало его терзала? Зачем?

— Помнишь озеро? — резко спросила Кларисса, у которой от наплыва чувств защемило сердце, мышцы сковало спазмом, горло перехватило. Ведь одновременно она была и дитя, что кидает уткам хлеб, стоя между родителями, и взрослая женщина, что идет к родителям, застывшим у озера, и несет свою жизнь в руках; и чем ближе она подходит, тем больше та разрастается, пока не принимает законченную форму, и тогда Кла-

рисса кладет ее перед ними и говорит: «Смотрите, что у меня получилось! Вот!» И что же у нее получилось? В самом деле, что? Сидит поутру и шьет рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Исполненный сомнений взгляд пронзил время и чувства, печально уселся, потом вспорхнул и улетел прочь, словно птичка с ветки. Кларисса утерла слезы.

— Да, — ответил Питер. — Да, да, да! — воскликнул он, словно Кларисса вытащила занозу, давно причинявшую боль, и встал. Прекрати, прекрати! — хотелось ему вскричать. Ведь он еще не стар, жизнь вовсе не кончена, ни в коем случае. Ему лишь слегка за пятьдесят. Сказать, подумал он, или нет? Ему хотелось выложить все начистоту. Однако Кларисса слишком холодна, сидит тут со своим шитьем, с ножницами. Дэйзи рядом с ней смотрелась бы весьма прозаично. Сочтет меня неудачником, подумал он, в глазах семейства Дэллоуэй я стану неудачником. Он ничуть не сомневался, что так и есть — на фоне инкрустированного столика, ножа для бумаг, дельфина и канделябров, чехлов на креслах и старинных английских гравюр он — неудачник! Ненавижу чванство, подумал он, это все Ричард,

Кларисса ни при чем, хотя и вышла за него замуж. (В комнату вошла Люси с серебром, снова серебро, впрочем, она очаровательна, стройна, грациозна, подумал он, когда та нагнулась и поставила поднос.) И так продолжается из года в год, думал Питер Уолш, неделя за неделей, вот и вся жизнь Клариссы, в то время как я… Внезапно перед его мысленным взором пронеслись поездки, прогулки верхом, ссоры, приключения, партии в бридж, любовные интрижки, работа-работа-работа! Питер достал из кармана свой нож — старый нож с роговой рукояткой, который, Кларисса могла поклясться, был у него лет тридцать, — и сжал в кулаке.

Что за странная привычка, подумала Кларисса, играть с ножом. Выглядит весьма легкомысленно, выставляет себя пустоголовым болтуном, как всегда. Но ведь и я такая же — снова взялась за шитье… И словно королева, чья стража уснула, оставив ее без защиты (внезапный визит Питера выбил Клариссу из колеи), и любой мог войти, увидеть ее лежащей в зарослях ежевики, Кларисса призвала на помощь все, что сделала в жизни, все, что любила — своего мужа, Элизабет, себя новую, которую Питер едва ли знает, — призвала прийти и дать врагу отпор!

— Ну и что у тебя происходит? — спросила Кларисса. Прежде чем начнется битва, лошади бьют землю копытом, мотают головой, блестят боками, изящно выгибают шеи. Так и Питер Уолш с Клариссой, сидя рядом на синем диване, бросали друг другу вызов. Питер вскипел, перебирая свои достижения и достоинства. Он черпал силу из разных источников — всевозможные заслуги, карьера в Оксфорде, брак, о котором Кларисса не знает ничего, любовь к Дэйзи, жизненные успехи в целом.

— Да уйма всего! — воскликнул Питер и поднес руки к вискам, подгоняемый бушующей в нем силой, которая металась туда-сюда, одновременно пугая и наполняя безудержным восторгом, словно невидимая толпа подхватила его на плечи и несет.

Кларисса села очень прямо и затаила дыхание.

— Я влюблен, — признался Питер, только не ей — поднявшейся из тьмы тени, которой не смеешь коснуться, но знаешь, что должен положить к ее ногам венок.

— Влюблен, — сухо повторил он, теперь обращаясь к Клариссе Дэллоуэй, — влюблен в женщину из Индии.

Венок возложен. Пусть Кларисса делает с ним

все что угодно.

— Влюблен! — пробормотала Кларисса, бросив на Питера беглый взгляд. В его-то годы сгинуть в пасти этого чудовища! Галстук-бабочка болтается на тощей шее, руки красные, да еще на полгода меня старше, а туда же! Сердцем она почуяла, что он и в самом деле влюблен.

Однако неукротимый эгоизм, который влечет нас навстречу гибели, бурлящий поток, не знающий ни преград, ни цели, словом, неукротимый эгоизм залил ее щеки краской. Позабыв про недочиненное платье, Кларисса зарделась и помолодела, глаза заблестели, иголка в складках зеленого шелка слегка подрагивала. Питер влюблен! И не в нее… Разумеется, в какую-нибудь молодую женщину.

— И в кого же? — осведомилась она.

Пора снять эту статую с пьедестала и поставить между ними.

— Увы, она замужем, — признался он, — жена майора из Индии.

Питер улыбнулся с ироничной нежностью, представляя свою женщину Клариссе столь нелепым образом. (И все-таки влюблен, подумала Кларисса.)

— У нее, — добавил он весьма рассудитель-

но, — двое маленьких детей, мальчик и девочка. Я приехал обсудить развод с адвокатом.

Вот они, подумал Питер. Делай с ними, что захочешь, Кларисса! Вот они! И с каждым мигом ему казалось, что под взглядом Клариссы жена майора из Индии (его Дэйзи) и ее маленькие дети становились все милее, словно он поджег серую гранулу, и на освежающем соленом воздухе их близости (ведь так или иначе, кроме Клариссы, никто его так не понимал и не сопереживал ему) — их изысканной близости — выросло прелестное деревце.

Тешила самолюбие, вскружила голову, думала Кларисса, парой взмахов ножа придав очертания незнакомке, жене майора из Индии. Что за ерунда! Что за дурость! Подобным образом Питера морочат всю жизнь — вылетел из Оксфорда, женился на девице, подцепившей его на пароходе по пути в Индию, теперь вот жена майора, тоже из Индии — слава небесам, что Кларисса ему отказала! И все же он влюблен, ее старый друг, милый Питер, влюблен.

— Что будешь делать? — спросила она.

Всем займутся адвокаты и поверенные, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнс-Инн», они все берут на себя, сказал Питер и принялся подрезать

ногти перочинным ножом.

Ради всего святого, оставь свой нож в покое! — вскипела про себя Кларисса. Как ее всегда раздражали в нем дурацкая эксцентричность, малодушие, полное небрежение чувствами другого человека — к тому же теперь, в его-то годы! До чего глупо!

Все это я знаю, думал Питер. Знаю, что мне придется вытерпеть, подумал он, проводя пальцем по лезвию ножа, от Клариссы с мужем и всех остальных, но я покажу Клариссе… И вдруг, к безмерному удивлению, неподвластные ему силы внезапно схлынули, швырнули его оземь, и Питер разрыдался — плакал и плакал без тени стыда, сидя на диване, и слезы катились по щекам.

Кларисса взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала — на самом деле она ощутила прикосновение щеки Питера к своей прежде, чем ей удалось унять трепет в груди — словно серебристые плюмажи пампасной травы взметнулись на шквалистом ветру. Все стихло, она сидела, держа Питера за руку, похлопывая по колену и чувствуя себя рядом с ним необычайно беззаботно и непринужденно, и вдруг отчетливо поняла: если бы я вышла за него, это удоволь-

ствие могло быть моим каждый день!

Для нее все кончено. Простыня не смята, кровать узкая. Кларисса укрылась от солнечного света в своей башне, оставив их собирать ежевику. Дверь захлопнулась, всюду осыпается штукатурка, сор из птичьих гнезд, и все кажется таким маленьким, звуки доносятся ослабевшие и унылые (ей вспомнилась вершина Лейт-Хилл), и — Ричард, Ричард! — безмолвно вскричала она, словно посреди ночи, когда резко проснулся и в темноте протягиваешь руку, ища помощи. На ланче у леди Брутон, вспомнила она. Муж меня покинул, я осталась одна навсегда, подумала Кларисса, складывая руки на коленях.

Питер Уолш ушел к окну и отвернулся, возясь с носовым платком. Такой подтянутый, сдержанный и хмурый, пиджак на худых лопатках чуть топорщился… Питер громко высморкался. Возьми меня с собой, дернулась было Кларисса, словно он собирался в дальнее путешествие, но в следующий миг, как бывает в театре, когда увлекательная и трогающая за душу пьеса подходит к концу — Кларисса убежала с Питером, прожила с ним целую жизнь — порыв миновал. Представление окончено, женщина берет свои вещи — пальто, перчатки, театральный

бинокль — и выходит на улицу. Так и Кларисса поднялась с дивана и подошла к Питеру.

До чего странно, подумал он под шорох платья и стук каблучков, что она по-прежнему способна заставить сиять в летнем небе ненавистную луну с террасы Бортона.

— Скажи мне, — начал он, взяв ее за плечи. — Ты счастлива, Кларисса? Ричард тебя…

Распахнулась дверь.

— Вот и моя Элизабет! — воскликнула Кларисса, слегка переигрывая.

— Как дела? — спросила та, подходя к ним.

Удар Биг-Бена, отбивающего половину часа, вонзился между ними с необычайной мощью, словно бьет гантелями друг о друга усердный, равнодушный, бесцеремонный молодчик.

— Привет, Элизабет! — бросил Питер, поспешно сунув платок в карман, и добавил, не глядя: «Прощай, Кларисса», быстро вышел из гостиной, сбежал вниз по лестнице и открыл входную дверь.

— Питер! Питер! — окликнула Кларисса, спускаясь вслед за ним на лестничную площадку. — Мой прием — сегодня! Помни про мой прием! — надрывалась она, силясь перекричать шум транспорта с улицы и бой всех часов в доме.

На общем фоне голос Клариссы показался Питеру Уолшу слабым и очень далеким.

Помни про мой прием, помни про мой прием, ритмично вторил Питер Уолш ударам Биг-Бена, выходя на улицу. (В воздухе расходились свинцовые круги.) Ох уж эти приемы, подумал он, приемы у Клариссы. Зачем она вообще их устраивает? Он особо не винил ни ее, ни джентльмена с гвоздикой в петлице фрака, шагающего ему навстречу. Лишь один человек на свете влюблен по-настоящему. И этот счастливчик отразился в зеркальной витрине автомобильного салона на Виктория-стрит. За его плечами — вся Индия с горами и равнинами, с эпидемией холеры; округ по размеру как две Ирландии, и все решения приходится принимать в одиночку — он, Питер Уолш, впервые в жизни влюбился по-настоящему. Кларисса ожесточилась, к тому же стала сентиментальной, как он подозревал, заглядываясь на великолепные авто — интересно, сколько миль они могут проделать и на скольких галлонах? Кларисса не имеет ни малейшего понятия, что он увлекся механикой, внедрил у себя в округе культиватор, выписал из Англии несколько тачек, пусть кули ими и не пользовались.

То, как она произнесла фразу «Вот и моя Элизабет!», раздражало. Почему бы просто не сказать: «Вот Элизабет»? Прозвучало неискренне. И Элизабет тоже передернуло. (Последние отзвуки громогласного звона все еще колыхали воздух — пробило половину часа, слишком рано, только половина двенадцатого.) Молодежь он понимает, молодежь ему нравится. Кларисса всегда была слегка холодной, подумал он. Даже в юности в ней чувствовалась некая зажатость, которая в зрелые годы переходит в полное подчинение условностям, и тогда все пропало, все пропало, думал Питер, мрачно вглядываясь в стеклянные глубины и гадая, не рассердил ли ее ранним визитом. Внезапно его охватил стыд — свалял такого дурака, плакал, поддался эмоциям, рассказал ей обо всем — в который раз, в который раз!..

Как на солнце находит туча, так на Лондон опускается тишина и заполняет душу. Напряжение спадает. Время застывает. Мы умолкаем, останавливаемся. Тело человека удерживает лишь скелет привычки. Внутри ничего не осталось, сказал себе Питер Уолш, чувствуя опустошение, абсолютную пустоту внутри. Кларисса мне отказала, вспомнил он. Кларисса мне отказала.

А, сказала церковь Святой Маргариты тоном

хозяйки, что входит в гостиную с ударом часов и видит: гости уже собрались. Я вовсе не опоздала. Сейчас ровно половина двенадцатого. И все же, пусть она и совершенно права, истинная хозяйка вовсе не стремится навязывать свое мнение. В ее голосе звучит печаль о прошлом, тревога о настоящем. Половина двенадцатого, говорит она, и звон колоколов Святой Маргариты проникает в сокровенные глубины сердца, свивается кольцами, словно живое существо, которое хочет довериться, раствориться в тебе, дрожа от восторга, обрести покой — так и Кларисса в белом платье, подумал Питер Уолш, спускается по лестнице с ударом часов. Это же Кларисса, подумал он в глубоком волнении и с изумительной ясностью, внезапно вспомнив о ней, будто звон колокола раздался много лет назад, застав их в комнате в миг особой, невероятной близости, прогудел медоносной пчелой от одного к другому и улетел, преисполнившись важности момента. Но что за комната? Что за миг? И почему он так искренне обрадовался, когда пробили часы? Звон Святой Маргариты постепенно затих, и Питер подумал: ведь она недавно болела, и звук выразил немочь, страдание. У нее плохо с сердцем, вспомнил он, и внезапно громкость последнего

удара отозвалась похоронным звоном — Кларисса упала замертво посреди гостиной. Нет! Нет! — вскричал Питер. — Она не мертва! Я не стар! — вскричал он и ринулся по Уайтхоллу так, словно навстречу ему неслось будущее, насыщенное и бесконечное.

Он нисколько не стар, не осунулся, не высох. И плевать, что говорят они — чета Дэллоуэй, Уитбреды и им подобные (хотя, пожалуй, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтобы тот помог с работой). Размашисто шагая вперед, он ожег взглядом статую герцога Кембриджского. Да, из Оксфорда он и правда вылетел. Он социалист, в известном смысле — неудачник. И все же будущее цивилизации — в руках подобных юношей, с их любовью к абстрактным идеалам. Таким был он сам тридцать лет назад — сидя в Гималаях, выписывал книги из самого Лондона, читал научную литературу, увлекался философией. Будущее — в руках подобных юношей, думал Питер.

Сзади донесся легкий шум, похожий на шелест листьев в лесу, а за ним Питера настиг шорох, и мерный глухой звук вторгся в его мысли, заставив печатать шаг по Уайтхоллу помимо его воли. Рядовые в военной форме, с винтовками,

шли строем, глядя перед собой, двигая руками в такт, и на их лицах застыло выражение, напомнившее Питеру надпись на постаменте, восхвалявшую чувство долга, благодарности, преданности и любви к Англии.

Прекрасная выучка, подумал Питер Уолш, начиная идти с ними в ногу. Солдаты вовсе не выглядели крепкими. По большей части это были хилые шестнадцатилетние мальчишки, которые уже завтра встанут к прилавку и будут торговать рисом или мылом. Теперь же их не касались ни плотские удовольствия, ни бытовые заботы — они торжественно следовали от Лондонской кольцевой, чтобы возложить венок на пустую могилу. Они дали обет, и участники уличного движения его уважили, грузовики остановились.

Мне за ними не поспеть, понял Питер Уолш, и они размеренно промаршировали мимо него, мимо всех — словно руками и ногами управляла одна воля, а жизнь во всем многообразии, со всеми неизбежностями лежала под спудом монументов и венков, силой дисциплины превращенная в застывший труп с пустым взором. Вот они идут, думал Питер Уолш, медля на краю тротуара, и все величественные статуи — Нель-

сон, Гордон, Хэвлок — черные, эффектные изображения великих воинов стоят, пристально глядя в будущее, словно тоже дали обет самоотречения (Питер Уолш чувствовал, что и он совершил великое самоотречение), измученные теми же искушениями, и в конце концов добились мраморной пристальности взгляда. Сам Питер Уолш к подобному взгляду вовсе не стремился, хотя в других уважал. К примеру, в этих мальчишках. Мучения плоти пока им неизвестны, думал он, глядя, как колонна исчезает в направлении Стрэнда — все, через что прошел я, подумал он, пересекая улицу и останавливаясь под статуей Гордона — того самого генерала Гордона, которым так восхищался в юности. Гордон стоял, согнув ногу в колене и скрестив руки — бедняга Гордон!..

И лишь потому, что кроме Клариссы о его возвращении еще никто не знал и земля после долгого плавания все еще казалась островом, Питера Уолша охватило чувство нереальности происходящего — вот он стоит на Трафальгарской площади в половине двенадцатого совсем один, живой и невредимый, всем чужой. Площадь подавляла. Что я? Где я? И почему, в конце концов, я это делаю? — думал он, и развод ка-

зался полным вздором. И разум увяз в трясине уныния, и накатили три чувства — сопереживание, огромное человеколюбие и, как следствие первых двух, непреодолимое, острое наслаждение — словно чужая рука распахнула шторы и он, не имея к этому акту ни малейшего отношения, стоит на перекрестке бесконечных улиц и волен идти куда пожелает. Много лет он не чувствовал себя таким молодым.

Спасен! И совершенно свободен — так чувствуешь себя, когда избавляешься от оков давней привычки, и разум, словно рвущееся на волю пламя, выгибается и клонится, норовя покинуть очаг. Сколько лет я не чувствовал себя таким молодым! — думал Питер, избавившись (конечно, всего лишь на час-другой) от себя самого и чувствуя то же, что и ребенок, который выбежал за порог и видит старую няню, машущую ему из окна. Пересекая Трафальгарскую площадь и направляясь к Хеймаркету, он загляделся на проходившую мимо статуи Гордона молодую женщину и подумал: «До чего хороша». Мысленно он снимал с нее покров за покровом, пока она не стала той женщиной, о которой он всегда мечтал, — юной, но величавой, веселой, но сдержанной, темноволосой, но пленительной.

Подобравшись и украдкой поигрывая перочинным ножом, он пустился следом за ней, за этой женщиной, за этим радостным волнением — хотя незнакомка шла не оглядываясь, она манила его светом, выделяя из толпы, в уличном шуме словно проскальзывало имя — не Питер, нет, а то, как он мысленно обращался к себе. «Ты», — говорила она, всего лишь «ты», твердили ее белые перчатки и плечи. Когда она проходила мимо часового магазина Дента на Кокспер-стрит, длинные полы легкого плаща взметнулись от ветра, обещая обволакивающее тепло, печальную нежность — словно руки, готовые принять в объятия усталого…

Вряд ли замужем — слишком молода, подумал Питер, и красная гвоздика в ее петлице, которую он заметил, когда она шла через Трафальгарскую площадь, снова ожгла его глаза и разрумянила губы. Стоит и ждет у края мостовой. В ней чувствуется достоинство. Не светская дама, как Кларисса, и не богата, как Кларисса. Интересно, леди или нет, гадал он, присматриваясь. Остроумная, бойкая на язык, думал Питер Уолш (почему бы иногда не дать волю фантазии), сдержанная, насмешливая, умеет владеть собой.

Женщина перешла улицу, он двинулся следом.

Меньше всего ему хотелось поставить ее в неловкое положение. И все же, если она остановится, он предложит: «Давайте съедим по мороженому», и она ответит совершенно непринужденно: «Идемте».

Увы, между ними вклинились прохожие и заслонили ее. Он не сдавался, она преобразилась. Щеки раскраснелись, в глазах — насмешка. Питер Уолш чувствовал себя искателем приключений — беззаботным, стремительным, отважным (не зря же он только вчера вернулся из Индии), романтичным флибустьером, которому дела нет до чертовых приличий, желтых пеньюаров, трубок, удочек в витринах, а также респектабельности, вечерних приемов и щеголеватых стариков при белых галстуках и жилетах. Он — флибустьер! Все дальше и дальше шла она впереди него — через Пикадилли, по Риджент-стрит; и ее плащ, перчатки, плечи гармонировали с бахромой, кружевами и боа из перьев в витринах; дух причудливой роскоши струился из магазинов на тротуар, как свет ночного фонаря растекается над изгородями, тонущими в темноте.

Прелестная и смеющаяся, она перешла через Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит, свернула на соседнюю улочку и вот, вот он — подходящий

момент! — незнакомка сбавила шаг, сунула руку в сумочку и, украдкой бросив в сторону Питера Уолша взгляд, который сказал «прощай», поставила точку — победную точку! — в мимолетном эпизоде, вставила в замочную скважину ключ, открыла дверь и зашла! В ушах прозвучал певучий голос Клариссы: «Помни про мой прием, помни про прием». Ничем не примечательный дом из красного кирпича, подвесные ящики с цветами, причем весьма безвкусными. Все кончено.

Позабавился, и хватит, думал он, задрав голову и разглядывая ящики с бледной геранью. Теперь веселью конец — разлетелось в прах, потому что было наполовину вымышленным, о чем он прекрасно знал. Питер Уолш сочинил приключение с девушкой, как сочиняешь большую часть своей жизни, — придумываешь себя, придумываешь ее, представляешь приятный флирт или нечто посерьезнее. Увы, подобное приключение ни с кем не разделишь — разлетается в прах.

Он развернулся и пошел по улице, думая, где бы посидеть, пока не настанет время визита в «Линкольнс-Инн» — к адвокатам Хуперу и Грейтли. Куда пойти? Неважно. Вперед, к Риджентс-парку. Ботинки Питера Уолша выстукивали по тротуару «не важно», потому что было еще рано, слишком

рано.

Великолепное утро. Пульс лондонской жизни бьется ровно, как здоровое сердце — ни колебаний, ни перебоев. К особняку бесшумно подъехал автомобиль и аккуратно остановился. На тротуар выпорхнула хрупкая девушка в шелковых чулках и перьях, но на Питера Уолша особого впечатления не произвела (ему хватило одного приключения). В распахнутых дверях виднелись вышколенные слуги, рыжевато-коричневые чау-чау, холл с черно-белой плиткой и светлые шторы, развевающиеся на ветру. Такую жизнь он одобрял. В конце концов, Лондон, особенно в это время года, — выдающееся достижение цивилизации. Происходя из респектабельной англо-индийской семьи, по меньшей мере три поколения которой управляли делами целого континента (как странно, думал он, этим гордиться, ведь я не люблю ни Индию, ни империю, ни армию), Питер Уолш порой переживал моменты, когда цивилизация, даже подобного рода, становилась ему дорога, словно личное достижение; моменты гордости за Англию, слуг, чау-чау, обеспеченных девушек. Нелепо, но куда деваться. Доктора, коммерсанты, толковые женщины — все спешат по своим делам, такие пунктуальные,

проворные, крепкие — кажутся достойными восхищения, хорошими людьми, которым и жизнь доверишь охотно, и мудростью житейской поделишься, и за помощью обратишься в трудную минуту. Как бы то ни было, спектакль и в самом деле довольно сносный, а он тем временем присядет в тени и покурит.

Вот и Риджентс-парк. Он гулял здесь в детстве — странно, что я постоянно вспоминаю детство, вероятно, из-за встречи с Клариссой, ведь женщины живут прошлым больше, чем мы, мужчины. Они привязываются к местам и к отцам — женщина всегда гордится своим отцом. В Бортоне было славно, очень славно, но со стариком он так и не поладил. Однажды вечером у них вышел конфликт — о чем-то поспорили, подробностей память не сохранила. Надо полагать, о политике.

Да, Риджентс-парк он помнил: длинная прямая аллея, слева — киоск с воздушными шарами, где-то еще стоит несуразная статуя с надписью. Он поискал свободную скамью. Не хотелось, чтобы дергали, интересуясь, который час (Питера клонило в сон). Лучшее место, которое удалось найти, — подле пожилой седоволосой няньки со спящим в коляске младенцем, и он присел

с краю.

Эксцентричная девушка, подумал он, вспомнив Элизабет, которая вошла в гостиную и встала рядом с матерью. Как выросла, совсем взрослая — скорее симпатичная, чем красивая. Вряд ли ей больше восемнадцати. Вероятно, с Клариссой не ладит. «Вот и моя Элизабет» и тому подобное — почему просто не сказать: «Вот Элизабет»? Как и многие матери, пытается выдать желаемое за действительное. Слишком полагается на свое обаяние и переигрывает.

По горлу приятно струился густой, ароматный дым сигары; он выпускал его кольцами, которые отважно боролись с воздухом, синие, круглые — попробую сегодня поговорить с Элизабет наедине, подумал он, — потом задрожали, приняли форму песочных часов и развеялись. Что за странные формы! Питер Уолш прикрыл веки, с трудом поднял руку и отшвырнул остаток сигары. По затуманенному сознанию прошлась огромная метла, сметая ветки, детские голоса, шарканье ног и звуки шагов, уличный гул, то стихающий, то нарастающий. Он все глубже и глубже погружался под пушистое крыло сна и наконец завяз окончательно.

Услышав храп Питера Уолша на краю скамей-

ки, седая нянька вернулась к вязанию. В сером платье, с неутомимо и бесшумно двигающимися руками, она казалась защитницей прав спящих, вроде тех призрачных существ, что возникают в сумерках леса, сотканные из воздуха и ветвей. Одинокий странник, бродяга, что тревожит заросшие тропы, нарушает спокойствие папоротников и огромного, в человеческий рост болиголова, поднимает взгляд и внезапно видит в конце пути исполинскую фигуру.

Пожалуй, он убежденный атеист, и подобные встречи с невероятным застигают его врасплох. Вне нашего разума нет ничего, лишь его порождения, думает он; жажда утешения, покоя, бегства от этих жалких пигмеев, слабых, трусливых мужчин и женщин. Но если я могу ее представить, значит, в каком-то смысле она существует, думает он и идет по тропе, подняв взор к небу и ветвям, придавая им очертания женской фигуры, и с изумлением видит, как степенно они замирают, как величаво колышется от ветра темная листва, источая сострадание, понимание, прощение, а потом внезапно взмывают ввысь в хмельном буйстве стихий.

Таковы видения, что смущают одинокого странника, словно рог изобилия, полный фрук-

тов, или шепот сирен, качающихся на зеленых морских волнах, или заросли роз, источающих дивный аромат, или бледные лица русалок, что поднимаются из глубин и манят рыбаков в воду.

Таковы видения, что непрестанно всплывают на поверхность, подкрадываются сзади, затмевают реальность, нередко подчиняя себе одинокого странника, лишая его земных страстей и желания вернуться, и взамен даруют покой, словно эта лихорадочная жизнь (думает он, устремляясь в глубь леса) есть сама простота, и бесчисленные множества вещей сливаются воедино; и этот призрак, сотканный из неба и ветвей, поднялся из бурного моря (странник стал старше, ему уже за пятьдесят), величественно распростер руки, и с них струится сострадание, понимание, прощение. Значит, думает он, я никогда не вернусь к свету лампы в гостиной, никогда не дочитаю книгу, никогда не выбью трубку, никогда не позвоню, чтобы миссис Тернер убрала. Лучше я подойду к этому исполину, который кивнет, подымет меня на ветвистые плечи и позволит улететь в небытие вместе с остальными.

Таковы видения. Одинокий странник вскоре выходит из леса. На пороге стоит старуха

в развевающемся белом переднике и вглядывается в даль, заслоняя глаза от солнца, и слабому духу мнится, что она ждет потерянного сына или погибшего всадника — воплощение матери, чьи сыновья пали в боях. Одинокий странник шагает по деревне мимо женщин, сидящих с вязаньем, мужчин, копающихся в саду, и вечер не предвещает ничего хорошего: люди застыли, словно над ними нависла неминуемая гибель, и бесстрашно ждут, когда нахлынет небытие.

Внутри дома, среди привычных вещей — буфет, стол, герань на подоконнике — внезапно возникают очертания экономки, нагнувшейся снять скатерть со стола, смягчаются в вечернем свете — прелестный символ, и лишь память об отсутствии тепла в человеческих отношениях не позволяет нам заключить ее в объятия. Женщина ставит джем на полку, закрывает дверцу.

— Что-нибудь еще желаете, сэр?

Но кому ответит одинокий странник?..

Старуха нянька вязала над спящим младенцем в Риджентс-парке. Питер Уолш храпел. Он проснулся совершенно внезапно, сказав себе: «Гибель души».

— Боже, Боже! — громко воскликнул он, потягиваясь и открывая глаза. — Гибель души.

Слова связались с неким эпизодом, с некоей комнатой, с неким прошлым, которое ему снилось. Наконец он вспомнил и эпизод, и комнату, и прошлое.

Это случилось в Бортоне летом в начале девяностых, когда он был страстно влюблен в Клариссу. Полон дом гостей, все смеются и разговаривают, сидят вокруг круглого стола после чая, комната купается в желтом свете и полна папиросного дыма. Разговор шел о соседе-эсквайре, имя он позабыл. Тот женился на своей горничной и привез ее в Бортон с визитом — и что за ужасный вышел визит! Дама разрядилась в пух и прах, «словно попугай», как выразилась Кларисса, передразнивая ее, и болтала без умолку. Она все говорила, и говорила, и говорила. Кларисса ее передразнивала. И вдруг кто-то спросил (вроде бы Сэлли Сетон), изменилось бы отношение присутствующих к этой даме, если бы они знали, что она родила ребенка до брака? (В те годы, в присутствии женщин, это был смелый вопрос.) Кларисса густо покраснела, сжалась и выпалила: «Теперь я не смогу с ней и слова сказать!» После чего вся компания, сидевшая за столом, смешалась. Получилось весьма неловко.

Он вовсе не винил Клариссу, ведь в те годы

девушка ее воспитания не знала о жизни ничего, но его взбесил тон — испуганный, резкий, немного надменный, ограниченный, ханжеский. «Гибель души». Он проговорил это машинально, по привычке снабдив момент ярлыком — гибель ее души.

Все вздрогнули. Казалось, от ее слов они пригнулись и встали уже другими. Сэлли Сетон, как проказливое дитя, что смущенно подается вперед, собираясь заговорить, но боится, ведь Клариссы побаивались все. (Сэлли была ее лучшей подругой, всегда рядом и так на нее не похожа — притягательная, красивая, темноволосая и по тем временам очень смелая, а он давал ей иногда сигару, которую она выкуривала у себя в комнате. То ли с кем-то помолвлена, то ли поссорилась с родителями — старина Перри терпеть не мог и Сэлли, и Питера, что весьма их сблизило.) Кларисса с оскорбленным видом встала, извинилась и вышла. Открывая дверь, она впустила в дом огромного мохнатого пса, который бегал за овцами. Бросилась его обнимать и сюсюкать. Она словно говорила Питеру — сцена предназначалась ему, он знал — «Из-за той женщины ты считаешь меня вздорной, но посмотри, какая я бываю чуткая, посмотри, как люблю сво-

его Роба!».

Им всегда было свойственно понимать друг друга без слов. Кларисса сразу чувствовала, что он ее осуждает, и пыталась доказать свою невиновность — устраивала что-нибудь вроде этой возни с псом, — однако провести его никогда не удавалось, Питер видел ее насквозь. Вслух он, конечно, не говорил ничего, просто сидел с угрюмым видом. Так начинались многие их ссоры.

Она хлопнула дверью, и он ощутил глубокую подавленность. Все казалось бесполезным — влюбляться, ссориться, мириться, и он бродил один вокруг надворных строений и конюшен, смотрел на лошадей. Местечко было довольно скромным — семейство Перри достатком не отличалось, зато всегда держало грумов, конюхов (Кларисса любила ездить верхом), старого возничего (как же его звали?) и старуху-няньку по прозвищу то ли Мамушка, то ли Нянюшка, которую все ходили навещать в маленькую комнатку с кучей старых фотографий и птичьих клеток.

Что за ужасный вечер! Питер мрачнел все больше и больше, не только из-за того эпизода — из-за всего. Он не мог ни подойти к ней, ни объясниться — ее постоянно окружали гости. Кларисса вела

себя так, словно ничего не случилось. В самой глубине ее души сидел бес — временами она бывала холодная, бесчувственная, вот как утром, не подступишься. И все же, видит Бог, он ее любил. Кларисса обладала странным даром играть на нервах — буквально превращать их в скрипичные струны и играть.

Он вышел к ужину довольно поздно — хотел привлечь к себе внимание, дурак такой, и сел рядом со старой мисс Перри, тетушкой Хеленой, сестрой мистера Перри, которая восседала во главе стола в белой кашемировой шали, лицом к окну — внушительная пожилая леди. Впрочем, к нему она относилась благосклонно, поскольку Питер отыскал один редкий цветок, а старуха чрезвычайно увлекалась ботаникой, разгуливала повсюду в грубых сапогах и с черной коробкой для сбора растений, висящей за спиной. Он сел рядом с мисс Перри, не в силах говорить. Казалось, жизнь проносится мимо, и он просто сидел и ел. Наконец в середине ужина он заставил себя взглянуть на Клариссу. Она беседовала с молодым человеком по правую руку. На Питера внезапно снизошло откровение: они поженятся, сказал он себе, хотя даже имени его не знал.

Именно в тот день, в тот самый день появился

Дэллоуэй. Кларисса назвала его Уикхемом, с этого все и началось. Он пришел с кем-то из общих знакомых, и Кларисса запомнила имя неправильно. Представляла всем как Уикхема, тот не выдержал и выпалил: «Мое имя — Дэллоуэй!» Таким Питеру Уолшу он и запомнился — светловолосый юноша, довольно нескладный, сидя в шезлонге, выдает: «Мое имя — Дэллоуэй!» Сэлли после этого его иначе и не называла.

В то время прозрения на Питера так и сыпались. Осознание, что Кларисса выйдет замуж за Дэллоуэя, его буквально ослепило, потрясло до глубины души. С Дэллоуэем она держалась — как бы выразиться поточнее? — непринужденно, что ли, в ее тоне проскальзывали нежные, материнские нотки. Обсуждали они политику. Весь обед Питер пытался расслышать, о чем они говорят.

Позже он стоял в гостиной возле кресла старой мисс Перри. Подошла Кларисса, блистая безупречными манерами — образцовая хозяйка — и хотела с кем-то его познакомить; разговаривала так, будто впервые видит, что вывело Питера из себя. Тем не менее он продолжал ею восхищаться. Он восхищался ее храбростью, социальным инстинктом, выдержкой. «Образ-

цовая хозяйка», — шепнул он ей, и Кларисса содрогнулась. Он добился, чего хотел. Увидев ее с Дэллоуэем, Питер был готов на любую гадость. И Кларисса ушла. У него создалось впечатление, что все против него сговорились: смеются, обсуждают за спиной. Так он и застыл возле кресла мисс Перри, словно деревянная статуя, посреди беседы о полевых цветах. Таких адских мук на его долю еще не выпадало! Вероятно, он даже забыл притвориться, что слушает. Наконец он очнулся, поймал на себе пристальный взгляд мисс Перри, полный возмущения и тревоги. Он едва не вскричал, что не может больше уделять ей внимания, потому что испытывает адские муки! Гостиная пустела. Кто-то говорил, что нужно захватить плащи — на воде прохладно. Они собрались покататься по озеру на лодках при луне — очередная безумная затея Сэлли. И все вышли в сад, бросив Питера одного.

— Разве ты не хочешь пойти с ними? — спросила тетушка Хелена, обо всем догадавшись.

Он обернулся и снова увидел Клариссу. Она вернулась за ним. Питера поразило ее великодушие, ее благородство.

— Пойдем, — поторопила она. — Нас ждут.

Никогда в жизни он не был так счастлив!

Они помирились без слов. Путь к озеру подарил ему двадцать минут полного счастья. Ее голос, смех, платье (воздушное, белое с малиновым), ее душевный настрой, бурная фантазия. Кларисса подбила их причалить и обследовать остров, она напугала курицу, хохотала, пела. И на протяжении всей прогулки, четко осознавал Питер Уолш, Дэллоуэй постепенно влюблялся в нее, а она в него. Впрочем, тогда ему было все равно. Они сидели на земле и разговаривали — он и Кларисса. Они скользили по мыслям друг друга без каких-либо усилий. И вдруг все закончилось. Садясь в лодку, он отрешенно, без всякого сожаления сказал себе: «Она выйдет замуж за этого мужчину», как нечто само собой разумеющееся. Дэллоуэй женится на Клариссе.

Лодкой правил Дэллоуэй. Он молчал, но почему-то, стоило ему прыгнуть на велосипед (до его дома было миль двадцать через лес), вильнуть на повороте, помахать им рукой и исчезнуть, как стало ясно: он тоже невероятно глубоко переживает и тоже чувствует все это — ночь, романтику, Клариссу. Он ее заслужил.

Питер понимал, что ведет себя нелепо. Его завышенные требования к Клариссе (как ему виделось теперь) были нелепы. Он закатывал

ей кошмарные сцены. Вероятно, она все же приняла бы его предложение, будь он менее нелеп, как считала Сэлли. Тем летом она писала ему длинные письма — как они разговаривали о нем, как Кларисса его превозносила, как плакала… Лето выдалось престранное — сплошь письма, ссоры, телеграммы — приезжал в Бортон поутру, болтался неподалеку, пока не встанут слуги, потом чудовищные тет-а-тет со стариком Перри за завтраком, тетушка Хелена — грозная, но добрая, Сэлли то и дело вытаскивает посекретничать в сад, Кларисса — в постели с головной болью.

Последняя ссора, самая жуткая из всех, что случались в его жизни (может, он и преувеличивает, но так кажется теперь) произошла в очень жаркий день, в три часа пополудни. Началось все с пустяка — Сэлли за ланчем упомянула Дэллоуэя, назвав его «Мое имя — Дэллоуэй»; Кларисса внезапно надулась, вспыхнула и резко выпалила: «Эта плоская шутка меня достала!» Вот, собственно, и все, но для Питера это было равносильно тому, как если бы она заявила: «С вами я просто развлекаюсь, а с Ричардом Дэллоуэем у меня все серьезно». Так он ее понял и лишился сна. «Пора ставить точку», — сказал он себе и передал через Сэлли записку с просьбой встретиться в три часа

у фонтана. «Это очень важно», — приписал он в конце.

Фонтан находился в небольших зарослях кустарника вдалеке от дома, со всех сторон его окружали деревья. Кларисса пришла раньше назначенного времени, и они стояли по краям неисправного фонтана, из которого медленно капала вода. До чего иной раз мелкие детали западают в память! К примеру, ярко-зеленый мох.

Она не двигалась. «Скажи мне правду, скажи мне правду», — твердил он. Невыносимо ломило виски. Она вся сжалась, оцепенела. Она не двигалась. «Скажи мне правду», — повторил он, и вдруг старик Брейткопф опустил «Таймс», которую читал на ходу, уставился на них, открыв рот, и пошел дальше. Они не двигались. «Скажи мне правду», — повторил он, обливаясь слезами, но Кларисса не поддавалась. Она была тверда как железо, как кремень, такая же незыблемая и несгибаемая. Потом она проговорила: «Что толку? Все кончено». Ответ прозвучал как пощечина. Кларисса повернулась и пошла прочь.

— Кларисса! — вскричал он. — Кларисса!

Она так и не вернулась. Все было кончено. Вечером он уехал и с тех пор больше ее не видел.

Ужасно, вскричал он, ужасно, ужасно!

И все же солнце припекает, жизнь продолжается, боль рано или поздно утихает. И все же, подумал он, зевая и оглядываясь по сторонам, со времен его детства Риджентс-парк мало изменился, пожалуй, не считая белок, но наверняка есть и перемены к лучшему… И тут малышка Элиза Митчелл, собиравшая камешки для коллекции, которую они с братом хранили в детской на каминной полке, высыпала в подол няньки полную пригоршню, помчалась за новыми экспонатами и врезалась в ноги проходившей мимо леди. Питер Уолш рассмеялся.

Лукреция Уоррен Смит твердила про себя: «Это жестоко, почему я должна страдать? Я больше не могу!» Она шла по широкой дорожке, покинув Септимуса, который больше не Септимус, говорит неприятные, скверные вещи, разговаривает сам с собой, разговаривает с сидящим рядом мертвецом, и вдруг в нее с разбега врезался ребенок, упал ничком и расплакался.

Лукреция облегченно вздохнула, отвлекшись от тяжелых мыслей, подняла малышку на ноги, отряхнула и поцеловала.

Со своей стороны, она не сделала ничего плохого — полюбила Септимуса, обрела счастье; покинула ради него прекрасный дом в Италии,

где до сих пор живут и шьют шляпы ее сестры. Почему она должна страдать?

Малышка убежала к няне, та ее поругала, утешила, отложила вязанье и взяла ребенка на руки, и добродушного вида джентльмен дал ей свои часы поиграть — но почему именно Реции выпала подобная доля?! Почему она не осталась в Милане? Почему так мучается? Почему?

Перед глазами расплывалась аллея, няня с ребенком, джентльмен в сером, коляска. Похоже, злобный мучитель будет терзать ее вечно. Почему? Реция чувствовала себя птичкой под сухим листом, которая щурится от солнца, когда тот шевелится, и вздрагивает от треска ветки. Брошенная на произвол судьбы, окруженная громадными деревьями, огромными облаками равнодушного мира, измученная и одинокая, но почему она должна страдать? Почему?

Реция нахмурилась, топнула ногой. Она должна вернуться к Септимусу — почти пора идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Она должна вернуться к мужу, сидящему на зеленой скамейке под деревом и болтающему с самим собой или с тем мертвецом Эвансом, которого она видела лишь мельком. Приятный, спокойный парень, лучший друг Септимуса, погиб на войне. Такое случается

сплошь и рядом — у всех есть друзья, погибшие на войне. И всем приходится чем-нибудь жертвовать, вступая в брак. Она бросила свой дом, приехала в этот противный Лондон, а Септимус постоянно думает о всяких ужасах, хотя она себе такого не позволяет. Он становится все более странным, слышит за стеной какие-то голоса. Миссис Филмер считает, что он чудит. Вдобавок Септимусу мерещится всякое — например, голова старухи в зарослях папоротника. И все же он может быть счастливым, если захочет. Однажды они отправились в Хэмптон-корт, сидели на верхней площадке омнибуса и были вполне счастливы. Красные и желтые цветочки — как плавучие фонарики в траве, воскликнул муж, и болтал, и смеялся, и выдумывал всякие истории. Внезапно он сказал: «А теперь мы покончим с собой» — они как раз стояли у реки, и Септимус смотрел на воду с тем же выражением, что появляется в его глазах при виде проезжающего поезда или омнибуса, — они его просто завораживали. Лукреция испугалась и схватила его за руку. По пути домой муж вел себя вполне спокойно и сдержанно, уверял, что они должны покончить с собой, ведь люди на улице дурные и замышляют недоброе. Ему известны

все их мысли, говорил Септимус, ему известно все. Он постиг смысл мироздания.

Домой он едва доплелся. Лег на диван, схватил ее за руку — боялся упасть вниз, вниз, прямо в пламя! По стенам ему чудились лица, которые хохотали, обзывались отвратительными словами, тыкали в него пальцами, хотя в комнате не было никого. Септимус принялся болтать сам с собой, отвечать невидимым людям, спорил, смеялся, кричал, разволновался и заставил ее записывать всякую чушь — про смерть, про мисс Изабел Поул. Просто невыносимо! Впрочем, пора возвращаться.

Вон и Септимус. Сидит, уставившись в небо, и бормочет, ломая руки. Доктор Холмс считает, что с ним все в порядке. Почему же тогда муж вздрогнул, стоило ей присесть рядом, скривился, отпрянул и берет ее за руку, подносит к лицу и смотрит в ужасе? Неужели из-за того, что она сняла обручальное кольцо?

— Пальцы стали тонкими, — пояснила Рецция. — Кольцо в сумочке.

Септимус уронил руку. Браку пришел конец, подумал он с болью и облегчением. Веревка перерезана, прыжок в седло — и он свободен, поскольку решено, что именно он, владыка Сеп-

тимус, должен быть свободен; лишь он один (обручальное кольцо жена выбросила, значит, и его покинула), лишь он, Септимус, из всех толп людских призван услышать истину, постигнуть смысл, который наконец-то, после всех усилий цивилизации — греки, римляне, Шекспир, Дарвин и теперь он сам — и сообщить… «Кому же» — воскликнул Септимус вслух. «Премьер-министру», — прошуршали голоса в ветвях. Великую тайну надо рассказать кабинету министров — начать с того, что деревья живые, преступления не существует, потом любовь, всеобщая любовь, бормотал он, задыхаясь, дрожа, с болью вытягивая из себя глубинные истины, что требовало неимоверных усилий, настолько глубоко они залегали, но ведь они изменят мир полностью, бесповоротно…

Преступления не существует, только любовь, повторил он, шаря по карманам в поисках визитной карточки и карандаша, и тут его брюки обнюхал скайтерьер. Септимус испуганно вздрогнул. Пес превращается в человека! Жуткое зрелище! Смотреть на такой ужас просто невыносимо! Пес затрусил прочь.

Милосердие небес беспредельно! Его пощадили, помиловали. Но каково же научное обосно-

вание? (Научное обоснование есть у всего, надо только поискать.) Почему он видит человека насквозь, прозревает будущее, в котором собаки становятся людьми? Вероятно, так действует аномальная жара на мозг, ставший чувствительным в ходе бесконечной эволюции. С научной точки зрения плоть тает, отторгается от мира. Его тело истончалось до тех пор, пока не остались одни лишь нервные волокна. Он лежит на скале, словно вуаль.

Септимус откинулся на спинку, измученный и все же приободренный. Он отдыхал и ждал, когда сможет снова вещать человечеству — вещать с усилием, с мукой. Он лежал очень высоко, на вершине мира. Земля под ним трепетала. Сквозь плоть прорастали красные цветы, их жесткие листья шуршали над головой. В скалах зазвенела музыка. Клаксон на улице, пробормотал Септимус, здесь же мелодия перекатывается между уступами, дробится, выстраивается в ударные волны звука, которые вздымаются гладкими колоннами (то, что музыка может быть видимой, стало для него открытием), превращается в гимн, и гимн сплетается со звуками свирели мальчика-пастуха (старик возле пивной наигрывает на свистковой флейте, шептал он), которая, когда

мальчик стоит неподвижно, звенит переливами, и издает тонкие трели, когда тот взбирается выше. Пастушок исполняет элегию прямо посреди улицы, думал Септимус, теперь уходит в снега, и его обвивают розы — крупные красные розы, что растут на стенах моей спальни. Музыка стихла. Видимо, бродяга собрал свои гроши и подался к следующей пивной.

Септимус продолжал лежать на вершине скалы, как мертвый моряк. Я перегнулся через борт и упал в море, подумал он. Ушел под воду. Я умер, и я жив, но дайте же, дайте отдохнуть, взмолился он (снова разговаривает сам с собой — ужасно, ужасно!). Перед пробуждением голоса птиц и стук колес соединяются в причудливом созвучии, звенят все громче и громче, и спящего влечет на берег жизни; так и Септимуса повлекло в явь, солнце начало припекать, звуки стали резче, и он понял — грядет нечто невообразимое.

Нужно лишь открыть глаза, но на веках тяжесть. Страх. Он сжался, сделал усилие, посмотрел и увидел Риджентс-парк. К ногам ласкались длинные полосы солнечного света, деревья качались, махали ветвями. Мир словно говорил: мы одобряем, мы принимаем, мы создаем — создаем красоту. И как бы пытаясь это доказать

(с научной точки зрения), красота возникала повсюду, куда ни взгляни — на дома, на антилоп, вытягивающих шеи за оградой. Что за изысканное удовольствие наблюдать, как лист трепещет на ветру! В небесах реяли ласточки, взмывали ввысь, падали вниз, нарезали круги, безупречно контролируя свои движения, словно привязаны к резинкам; мухи сновали туда-сюда, солнце шаловливо высвечивало то один листок, то другой, щедро заливая их золотом; то и дело среди стебельков травы разносился изумительный перезвон (наверное, звякают автомобильные клаксоны) — и все это, каким бы спокойным и разумным, каким бы обыденным оно ни казалось, теперь стало истиной. Красота и есть истина! Красота — повсюду…

— Септимус, время, — напомнила Лукреция.

Слово «время» расщепило скорлупу, обдало Септимуса своими дарами, и с губ непроизвольно посыпались — как ракушки, как стружка с рубанка — твердые, белые, нетленные слова и полетели занимать свое место в Оде времени, бессмертной Оде времени. Он запел. Из-за дерева подхватил Эванс. Мертвецы теперь в Фессалии, пел Эванс, среди орхидей. Ждут, что война закончится, и тогда все мертвые, и тогда сам Эванс…

— Бога ради, уйдите! — вскричал Септимус, не в силах смотреть на мертвецов.

Но ветви раздвинулись — к ним шел человек в сером. Эванс! Ни грязи, ни ран — нисколько не изменился. Я должен рассказать всему миру, возопил Септимус, простирая длань (мертвец в сером костюме неотвратимо приближался), простирая длань, словно одинокий исполин, веками оплакивающий в пустыне людские судьбы, закрыв руками изборожденный горестными морщинами лик; свет на краю пустыни вспыхивает и поражает черный силуэт (Септимус приподнялся со скамьи), несметные толпы простираются ниц перед ним, величайшим плакальщиком, и на миг…

— Септимус, я так несчастна! — воскликнула Лукреция, пытаясь усадить его обратно.

Миллионы горько застенали — они горюют испокон веку. Сейчас он наконец-то поведает им об облегчении, о радости, об удивительном откровении…

— Время, Септимус, — повторила Лукреция. — Сколько времени?

Говорит сам с собой, смотрит в никуда — проходящий мимо джентльмен наверняка заметил. Глядит прямо на них.

— Сейчас скажу, — медленно протянул Септимус, загадочно улыбаясь мертвецу в сером костюме, и тут пробили часы на башне — без четверти двенадцать.

Эх, молодежь, подумал Питер Уолш, удаляясь. Ссорятся прямо с утра — на бедной девушке лица нет. Интересно, что наговорил ей молодой человек в плаще? Что за неурядица ввергла их в отчаяние в такой прекрасный летний день? Забавно, как после пятилетней отлучки возвращение в Англию придает ощущение новизны (по крайней мере, первые несколько дней) буквально всему — ссоре влюбленных под деревом, семейной идиллии парков. Прежде Лондон вовсе не выглядел таким чарующим — размытая перспектива, богатство и изобилие, зелень, словом, по сравнению с Индией — цивилизация, думал он, шагая по лужайке.

Пожалуй, восприимчивость к внешним впечатлениям его и погубила. Несмотря на солидный возраст, у Питера Уолша случались перепады настроения, свойственные юности: бывали хорошие дни, бывали плохие, причем без всяких причин. Он мог испытать счастье при виде красивого лица или стать совершенно несчастным при виде оборванца. Разумеется, после Индии

немудрено влюбляться во всех женщин подряд. В англичанках чувствуется некая новизна — даже самые бедные одеваются гораздо лучше, чем пять лет назад, да и мода теперь на редкость привлекательная: длинные черные плащи, женщины неизменно стройны и элегантны, к тому же привычка краситься стала повсеместной. У каждой, даже самой добропорядочной леди, цветут розы на щеках, кроваво-красные губы, черные как смоль локоны — все продумано, возведено в ранг искусства; несомненно, изменилось многое. Интересно, о чем теперь думает молодежь?

Последние пять лет, с 1918-го по 1923-й, как подозревал Питер Уолш, очень важны. Люди стали выглядеть иначе. Изменились газеты. К примеру, в одном вполне уважаемом еженедельнике появился репортер, который совершенно открыто пишет о ватерклозетах. Десять лет назад об этом и подумать никто не мог! А использование румян, пудреницы и помады на публике? На борту парохода, идущего в Англию, молодые люди — особенно ему запомнились Бетти и Берти — флиртовали у всех на виду; пожилая мать сидела с вязаньем и наблюдала за ними, спокойная, как удав. Девушка невозмутимо

пудрила носик на глазах у других пассажиров. И ведь даже не обручены — просто развлекаются в свое удовольствие, никаких обязательств. Не девушка, кремень — Бетти как-ее-там? — хотя и славная. Лет в тридцать станет хорошей женой — выйдет замуж, когда сочтет нужным, причем за богатого, поселится с ним в большом доме под Манчестером.

У кого же все так и сложилось? — спросил себя Питер Уолш, свернув на центральную аллею. — Что за особа вышла за богатого и живет в большом доме под Манчестером? Совсем недавно она написала ему длинное, излишне сентиментальное письмо про синие гортензии. Увидела цветы и вспомнила о нем, о старых добрых временах… Ну конечно, Сэлли Сетон! Никогда бы не подумал, что именно она выйдет замуж за богача и поселится в роскошном особняке в окрестностях Манчестера — шальная, дерзкая, романтичная Сэлли!

Из всей старой компании приятелей Клариссы — Уитбредов, Киндерли, Каннингемов, Кинлок-Джонсов — Сэлли, пожалуй, была самой лучшей. В любом случае, она хотя бы пыталась разобраться в происходящем. Единственная из всех видела Хью Уитбреда насквозь — рас-

прекрасного Хью, — в то время как Кларисса с остальными перед ним так и стелилась.

«Уитбреды? — послышался Питеру ее голос. — Да кто такие эти Уитбреды? Торговцы углем. Респектабельные торгаши».

Сэлли терпеть его не могла. Ни о чем, кроме своей внешности, не думает, сказала она. Небось мечтает жениться на принцессе и стать герцогом. И в самом деле, Хью питал поистине безграничное, непритворное, возвышенное почтение к британской аристократии, подобного которому Питер Уолш ни в ком не встречал. Это пришлось признать даже Клариссе. Ах, но ведь Хью такой душка, такой самоотверженный — бросил стрельбу, чтобы порадовать старушку-мать, помнит дни рождения всех тетушек и все в подобном духе.

Справедливости ради, провести Сэлли ему не удалось. Питеру особенно запомнилось, как одним воскресным утром посреди спора о правах женщин (тема старая, как мир) Сэлли вспыхнула, потеряв терпение, и воскликнула, что Хью воплощает в себе всю гнусность британского среднего класса. Заявила, что он виноват в бедственном положении «несчастных девушек с Пикадилли» — именно Хью, безупречный джентльмен, бедняга Хью! — в общем, перепугала его ужасно.

Сэлли сделала это нарочно, как призналась позже в саду (они с Питером частенько встречались среди грядок и обменивались впечатлениями). «Ведь он ничего не читает, ни о чем не задумывается, ничего не чувствует, — резко чеканила Сэлли, не подозревая, как далеко разносится ее голос. — Любой конюх больше похож на живого человека, чем этот Хью. Типичный продукт элитной частной школы. Подобные экземпляры водятся только в Англии!» Сэлли совсем разошлась — видимо, затаила на него обиду. Произошел какой-то инцидент — Питер Уолш позабыл, какой именно — в курительной комнате. Он оскорбил ее — поцеловал, что ли? Невозможно! Разумеется, никто не поверил. Целовать Сэлли в курительной комнате?! Будь на ее месте дочь пэра или сэра — пожалуйста, но оборванка Сэлли без гроша за душой, да еще то ли отец, то ли мать у нее — завсегдатай казино в Монте-Карло. Такого отчаянного сноба, как Хью, Питер Уолш пока не встречал. Откровенно не лебезил, конечно, поскольку слишком самодоволен. Скорее эдакий первоклассный камердинер — чемоданы поднести, телеграмму отправить — словом, в хозяйстве незаменим. И он нашел себе теплое местечко — женился на титулованной особе,

получил должность при дворе — присматривает за королевскими погребами, полирует пряжки на августейших башмаках, расхаживает в бриджах до колен и кружевном жабо. Как безжалостна судьба! Вот вам и местечко при дворе.

Хью женился на своей титулованной Эвелин, живет где-то неподалеку в помпезном доме с видом на парк, думал Питер Уолш, которому однажды довелось у них отобедать — в доме, где есть то, чего нет больше ни у кого! — чуланы для белья, к примеру. Пришлось пойти, взглянуть на дом, восторгаться и чуланами для белья, и старой дубовой мебелью, и картинами, купленными по дешевке. Впрочем, миссис Хью порой может сболтнуть лишнего. Она из тех невзрачных мышек, что восхищаются рослыми мужчинами. Вроде ничего собой не представляет, а потом как выдаст что-нибудь эдакое — резкое, колкое. Вероятно, остатки аристократических манер сказываются. Пагубное воздействие паровичного[3] угля на хрупкий организм налицо — атмосфера в доме слишком плотная. Так и живут среди своих бельевых чуланов, картин старых мастеров и наволочек с настоящими кружевами, живут

[3] Сноски: 3
Паровичный — употребляемый для сжигания в паровозных топках.

на ежегодную ренту в пять или десять тысяч фунтов, в то время как он, двумя годами старше Хью, вынужден клянчить у них работу.

В свои пятьдесят три придется просить их похлопотать, чтобы приткнули его куда-нибудь клерком, или помощником учителя младших классов, или на побегушки к какому-нибудь чинуше — все равно куда, сотен на пять в год, ведь им с Дэйзи одной пенсии точно не хватит. Скорее всего, с устройством поможет хоть Уитбред, хоть Дэллоуэй. Просить Дэллоуэя не зазорно. Человек он хороший, пусть недалекий и умом не блещет. И все-то делает с толком, без малейшей фантазии, без всяких прикрас, с типичной для него любезностью. Из него вышел бы отличный сельский сквайр — зря подался в политику, зря. Лучше всего он смотрится на свежем воздухе, с лошадьми и собаками — к примеру, как мастерски он справился, когда огромный лохматый пес Клариссы угодил в капкан и едва не лишился лапы, а Кларисса чуть не упала в обморок, и Дэллоуэй все сделал сам: перевязал, наложил шину и велел Клариссе не глупить. Пожалуй, тем и понравился — именно такой ей и нужен. «Ну же, милая, не глупи. Подержи это, подай то», и с собакой разговаривал как с человеком.

Но как она могла проглотить несусветную чушь насчет поэзии? Как позволила ему разглагольствовать о Шекспире? На полном серьезе Ричард Дэллоуэй встал в позу и заявил, что ни один порядочный человек не станет читать сонеты Шекспира, ибо это все равно что подглядывать в замочную скважину (не говоря уже о том, что подобных отношений он также не одобряет). Ни один порядочный человек не позволит жене посещать сестру своей покойной жены. Немыслимо! Клариссе следовало закидать его жареным миндалем — дело было за обедом. Кларисса проглотила все молча, сочла его искренним, независимым во взглядах… Господи, да она наверняка решила, что Дэллоуэй — самый большой оригинал из всех, кого ей довелось повстречать!

Кстати, Сэлли придерживалась того же мнения. Они часто гуляли по обнесенному стеной саду — повсюду кусты роз и огромные кочаны цветной капусты, — и однажды Сэлли замерла в восхищении перед красотой капустных листьев в лунном свете (удивительно, до чего ярко вдруг вспомнилось все, о чем он много лет даже не думал), сорвала розу и со смехом умоляла его похитить Клариссу, спасти от Хью, Дэллоуэев и прочих «образцовых джентльменов», которые

«загубят ее душу» (в те дни Сэлли строчила стихи без перерыва), низведут до обычной хозяйки салона, поощряя в ней суетность. Впрочем, следует отдать Клариссе должное: она прекрасно знала, чего хочет, и за Хью бы не вышла. Чувств своих она не скрывала, но в людях разбиралась хорошо — пожалуй, гораздо лучше Сэлли, при этом ей была присуща истинная женственность, необыкновенный дар изменять мир под себя везде, где бы ни появлялась. Кларисса входила в комнату или стояла в дверях в окружении людей, но почему-то запоминалась именно она. Вроде ничего выдающегося — вовсе не красавица, ничуть не эффектная, особо умного тоже не скажет, и все же Кларисса умела запасть в душу…

Нет-нет-нет! Он больше не влюблен! Просто, увидев утром Клариссу с ножницами и шелками, увидев, как она готовится к приему, Питер Уолш не мог избавиться от мыслей о ней, как нельзя избавиться в подземке от уснувшего соседа, что постоянно приваливается к чужому плечу. Разумеется, это не влюбленность; он думал о ней, критиковал, вновь пытался ее понять после тридцати лет знакомства. Проще всего считать Клариссу суетной, озабоченной чинами, регалиями и успехами в обществе — и отчасти это правда,

которую она признает. (Вызвать ее на откровенность можно всегда, было бы желание, Кларисса честна.) Сама она скажет, что не терпит нерях, чудаков и, вероятно, неудачников вроде него; считает, что люди не имеют права сутулиться, совать руки в карманы, должны чем-то заниматься, кем-то становиться, и выдающиеся персоны в ее гостиной — всякие герцогини, убеленные сединами графини — невыразимо далеки от всего, что имеет для Клариссы значение, от всего, что для нее действительно важно. Вот леди Бексборо держится прямо (сама Кларисса тоже не позволяет себе расслабиться, вечно как натянутая струна). Таким людям присуща твердость духа, и с годами Кларисса стала уважать ее все больше. Конечно, тут изрядно сказалось влияние Дэллоуэя и того патриотического, имперского духа правящей элиты, который он привнес в ее жизнь. Вдвое умнее мужа и на все смотрит его глазами — чем не семейная трагедия? С ее-то умом постоянно ссылаться на Ричарда — будто сложно догадаться, о чем он подумает, читая утреннюю газету! Взять, к примеру, эти приемы — ведь она устраивает их только ради него или для поддержания созданного ею же образа Дэллоуэя (справедливости ради, в Норфолке Ри-

чарду жилось бы гораздо счастливее). Кларисса превратила свою гостиную в место полезных знакомств — у нее к этому талант. Питер Уолш не раз наблюдал, как она возьмет какого-нибудь юнца, повертит так и эдак, пообтешет слегка, заведет и пустит в дело. Конечно, вокруг нее полно скучных личностей, но иногда появляются и преоригинальные — то художник, то писатель, типы странные в подобной обстановке. Закулисная же сторона дела требует наносить визиты, оставлять карточки, проявлять любезность, бегать с букетами, делать подарочки — к примеру, такой-то едет во Францию, нужно поскорее раздобыть для него надувную подушку в дорогу — словом, отнимает у женщин ее статуса кучу сил, хотя Кларисса занимается этим совершенно искренне, в силу врожденной склонности.

Как ни странно, Кларисса — один из самых закоренелых скептиков на его веку и, вероятно (такую гипотезу Питер Уолш выдвинул, чтобы объяснить ее незатейливость в иных аспектах и непостижимость в других), вероятно, говорит себе: «Если наша раса обречена, прикована к тонущей галере» (в детстве она зачитывалась Томасом Гексли и Джоном Тиндалем, оба любители морских метафор), если жизнь сыграла с нами

скверную шутку, то давайте внесем свой вклад, облегчим страдания собратьев-каторжников (снова Гексли), украсим темницу цветами и надувными подушками, будем держаться достойно, насколько это возможно. Пусть гнусные боги, никогда не упускающие шанса навредить людям и испортить им жизнь, не радуются: я все равно останусь истинной леди». Так на ней отозвалась смерть Сильвии — ужасная трагедия! Как говорила сама Кларисса, поневоле ожесточишься, если родная сестра, только ступившая на порог жизни, самая одаренная из них всех, гибнет под упавшим деревом (по вине Джастина Пэрри — из-за его нерадивости) прямо у тебя на глазах. Позже она, вероятно, утратила былую веру в богов и никого уже не винила, поэтому нашла утешение в этой религии для атеистов — творить добро ради добра.

И, разумеется, она безмерно радовалась жизни. Такова ее натура (хотя, видит Бог, Кларисса многое оставляет для себя одной — после стольких лет Питер Уолш видел скорее лишь эскиз, нежели полную картину ее личности). В любом случае горечи в ней нет, как и чувства морального превосходства, которое так отталкивает в добродетельных женщинах. Клариссу радует

буквально все. К примеру, пойдешь с ней прогуляться по Гайд-парку, так она восхитится то клумбой с тюльпанами, то младенцем в коляске, то выдумает на ходу какую-нибудь забавную сценку. (Скорее всего, при виде этой несчастной парочки непременно заговорила бы с ними и принялась утешать.) Ей присущ потрясающий комизм, но без зрителей он не проявляется — ей нужны люди, и в результате Кларисса тратит свое время на обеды, ужины, бесчисленные приемы, болтает о всякой чепухе, говорит то, чего не думает, теряя остроту ума и объективность. Сидит во главе стола, выслушивает какого-нибудь старого хрыча, который может пригодиться Дэллоуэю — они знакомы с самыми страшными занудами Европы, — или входит Элизабет, и Кларисса тут же кидается ей угождать. В последний визит он застал ее в старших классах школы — ничем не примечательная, бледная девочка с широко распахнутыми глазами, ничуть не похожая на мать. Молчаливое, флегматичное создание равнодушно взирало, как мать вокруг нее прыгает, потом вопросило: «Ну, я пойду?» Словно ей четыре года! Идет играть в хоккей, объяснила Кларисса с той же смесью радостного изумления и гордости, какое вызывал у нее муж.

Теперь Элизабет, вероятно, повзрослела, считает Питера ретроградом, смеется над друзьями матери. Ну и ладно. Преимущество старения, думал Питер Уолш, выходя из Риджентс-парка со шляпой в руке, довольно простое: страсти бушуют, как и прежде, зато наконец обретаешь силу, которая добавляет существованию бесподобный шарм, — силу овладевать жизненным опытом, неторопливо рассматривать его на свету.

Признаваться в таком ужасно (он снова надел шляпу), но в пятьдесят три едва ли нуждаешься в людях. Хватает самой жизни, каждого мига здесь и сейчас, на солнышке, в Риджентс-парке. Этого более чем достаточно. Жизнь слишком коротка, чтобы прочувствовать в полной мере, извлечь до капли все удовольствие, все оттенки смысла — и то и другое на практике гораздо весомей наших представлений о них и вовсе не ограничено личными предпочтениями. Никто больше не заставит его страдать так, как в свое время Кларисса. Про Дэйзи он не вспоминает часами (слава Богу, та его не слышит!), часами и даже целыми днями.

Возвращаясь в те несчастные дни, полные мучений и страсти, Питер Уолш задавался вопросом: действительно ли влюблен в Дэйзи?

Хотя теперь совсем другое дело, ведь гораздо приятнее, если влюблены в тебя. Вероятно, поэтому он испытал огромное облегчение, когда пароход наконец отчалил — больше всего ему хотелось побыть одному, и его изрядно злили маленькие знаки ее внимания по всей каюте — сигары, записки, плед. Любой, будь он честен, скажет то же самое. После пятидесяти люди не нужны, и постоянно твердить женщинам, что они прелестны, уже не хочется. Многие мужчины слегка за пятьдесят подтвердят, подумал Питер Уолш, если они честны.

Тогда к чему эти всплески чувств — почему он разрыдался сегодня утром? Что подумала о нем Кларисса? Вероятно, сочла дураком, и не впервые. В основе всего лежит ревность — самая живучая из всех страстей человеческих, понял Питер Уолш, держа карманный нож в вытянутой руке. В последнем письме Дэйзи написала, что встречалась с майором Ордом, специально написала, чтобы заставить его ревновать; он представил, как она морщит лоб, выдумывая, как бы уколоть его побольнее, и все же понимание не меняет ничего — он в ярости! Возню с приездом в Англию и с адвокатами он устроил вовсе не для того, чтобы на ней жениться, глав-

ное — помешать ей выйти замуж за кого-нибудь другого! Именно это его и мучило, нахлынуло разом при виде спокойствия Клариссы, ее холодности, ее увлеченности починкой платья или что там она латала; могла бы пощадить его чувства, не доводить — распустил нюни, старая развалина! Впрочем, подумал Питер Уолш, закрывая нож, откуда женщинам знать, что такое страсть? Они понятия не имеют, что она значит для мужчин. Кларисса холодна как сосулька. Сидела на диване рядом, позволила взять себя за руку, поцеловала в щеку… А вот и переход.

Его размышления прервал слабый, дрожащий звук — голос доносился непонятно откуда, едва слышно и в то же время пронзительно, без начала и без конца, без какого-либо внятного смысла:

миу… кра… ии… аай…

ле… ющ… рас… аай…

голос без возраста и пола, голос древнего источника, бьющего из земли, — голос лился со станции прямо напротив Риджентс-парка, исходя от высокой покачивающейся сущности — то ли дымовой трубы, то ли ржавой водяной колонки, то ли навеки безлистного дерева, чьи ветви треплет буря, и оно поет:

миу… кра… ии… аай…

ле… ющ… рас… аай…

и раскачивается, и скрипит, и стонет на вековечном ветру.

С незапамятных времен, когда тротуар был лугом, болотом, в эпоху бивней и мамонтов, в эпоху безмолвных рассветов, потрепанная женщина — судя по юбке — протягивала руку и пела о любви — любви, что длится миллион лет, о любви, что побеждает все; миллионы лет назад возлюбленный, который мертв уже столько веков, гулял с ней в мае, выводила она, но минули века, долгие, как летние дни, пылающие, как красные астры, и его не стало, огромный серп смерти разметал могучие горы. Настанет день, и она наконец преклонит седую и безмерно постаревшую голову на землю, покрытую ледяным пеплом, и попросит богов, чтобы положили рядом с ней пучок багряного вереска — на высокий холм, который согреют последние лучи последнего солнца, и вселенскому празднику наступит конец.

Пока древняя песнь взмывала ввысь возле станции «Риджентс-парк», земля казалась зеленой и цветущей, хотя мелодия лилась изо рта столь

грубого — просто грязной ямы, забитой волокнами корней и спутанными травами, и все же старая, бурлящая, булькающая песня просачивалась сквозь узловатые корни бесконечных веков, некогда зарытые кости и клады растекались по мостовой, струились по Мэрилебон-роуд и дальше к Юстону, удобряя землю, оставляя влажный след.

Вспоминая незапамятный май, эта ржавая развалина, эта оборванная старуха с протянутой рукой, однажды бродившая там, где теперь шумит море, с кем — уже не важно, наверное, с мужчиной, конечно, с мужчиной, который ее любил, — простоит здесь и десять миллионов лет. Увы, бег веков затуманил краски древнего весеннего дня, яркие лепестки поблекли и покрылись инеем, и она уже не видела, умоляя его, вот как сейчас, подарить ей ласковый взгляд — она больше не видела ни ласкового взгляда карих глаз, ни черных усов, ни загорелого лица, лишь неясные очертания какой-то тени, к которой и взывала теперь бодрым старческим щебетом: «Дай мне руку и позволь нежно ее пожать» (Питер Уолш не удержался и сунул бедняге монету, садясь в такси), «А если кто и увидит, то что мне до них?» вопрошала она;

и сжимала кулак, и улыбалась, убирая в карман шиллинг, и все пытливые взгляды, казалось, погасли и поколение за поколением — тротуар заполонила суетливая толпа людей среднего класса — исчезало, как опавшая листва, что мокнет под ногами, преет и разлагается, становясь перегноем для вечной весны…

миу… кра… ии… аай…

ле… ющ… рас… аай…

— Бедная старуха, — сказала Реция Уоррен Смит, стоя на переходе.

Надо же, как не повезло в жизни! Вдруг ночью пойдет дождь? Вдруг мимо пройдет отец или тот, кто знал ее в лучшие времена, и увидит, как она опустилась? Где же она ночует?

Радостно, почти весело неукротимый поток звука вплетался в лондонский воздух, словно дым из трубы сельского домика, обвивая чистые буки и выпуская сизое облачко среди самых верхних листьев. «А если кто и увидит, то что мне до них?»

Реция уже так долго чувствовала себя несчастной, что начала придавать значение всему происходящему вокруг и порой готова была бросаться к прохожим, если те выглядели хорошими,

добрыми, просто чтобы сказать: «Я несчастна», и эта старуха, распевающая у станции «А если кто и увидит, то что мне до них?», внезапно внушила ей надежду, что все наладится. Они идут к сэру Уильяму Брэдшоу — какое приятное имя, он наверняка сразу вылечит Септимуса. А потом появилась повозка пивовара, и серые лошади с вплетенными в хвосты пучками соломы, и газетные плакаты! Это просто дурацкий сон, вовсе она не несчастна!

Итак, мистер и миссис Септимус Уоррен Смит перешли через улицу, и разве что-нибудь в них привлекало внимание или заставило бы прохожего заподозрить, что этот молодой человек несет миру главную весть, что он счастливее и в то же время несчастнее всех на свете? Вероятно, они двигались медленнее других, и в шаркающей походке молодого человека проскальзывало сомнение, однако это вполне естественно для конторского служащего, который годами не видел Ист-Энда в будни в такой час. Он глядит на небо и озирается по сторонам, словно широкая Портленд-плейс — квартира, куда входишь в отсутствие хозяев: люстры завернуты в полотняные чехлы, смотрительница поднимает уголок шторы, роняя длинные полосы

пыльного света на причудливые кресла, и объясняет посетителям, какое это замечательное жилище; замечательное, кивает он, разглядывая кресла и столы, и странное.

Судя по виду, он служит в какой-нибудь конторе, причем довольно престижной: ботинки дорогие, руки выдают человека культурного, как и профиль — угловатый, с крупным носом, умный, учтивый, но вот губы безвольно опущены, и глаза (как бывает часто) — просто глаза, карие, большие; так что в целом это случай пограничный: либо обзаведется домиком в Перли и автомобилем, либо так и будет всю жизнь снимать жилье на задворках; один из тех недоучек или самоучек, что нахватались знаний, листая на досуге книги по рекомендации популярных писателей, с которыми советуются по почте.

Иной опыт, обретаемый в одиночестве в спальне, в конторе, в прогулках на природе и по Лондону, у него есть; покинув дом почти мальчишкой, потому что мать постоянно лгала, потому что он пятидесятый раз кряду явился к чаю с немытыми руками, потому что будущего для поэта в Страуде нет, он уехал в Лондон, посвятив в свои планы лишь младшую сестру и оставив нелепую записку, подобную тем,

что пишут все великие люди, а мир читает позже, когда история их борьбы становится всеобщим достоянием.

Лондон проглотил миллионы молодых Смитов, ему плевать на экзотические христианские имена вроде Септимуса, коими родители пытаются выделить своих чад из толпы. Проживая на Юстон-роуд, они получают жизненный опыт, который превращает их невинные румяные мордашки в худые, сдержанные, ожесточенные морды. Что сказал бы на эти перемены наблюдательный друг? То же самое, что и садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив новый цветок: надо же, расцвел! Расцвел из тщеславия, честолюбия, преданности идеалам, страсти, одиночества, мужества, лени — обычных семян, которые смешались в комнате на Юстон-роуд, заставили его стыдиться, запинаться, стремиться к совершенству, влюбиться в мисс Изабел Поул, читающую лекции о Шекспире на Ватерлоо-роуд.

Вылитый Китс! — воскликнула она и задумалась: как бы привить ему вкус к «Антонию и Клеопатре» и всему остальному; она одалживала ему книги, писала записочки и зажгла огонь, что вспыхивает лишь раз в жизни, — без тепла,

мерцающее красным золотом пламя неземной и иллюзорной страсти к мисс Поул, «Антонию и Клеопатре» и Ватерлоо-роуд. Он считал ее красивой, безупречно прозорливой, писал ей стихи, которые она правила красными чернилами, отбрасывая содержание; однажды летним вечером встретил ее в зеленом платье, гуляющей по площади. Надо же, расцвел, сказал бы садовник, открыв дверь, войдя в комнату ночью и застав его за сочинительством, увидев, как перед рассветом он рвет бумагу в клочья и заканчивает шедевр, как мерит шагами улицы и заходит в церкви, то пирует, то постится, запоем читая Шекспира, Дарвина, «Историю цивилизации» и Бернарда Шоу.

Мистер Брюер знал: что-то происходит. Мистер Брюер, управляющий у Сибли и Эрроусмитов — аукционеров, оценщиков, агентов по продаже земли и домов, — относился к своим молодым подчиненным по-отечески, очень высоко ценил способности Смита и предсказывал, что лет через десять-пятнадцать тот унаследует кожаное кресло в кабинете под крышей и сейф для особо важных документов. Если сбережет здоровье, добавлял мистер Брюер, ведь в том-то и заключалась опасность: Смит выглядел хилым, и он

советовал ему заняться футболом, приглашал к себе на ужин и собирался похлопотать о прибавке жалованья, когда случилось событие, перечеркнувшее многие расчеты мистера Брюера, лишившее его самых способных молодых людей и, наконец, поскольку от цепких лап Первой мировой особо не уйдешь, разбившее гипсовую копию Цереры, наделавшее ям в клумбах с геранью и совершенно расстроившее нервы кухарки в обиталище мистера Брюера на Масвелл-Хилл.

Септимус ушел на фронт добровольцем одним из первых. Он отправился во Францию спасать Англию, в основном состоявшую для него из пьес Шекспира и мисс Изабел Поул в зеленом платье, гуляющей по площади. В окопах перемены, которых желал мистер Брюер, советуя ему заняться футболом, совершились мгновенно: хлипкий юноша возмужал, получил повышение, привлек внимание и даже расположение начальства, своего командира по имени Эванс. Их дружба напоминала игру двух псов на коврике перед камином: молодой терзает бумажный кулек, рычит, огрызается, прихватывает ухо старого приятеля, а тот дремлет, щурясь на огонь, поднимает лапу, переворачивается на другой бок и добродушно ворчит. Им хотелось постоянно быть вместе,

всем делиться, попеременно ссориться и мириться. Но когда Эванс (Реция видела его лишь однажды и сочла спокойным парнем — плотный, рыжеволосый, с женщинами сдержанный), когда Эванс погиб в Италии незадолго до перемирия, Септимус был далек от проявления эмоций или осознания, что дружбе наступил конец, и поздравил себя с завидной выдержкой. Война научила. Он приобрел исключительный опыт, прошел через многое — дружба, война, смерть, повышение — еще до тридцати и выжил. Он был близко к передовой, но последние снаряды в него не попали. Он равнодушно смотрел, как те взрываются. Заключение мира Септимус встретил в Милане, в доме хозяина гостиницы — внутренний дворик, клумбы, столики под открытым небом, дочери хозяина мастерят шляпки — и однажды вечером сделал предложение младшей, Лукреции, вдруг в панике обнаружив, что не чувствует ровным счетом ничего.

Теперь, когда все закончилось, перемирие подписали и мертвых предали земле, Септимуса стали одолевать внезапные приступы страха, особенно по вечерам. Он ничего не чувствовал. Открывая дверь комнаты, где юные итальянки мастерили шляпки, он наблюдал, как обтачи-

вают проволоку, нанизывают на нее цветные бусинки из многочисленных блюдец, вертят так и эдак шляпные заготовки, и вся рабочая поверхность усыпана перьями, блестками, шелками, лентами; ножницы стучат по столу, девушки смеются — но все тщетно, он ничего не чувствовал. Впрочем, стук ножниц и женский смех давали ему ощущение безопасности, давали ему убежище. Увы, не мог же он сидеть с ними всю ночь! Рано утром Септимус внезапно просыпался. Кровать падала в бездну, он падал… О, эти ножницы, свет лампы и раскройка шляп! Он сделал предложение Лукреции, младшей из двух сестер, веселой, легкомысленной искуснице, которая растопыривала тонкие пальчики и говорила: «Все дело в них!» В ее руках оживал шелк, перья — да все, что угодно.

— Самое главное — шляпка, — твердила она, выходя прогуляться. Лукреция разглядывала каждую, которая им попадалась, и плащ, и платье, и то, как женщина держится. Плохо одетых или разряженных в пух и прах она порицала — не сурово, лишь делала нетерпеливый жест, как художник отмахивается от банальной, явной подделки, а потом щедро и неизменно критично встречала продавщицу, удачно повязавшую

шарфик, или восторженно, со знанием дела превозносила француженку, выходящую из экипажа в шиншилловых мехах и жемчугах.

— Красота! — восхищенно бормотала она, подталкивая локтем Септимуса, чтобы он тоже взглянул. Но красота оставалась за стеклом. Даже вкус (Реция любила мороженое, шоколад, сладости) не приносил ему удовольствия. Сидя за мраморным столиком, он отставлял чашку, смотрел на людей; они казались счастливыми, собирались посреди улицы, кричали, смеялись, спорили по пустякам. Однако Септимус не чувствовал ни вкуса, ни радости. В кафе среди посетителей и болтающих официантов его охватывал жуткий страх — он ничего не чувствует! Он мог мыслить, мог читать, к примеру, Данте, совершенно свободно («Септимус, убери книгу», — просила Реция, заботливо закрывая «Ад»), мог проверить счет — мозг работал идеально; значит, в том, что он ничего не чувствует, виноват мир.

— Англичане такие немногословные, — говорила Реция. Ей это даже нравилось. Она уважала англичан и хотела увидеть Лондон, английских лошадей, сшитые у портных костюмы, и вспоминала рассказы о чудесных магазинах, слышанные

от замужней тетушки, жившей в Сохо.

Вполне возможно, думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они выезжали из Нью-Хейвена, вполне возможно, что мир лишен всякого смысла.

В конторе ему дали весьма важную должность. Им гордились, ведь у него награды. «Вы исполнили свой долг, и теперь мы…» — начал мистер Брюер и от избытка чувств не смог договорить.

Они с Рецией сняли прекрасную квартиру на Тоттенхэм-Корт-роуд. Здесь он снова прочел Шекспира — «Антоний и Клеопатра». Юношеское увлечение, неистовая одержимость красотой языка совершенно сошла на нет. До чего Шекспир ненавидел род людской — наряжаются, заводят детей, оскверняют уста и брюхо! Септимусу открылось послание, спрятанное за красотой слов. Тайный сигнал, который предки передают потомкам, — отвращение, ненависть, отчаяние. Данте такой же. И Эсхил (в переводах). Лукреция сидела за столом и украшала шляпки — для миссис Филмер, для ее подруг, занималась этим часами. Бледная и загадочная, словно лилия под водой, думал Септимус.

— Англичане такие серьезные, — говорила она, обнимая Септимуса и прижимаясь щекой к его

щеке.

Любовь между мужчиной и женщиной вызывала у Шекспира отвращение. В конце жизни он стал считать совокупление блудом. Но Реция сказала, что хочет детей, ведь они женаты уже пять лет.

Они сходили в Тауэр, побывали в музее Виктории и Альберта, постояли в толпе, чтобы посмотреть, как король открывает парламент. И конечно, по магазинам — шляпы, платья, кожаные сумочки в витринах, у которых Реция застывала. Ей нужен сын.

Она сказала, что должна родить сына, похожего на Септимуса. Нет, никто не будет на него похож — такой ласковый, такой серьезный, такой умный. Можно ей тоже почитать Шекспира, спросила она. Это очень трудный автор?

В такой мир нельзя приводить детей! Нельзя усугублять страдания или увеличивать поголовье похотливых тварей, у которых нет постоянных чувств, лишь порывы и страсти, несущие их без руля и без ветрил.

Септимус наблюдал, как жена кромсает ножницами ткань и кроит, как следят за птичкой в траве, не смея и пальцем пошевелить. Правда в том (только бы Реция не узнала!), что челове-

ка заботят лишь сиюминутные удовольствия, ему несвойственны ни доброта, ни преданность, ни сострадание. Люди охотятся стаями, рыщут по пустыне, с воплями исчезают в дикой глуши. Они бросают своих павших. Они корчат гримасы. Взять Брюера в конторе: усы напомажены, булавка с кораллом, белый галстук и сам такой любезный, а внутри — холодный и липкий, думает только о погибшей из-за войны герани и расстроенных нервах поварихи; или Амелия как-ее-там, что разносит чай ровно в пять, — хитрая, ехидная, грязная ведьма, и всякие Томми с Берти в крахмальных сорочках, сочащихся липким пороком. Им никогда не узнать, что он рисует в блокноте, как они резвятся голые. На улице мимо с воем проносились грузовики, жестокость ревела со всех газетных плакатов — шахтеров завалило, женщины сгорели заживо, а однажды на Тоттенхэм-Корт-роуд целую вереницу психов вывели то ли на прогулку, то ли повеселить лондонцев (смеялись те громко), и они прошагали мимо с виноватым торжеством, кивая и ухмыляясь, усугубляя его и без того нестерпимые страдания. С ума сойдешь!..

За чаем Реция рассказала, что дочка миссис Филмер ждет ребенка. Она не хочет остаться без-

детной! Ей так одиноко, она так несчастна! Реция плакала впервые с тех пор, как они поженились. Рыдания доносились словно издалека — Септимус прекрасно все слышал, различал слова, сравнивал их со стуком поршня в двигателе и не чувствовал ничего.

Жена плакала, а он ничего не чувствовал, и с каждым глубоким, безнадежным, молчаливым всхлипом проваливался все глубже в преисподнюю.

Наконец, с театральным жестом, который получился у него машинально и весьма фальшиво, Септимус опустил голову на руки. Он сдался — без чужой помощи ему не справиться. Надо к кому-нибудь обратиться. Он признал свое поражение.

Реция отвела его в постель и по совету миссис Филмер послала за доктором Холмсом. Доктор осмотрел Септимуса и заявил, что с ним все в порядке. Ах, какое облегчение! Какой он добрый, хороший человек, подумала Реция. Когда лично он чувствует себя подобным образом, то отправляется в мюзик-холл, сказал доктор Холмс. Или берет выходной и играет с женой в гольф. Почему бы не принять перед сном пару таблеток бромида, растворенных в стакане во-

ды? В этих старых домах в Блумсбери, заметил доктор Холмс, постучав по стене, часто бывают прекрасные деревянные панели, которые домовладельцы по глупости заклеивают обоями. Буквально вчера, навещая пациента, сэра такого-то, на Бредфорд-сквер…

Значит, нет никаких оправданий, никаких причин, кроме греха, за который человеческая природа приговорила его к смерти: он не чувствует ничего. Самое худшее, что Септимусу было плевать на смерть Эванса, но все прочие преступления поднимали голову, грозили пальцем, издевались над ним и глумились поутру над распростертым телом, вполне осознававшим свое падение и позор: он женился, не любя, обманом увез ее в Англию, оскорбил мисс Изабел Поул… Он настолько отмечен печатью порока, что женщины на улицах от него шарахаются. Подобных негодяев человеческая природа осуждает на смерть.

Доктор Холмс пришел снова. Упитанный, цветущий, пощелкал каблуками, посмотрелся в зеркало и отмел все разом — головные боли, бессонницу, страхи, кошмары — нервные симптомы и ничего больше, заявил он. Если доктор Холмс весит хотя бы на полфунта менее одиннадцати

стоунов и шести фунтов, то на завтрак просит у жены добавки каши. (Реции следует научиться готовить кашу.) Наше здоровье — в наших руках. Поищите себе какое-нибудь занятие или хобби. Он полистал Шекспира — «Антоний и Клеопатра» — и оттолкнул книгу в сторону. Лучше хобби, повторил доктор Холмс, ведь своим прекрасным здоровьем (а трудится он много, как и любой в Лондоне) он обязан тому, что всегда может переключиться с пациентов на старинную мебель. Кстати, в волосах миссис Уоррен Смит сегодня премилый гребень, если позволите.

Когда этот набитый дурак явился снова, Септимус отказался его видеть. Да неужели? — воскликнул доктор Холмс с любезной улыбкой. Ему пришлось приложить некоторое усилие, чтобы протиснуться мимо очаровательной миссис Смит в спальню ее мужа.

— Итак, вы не в духе, — любезно заметил он, присаживаясь возле пациента. Неужели он говорил о самоубийстве в присутствии своей жены, совсем девочки, к тому же иностранки? Разве это не создаст у нее ложного впечатления об английских мужьях? Разве у него нет долга перед женой? Не лучше ли чем-нибудь заняться вместо того, чтобы лежать в постели? За плечами

у доктора Холмса — сорок лет практики, так что Септимус вполне может ему доверять: с ним все в полном порядке. Доктор надеется, что в следующий визит уже застанет Септимуса на ногах и тот больше не станет тревожить свою очаровательную женушку.

В общем, на него открыла охоту сама человеческая природа в лице этого мерзкого хама с красным носом — доктор Холмс являлся каждый день. Стоит оступиться, написал Септимус на обратной стороне почтовой открытки, и человеческая природа откроет на тебя охоту. Холмс не отстанет. Их единственный шанс спастись — уехать, не поставив его в известность, в Италию — куда угодно, лишь бы подальше от доктора Холмса.

Реция с ним не согласилась. Доктор Холмс так добр и внимателен к Септимусу. Сказал, что просто хочет им помочь. У него четверо маленьких детей, и он позвал ее на чай.

Значит, жена меня покинула. Весь мир кричал: убей себя, убей себя ради нас! Почему он должен это делать ради них? Еда вкусная, солнце жаркое, да и как себя убьешь — кухонным ножом, залив все кровью, или надышаться газа? Он слишком слаб, едва может руку поднять. К тому же, оставшись совсем один, приговоренный и покинутый,

как случается со всеми умирающими, Септимус обрел подлинное величие, роскошь свободы, неведомой тем, у кого есть привязанности. Разумеется, Холмс победил, хам с красным носом взял над ним верх. Но даже сам Холмс не сможет прикоснуться к этому последнему отголоску, бродящему по краю света, к изгою, который оглядывается на обжитые места, который лежит, как утонувший моряк на берегу.

Именно в тот момент (Реция отлучилась в магазин) на Септимуса снизошло великое откровение. Из-за ширмы раздался голос Эванса. Мертвецы его не покинули.

— Эванс, Эванс! — закричал он.

Мистер Смит разговаривает сам с собой, пожаловалась Агнес, девочка-служанка, миссис Филмер на кухне. Все твердил «Эванс, Эванс», когда она вошла с подносом. Да, подскочила и бросилась бежать.

Вернулась Реция с цветами, поставила их в вазу, на которую попали солнечные лучи и со смехом рассыпались по комнате.

Пришлось купить, объяснила Реция, у какого-то бедняка на улице. Розы еле живы, заметила она, расправляя цветы.

Значит, снаружи кто-то стоит — очевидно,

Эванс, и розы, которые Реция назвала едва живыми, сорваны в Греции.

— Общение — это здоровье, общение — это счастье, общение… — прошептал он.

— О чем ты, Септимус?! — воскликнула Реция в ужасе, потому что он снова говорил сам с собой.

Она послала Агнес за доктором Холмсом. Муж сошел с ума! Он ее почти не узнает.

— Мерзавец! Мерзавец! — заорал Септимус при виде человеческой природы, то есть доктора Холмса, у себя на пороге.

— И что тут происходит? — осведомился доктор Холмс наилюбезнейшим тоном. — Болтаете всякую чушь и пугаете жену?

Пожалуй, он даст ему снотворного. Будь они богаты, заметил доктор Холмс, скептично оглядывая комнату, им безусловно стоило бы поискать специалиста на Харли-стрит, если уж ему не доверяют, закончил он совсем недобро.

Был полдень, двенадцать ударов Биг-Бена разнеслись по северу Лондона, смешались с боем других часов, тонкой струей влились в облака и клубы дыма и развеялись среди морских чаек — с двенадцатым ударом Кларисса Дэллоуэй положила зеленое платье на кровать, а чета

Уоррен Смит вошла на Харли-стрит. Им было назначено на это время. Наверное, подумала Реция, сэр Уильям Брэдшоу живет вон в том доме с большим серым автомобилем у дверей. В воздухе расходились свинцовые круги.

Лукреция не ошиблась, автомобиль действительно принадлежал сэру Брэдшоу — низкий, мощный, серый, с простым вензелем на приборной панели, словно напыщенная геральдика здесь неуместна, ведь владелец был духовным утешителем, жрецом науки. Под стать серому цвету кузова, цвету спокойной учтивости, подобрали и обшивку салона, и серебристые меха, и сложенные грудой пледы, чтобы согревать ее светлость, пока она ждет мужа. Довольно часто сэру Уильяму приходилось проезжать шестьдесят миль и более, навещая страждущих, которые могли себе позволить заплатить крупную сумму, весьма справедливо назначаемую доктором за свои советы. Ее светлость ждала, укрыв ноги пледом, час или больше, откинувшись на спинку и порой думая о пациенте, порой, что вполне простительно, о золотой стене, подымавшейся с каждой минутой все выше и выше; о золотой стене, отделявшей их с мужем от резких перемен и тревог (с коими в свое время она отважно

справилась — им обоим пришлось побороться за место под солнцем), пока их не вынесло на океанский простор, где дуют лишь пряные ветры, где царят лишь уважение, восхищение, зависть, и больше желать почти нечего, разве что немного похудеть бы; по четвергам — званые обеды для коллег, иногда приходится открывать благотворительный базар, приветствовать членов королевской семьи; времени с мужем, увы, она проводит все меньше — клиентура все растет и растет; сын успешно учится в Итоне, ей бы еще дочку; впрочем, интересов у нее предостаточно — надзор за детскими приютами, уход за эпилептиками и фотография — стоит ей, сидя в ожидании конца визита, увидеть недостроенную или заброшенную церковь, как она подкупает сторожа, берет ключи и фотографирует, причем снимки получаются настолько хороши, что неотличимы от профессиональных.

Сэр Уильям был уже немолод. Он трудился очень усердно, добился положения благодаря выдающимся способностям (отец его владел небольшим магазином), любил свою профессию, на церемониях смотрелся весьма представительно и прекрасно говорил. К тому моменту как он получил рыцарство, все, вместе взятое,

придало ему суровый, усталый взгляд (непрерывный поток пациентов и привилегии профессии обременительны), и эта усталость в сочетании с сединой сообщили его облику необычайную солидность и создали ему репутацию (что при лечении нервных заболеваний чрезвычайно важно) не только высококлассного специалиста и почти непревзойденного диагноста, но и врача чуткого, деликатного, понимающего человеческую душу. Он все понял, едва посетители вошли в приемную (они назвались супругами Уоррен Смит), едва увидел пациента: случай необычайно серьезный. Это был полный душевный надлом — физическое и нервное истощение, причем все симптомы в запущенной стадии, как он убедился уже за пару-тройку минут (записывая ответы на вопросы на розовой карточке).

Как долго ходил к нему доктор Холмс?

Шесть недель.

Прописал немного бромида? Сказал, что все в полном порядке? Ясно. (Ох уж эти семейные терапевты, подумал сэр Уильям. Половина его времени уходила на то, чтобы исправлять их промахи. Иные были непоправимы.)

— Вы достойно исполнили свой долг на войне?

Пациент повторил «на войне» с вопроситель-

ной интонацией.

Придает словам символический смысл. Серьезный симптом, запишем на карточке.

— На войне? — переспросил пациент. Европейская война — мелкая стычка школьников с пугачами. Исполнил ли свой воинский долг достойно? Он уже не помнит. На войне он потерпел поражение.

— Да, очень, — заверила Реция. — Его даже представили к званию.

— И в конторе вас тоже высоко ценят? — пробормотал сэр Уильям, покосившись на письмо не скупившегося на похвалы мистера Брюера. — Значит, беспокоиться не о чем — никаких финансовых тревог у вас нет?

Он совершил ужасное преступление и приговорен к смерти самой человеческой природой.

— Я… я… — начал Септимус, — совершил ужасное…

— Ничего плохого он не сделал! — перебила Реция.

Если мистер Смит обождет, сказал сэр Уильям, он поговорит с миссис Смит в соседней комнате. Ее муж болен очень серьезно, сообщил сэр Уильям. Он не грозился покончить с собой?

Да, вскричала она, но ведь это всего лишь сло-

ва! Конечно, согласился сэр Уильям, ему просто нужно отдохнуть — как следует отдохнуть, нужен длительный постельный режим. За городом есть уютное место для отдыха, где ее мужу обеспечат прекрасный уход. Вдали от нее? К сожалению, да: когда мы болеем, присутствие людей, которые заботятся о нас больше всех, не приносит пользы. Но ведь он не сошел с ума? Сэр Уильям ответил, что о сумасшествии речь не идет. Он называет это отсутствием чувства меры. Муж не любит докторов, он откажется ехать. Кратко и доступно сэр Уильям объяснил ей положение дел. Раз муж грозился покончить с собой — другого выхода нет. Таков закон. Он будет лежать в постели в красивом загородном доме. Медсестры там превосходные. Сэр Уильям будет навещать его раз в неделю. Если у миссис Уоррен Смит больше вопросов нет — он своих пациентов никогда не торопит, — то им пора вернуться в приемную. Вопросов у нее не возникло — по крайней мере к сэру Уильяму.

И они вернулись к самому достойному человеку на земле, к обвиняемому, представшему перед судьями, к жертве, вознесшейся ввысь, к беглецу, к утонувшему моряку, к сочинителю бессмертной поэмы, к Господу, преступившему смертную

черту, — к Септимусу Уоррену Смиту, который сидел в кресле под стеклянным потолком, разглядывая фотографию леди Брэдшоу в придворном платье и бормоча снизошедшие на него откровения о красоте.

— Мы побеседовали кое о чем, — начал сэр Уильям.

— Доктор говорит, ты очень, очень болен! — вскричала Реция.

— Мы решили поместить вас в лечебницу, — сообщил сэр Уильям.

— К доктору Холмсу? — презрительно усмехнулся Септимус.

Молодой человек производил неприятное впечатление. Сэр Уильям, чей отец был лавочником, испытывал понятный пиетет к манерам и одежде, поэтому убогость его раздражала; кроме того, сэр Уильям не имел времени на чтение книг, поэтому в глубине души таил обиду на прециозных типов, которые приходят к нему на прием и смотрят свысока на докторов, чья профессия сопряжена с постоянной и весьма сложной интеллектуальной нагрузкой.

— Нет, в мою, мистер Уоррен Смит, — проговорил сэр Уильям, — где мы научим вас отдыхать.

Оставалось еще кое-что. Он совершенно уверен:

находись мистер Уоррен Смит в добром здравии, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену и говорить о самоубийстве.

— Все мы порой хандрим, — заметил сэр Уильям.

Стоит упасть, повторял себе Септимус, и человеческая природа возьмет верх. Холмс и Брэдшоу возьмут верх. Они рыщут по пустыне, с воплями исчезают в дикой глуши. Они применяют дыбу и тиски для больших пальцев. Человеческая природа безжалостна.

— Он подвержен порывам? — спросил сэр Уильям, водя карандашом по розовой карточке.

А это уже не ваше дело, отрезал Септимус.

— Никто не живет для себя одного, — заметил сэр Уильям, бросив взгляд на фотографию жены в придворном платье, потом на письмо сэра Брюера на столе. — Вас ждет блестящая карьера. На редкость блестящая.

Что, если признаться? Если все им рассказать? Мучители от него отстанут?

— Я… я… — он запнулся.

В чем же его преступление? Он не помнил.

— Да? — ободряюще кивнул сэр Уильям. (Консультация уже подходила к концу.)

Любовь, деревья, преступления не существу-

ет — что же за благая весть?

Он не мог вспомнить.

— Я… я… — Септимус снова запнулся.

— Постарайтесь поменьше думать о себе, — ласково посоветовал сэр Уильям. И в самом деле, не стоит его отпускать в таком виде.

Не хотят ли они еще что-нибудь спросить? Сэр Уильям сделает необходимые распоряжения (шепнул он Реции) и даст ей знать между пятью и шестью вечера.

— Предоставьте все мне, — сказал он на прощанье.

Никогда-никогда Реция не испытывала такой муки! Она просила о помощи, а ее предали! Он их подвел! Сэр Уильям вовсе не хороший человек.

Одно содержание такого авто обходится довольно дорого, заметил Септимус, выйдя на улицу.

Реция вцепилась в его руку. Их предали! Впрочем, разве могло быть иначе?

Каждому пациенту сэр Уильям уделял три четверти часа, ведь если в точной науке, имеющей дело с предметом, о котором не известно практически ничего, — с нервной системой, с человеческим разумом — доктор теряет чувство меры, то терпит неудачу. Без здоровья — никуда, а здоровье есть чувство меры, поэтому, когда к те-

бе приходит человек и заявляет, что он — Иисус (распространенное заблуждение) и принес весть, как часто бывает, и угрожает, как часто бывает, покончить с собой, ты призываешь чувство меры, прописываешь постельный режим, отдых в одиночестве, тишину и покой, отдых от друзей, от книг, от записок — полгода отдыха, пока пациент с весом в семь стоунов не поправится до двенадцати.

Умеренность, богоданная умеренность — высшая цель сэра Уильяма Брэдшоу, обретаемая им посредством визитов в свои лечебницы, ловли форели, зачатия сына на Харли-стрит совместно с леди Брэдшоу, которая и сама ловила форель и делала фотоснимки, неотличимые от работ профессиональных фотографов. Поклоняясь чувству меры, сэр Уильям не только процветал сам, но и способствовал процветанию Англии, изолируя психов, запрещая им иметь детей, карая за безысходность, не давая негодным распространять свои взгляды, пока они не обретут чувство меры, сходное с его, если речь шла о мужчинах, и с леди Брэдшоу, если речь шла о женщинах (она увлекалась вышивкой, вязанием, проводила с сыном четыре вечера в неделю). В результате сэра Уильяма уважали

коллеги, побаивались подчиненные, зато друзья и родственники пациентов испытывали к нему глубочайшую благодарность за то, что эти Спасители и Спасительницы, предрекавшие конец света или Пришествие Божие, пили молоко в постели, как велел сэр Уильям, с его тридцатилетним опытом лечения подобных случаев и безошибочным чутьем различать безумие и здравый смысл, с его чувством меры.

Умеренность в пантеоне вовсе не одна, у нее есть сестра — менее улыбчивая, более серьезная богиня, не знающая отдыха даже сейчас, — в жарких песках Индии, во влажных болотах Африки, в лондонских трущобах, словом, везде, где климат или дьявол искушают людей отступить от истинной веры, то есть ее собственной — даже сейчас она рушит святыни, свергает идолов и устанавливает вместо них собственный суровый лик. Имя ей — убежденность, и она упивается волей слабых, любит впечатлять размахом, навязывать свои правила, штамповать свои черты на лицах широких масс. Она проповедует, стоя на трибуне в Гайд-парке, обряжается в белые одежды и под видом братской любви обходит фабрики и парламенты; предлагает помощь, но жаждет власти, грубо сметает с пути несогласных и недоволь-

ных, дарует свою благосклонность лишь тем, в чьих покорно возведенных глазах отражается ее собственный свет. Как догадалась Реция Уоррен Смит, эта леди также обитала в сердце сэра Уильяма, хотя и скрывалась, что бывает часто, под благовидной личиной, под каким-нибудь достойным предлогом — любовь, долг, служение людям. Эх, вот бы он развернулся — трудился бы, собирая средства, продвигая реформы, учреждая институты! Убежденность — богиня привередливая и предпочитает кровь, а не кирпич, и особенно охоча до человеческой воли. Взять, к примеру, леди Брэдшоу. Она пошла ко дну пятнадцать лет назад. Явных признаков вы бы не заметили — не было ни бурных сцен, ни борьбы, лишь медленное погружение ее воли в его. Леди Брэдшоу подчинялась беспрекословно, с милой улыбкой, и обеды на Харли-стрит для десяти-пятнадцати гостей из профессиональных классов общества, состоявшие из восьми-девяти блюд, проходили гладко и непринужденно. Однако по мере того как вечер приближался к концу, в ней появлялась легкая вялость или, наоборот, натянутость, сопровождаемая нервическим подергиванием, она могла запнуться или что-нибудь уронить, выдавая свою расте-

рянность, — словом, все указывало на то, во что больно поверить: бедняжка притворяется. Много лет назад она успешно удила форель, теперь же, угодливо потакая желанию мужа властвовать над всем и вся, применяла полученные навыки за столом, действуя расчетливо, жестко, хотя и предельно осторожно, в результате чего присутствующие чувствовали себя весьма неловко, на макушку давил незримый вес (вероятно, из-за разговоров на профессиональные темы или усталости великого доктора, чья жизнь, как говорила леди Брэдшоу, «принадлежит не ему, а его пациентам»), в общем, неприятно становилось всем. В десять часов гости расходились и с облегчением вдыхали воздух Харли-стрит, чего пациенты сэра Уильяма, увы, были лишены.

В серой комнате с картинами на стенах и ценной мебелью, под матовым застекленным потолком они постигали масштабы своих прегрешений; съежившись в креслах, они наблюдали, как ради их блага сэр Уильям проделывает странные упражнения — резко вытягивает руки, потом прижимает их к бедрам, желая продемонстрировать особо упорствующим, что он — хозяин своих действий, чего не скажешь о пациенте. Слабые ломались, всхлипывали, подчинялись,

другие, вдохновленные бог знает каким остервенелым безумием, называли сэра Уильяма в лицо проклятым шарлатаном, а совсем закоренелые нечестивцы подвергали сомнению саму жизнь. Зачем вообще жить? — вопрошали они. Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Еще бы не прекрасна, если над камином висит портрет леди Брэдшоу в перьях, а ежегодный доход составляет двенадцать тысяч. Но ведь к нам жизнь вовсе не столь щедра, возражали они. Доктор молчаливо соглашался. Им просто не хватает чувства меры. Может быть, Бога и нет? Он пожимал плечами. Короче говоря, разве жить или не жить — не личное дело каждого? Вот тут они ошибаются! В Суррее у сэра Уильяма есть друг, который обучает пациентов искусству весьма сложному — чувству умеренности. Более того, нужно подумать о близких, о чести, о мужестве и о блестящей карьере. Сэр Уильям был решительным поборником вышеперечисленного. Если же и это не помогало, он поминал полицию и интересы общества, которое заботится, чтобы антисоциальные порывы, случающиеся по большей части из-за дурной крови, находились под контролем (в Суррее). И тогда из укрытия крадучись выходила и садилась на трон

богиня, чья страсть — давить сопротивление, оставляя в чужих святилищах неизгладимый отпечаток своего образа. Голые, беззащитные, изможденные, оторванные от друзей пациенты подвергались натиску воли сэра Уильяма. Он набрасывался на добычу и пожирал. Он сажал людей под замок. Именно сочетание решительности и сострадания так располагало к сэру Уильяму родных его жертв.

Однако Реция Уоррен Смит, шагая по Харли-стрит, объявила, что доктор ей не нравится.

Кромсая и нарезая ломтиками, разделяя время на все более мелкие кусочки, часы на Харли-стрит вгрызались в июньский день, советовали подчиниться, поддерживали полномочия и хором указывали на непревзойденные преимущества умеренности, пока горсть песка времени не уменьшилась до того, что часы, висящие над магазином Ригби и Лоундеса на Оксфорд-стрит, радушно не объявили — словно нет ничего приятнее, чем делиться сведениями бесплатно, — что уже половина второго.

Если присмотреться, становилось ясно, что буквы имен владельцев обозначают на циферблате часы, и человек невольно преисполнялся благодарности к Ригби и Лоундесу за то, что сообщают

время по Гринвичу, и эта благодарность (размышлял Хью Уитбред, задержавшись перед витриной) естественным образом выливалась в покупку носков или туфель у Ригби и Лоундеса. Была у него такая привычка — размышлять об увиденных по пути мелочах. Особо ни во что он не вникал, лишь скользил по поверхности: живые языки и мертвые, жизнь в Константинополе, Париже, Риме; верховая езда, стрельба, теннис. Если верить сплетням, он теперь сторожил невесть что в Букингемском дворце, наряженный в шелковые чулки и панталоны до колена. Однако при этом весьма преуспел — Хью Уитбред вращался среди сливок английского общества уже пятьдесят пять лет, был знаком со всеми премьер-министрами, имел обширные связи. Хотя он и не принял участия ни в одном из великих движений эпохи и особо значимых постов не занимал, на его счету было два скромных достижения: защита сов в Норфолке и улучшение навесов над остановками, за что девушки-служанки имели все основания для благодарности, а имя, которым он подписывал письма в «Таймс», где обращался к общественности с призывом выделить средства, выступить в защиту или в поддержку чего-нибудь, убрать

мусор, запретить курение и аморальное поведение в парках, вызывало уважение.

Под замирающий бой часов (пробило половину) он смотрелся даже величаво, застыв у витрины и окидывая критическим хозяйским взглядом носки и ботинки; безупречный, солидный джентльмен взирал на мир словно с возвышения и одет был соответственно, при этом вполне осознавал обязательства, которые налагают на него стать, богатство, здоровье, и скрупулезно соблюдал все правила хорошего тона и старомодного этикета, благодаря чему манеры Хью Уитбреда нередко становились предметом насмешек для одних и одобрения для других. К примеру, он никогда не приходил на ланч к леди Брутон, которую знал лет двадцать, без букета гвоздик и неизменно справлялся у мисс Браш, секретарши леди Брутон, начисто лишенной женского обаяния, как поживает ее брат в Южной Африке, чем повергал ее в негодование, и та неизменно отвечала: «Спасибо, в Южной Африке у него все очень хорошо», хотя последние лет шесть ее брат просидел в Портсмуте и дела у него обстояли очень плохо.

Сама леди Брутон предпочитала Ричарда Дэллоуэя, который прибыл следом. Они буквально

столкнулись в дверях.

Разумеется, леди Брутон предпочитала Ричарда Дэллоуэя — тот был гораздо более чистых кровей, однако ни за что бы не позволила ему третировать бедняжку Хью. Ей никогда не забыть его доброты, которую он как-то раз проявил, хотя подробностей ее память не сохранила. Удивительная доброта Хью поразила ее в самое сердце. В любом случае разница между одним мужчиной и другим невелика. В отличие от Клариссы Дэллоуэй, леди Брутон не имела привычки разбирать людей по косточкам, а потом снова собирать воедино — в шестьдесят два года такой ерундой не занимаются. Она взяла у Хью гвоздики с чопорной, мрачной улыбкой. Больше никто сегодня не приглашен, сказала она. Их позвали под вымышленными предлогами, чтобы помочь ей в одном затруднительном деле…

— Сначала давайте поедим, — предложила леди Брутон.

И сквозь двустворчатые двери беззвучно засновали горничные в белых фартуках и чепчиках, не служанки по необходимости, а участницы мистерии или грандиозного миража, создаваемого хозяйкой в фешенебельном Мэйфэре с половины второго до двух часов дня, когда по мановению

руки уличное движение прекращается, и на смену ему приходит другая иллюзия, в первую очередь связанная с едой: платить ни за что не нужно, на столе сами по себе возникают хрусталь и серебро, сервировочные салфетки, тарелочки с красными фруктами, под кремовым соусом прячется филе палтуса, в кастрюльках плавают разделанные цыплята, весело пылает яркое пламя; под вино и кофе (за них платить тоже не нужно) у замечтавшихся гостей возникают чудные видения, и жизнь кажется им полной дивных мелодий и тайн, глаза светятся и готовы насладиться прелестью красных гвоздик, которые леди Брутон чопорно положила возле своей тарелки, на что Хью Уитбред с чувством умиротворения и гармонии со всей вселенной и в то же время вполне уверенный в своей правоте, проговорил, откладывая вилку:

— По-моему, они очаровательно смотрелись бы у вас на корсаже.

Мисс Браш возмутилась такой фамильярностью. Она считала Хью дурно воспитанным, и леди Брутон это веселило.

Хозяйка держала гвоздики на вытянутой руке, словно генерал на портрете у нее за спиной — свиток, и задумчиво смотрела вдаль.

Кто же она, гадал Ричард Дэллоуэй, генеральская праправнучка? Прапраправнучка? Сэр Родерик, сэр Майлс, сэр Толбот — ну конечно! Поразительно, до чего точно сходство в их роду передается по женской линии. Ей бы командовать драгунами. Ричард с радостью служил бы под ее началом, поскольку испытывал к леди Брутон большое почтение — у него было весьма романтическое представление о крепких пожилых леди с хорошей родословной, и ему не раз по доброте душевной хотелось привести к ней на ланч молодых сумасбродов из числа своих знакомых, словно людей ее породы можно вывести из пылких энтузиастов, любящих поспорить и порассуждать за чаем. Он знал ее семью, бывал в их поместье. Там все еще росла лоза, под которой — леди Брутон в жизни не прочла ни единой строчки стихов, но так гласила молва — сиживал то ли сам Ричард Лавлейс, то ли Роберт Геррик.

Лучше подождать с вопросом, который ее занимает (стоит ли обращаться к широкой общественности, и если да, то как именно), лучше подождать, когда они допьют кофе, подумала леди Брутон и положила гвоздики рядом с тарелкой.

— Как Кларисса? — внезапно спросила она.

Кларисса всегда говорила, что леди Брутон ее недолюбливает. И в самом деле, репутация у той сложилась соответственная: больше интересуется политикой, чем людьми, разговаривает по-мужски, в восьмидесятых приложила руку к громкому инциденту, о котором только сейчас начали упоминать в мемуарах. Доподлинно известно, что в ее гостиной есть альков со столом, на нем — фотография генерала сэра Толбота Мура, ныне покойного, который однажды вечером, в присутствии леди Брутон, с ее ведома (и, возможно, по ее совету) написал телеграмму, где отдал приказ британским войскам наступать — поистине историческое событие. (Перо она сохранила и рассказывала эту историю.) Поэтому, если леди Брутон в своей небрежной манере спрашивала гостей про жен, в искренность интереса им верилось с трудом, ведь именно женщины вставали у них на пути, мешали занимать заграничные посты и вынуждали возить их на побережье посреди сезона — поправить здоровье после перенесенной инфлюэнцы. Тем не менее подобные вопросы женщины безошибочно воспринимали как знак внимания доброжелателя, практически безмолвного товарища, чьи скупые фразы (хорошо, если наберется

полдюжины за всю жизнь) намекали на существование некоего женского союза вне рамок ланчей в мужской компании и, несмотря на обоюдное равнодушие или даже враждебность в моменты редких встреч, объединяли леди Брутон с миссис Дэллоуэй крепкими узами.

— Я встретил Клариссу утром в парке, — заметил Хью Уитбред, придвигая ближе кастрюльку и торопясь воздать себе должное: едва приехал в Лондон, как успел всех повстречать.

До чего ненасытный, в жизни не видала такого проглота, думала Милли Браш, которая в отношении мужчин отличалась неизменной здравостью суждений, зато к женщинам питала глубочайшую преданность, поскольку была неуклюжей, костлявой, с жидкими волосами и без грана женского очарования.

— Знаете, кто в городе? — спохватилась леди Брутон. — Наш старый друг Питер Уолш.

Все заулыбались. Питер Уолш! Мистер Дэллоуэй явно рад, подумала мисс Браш, а мистера Уитбреда только цыпленок и интересует.

Питер Уолш! Все трое — леди Брутон, Хью Уитбред и Ричард Дэллоуэй — вспомнили одно и то же: как страстно Питер был влюблен, как получил отказ и уехал в Индию, где потерпел пол-

ный крах, натворил дел. Похоже, Ричард Дэллоуэй до сих пор питает к старому приятелю большую привязанность. Мисс Браш это поняла — увидела в глубине карих глаз, увидела, что он колеблется, прикидывает, и заинтересовалась, поскольку мистер Дэллоуэй всегда вызывал у нее интерес; любопытно, что же он думает о Питере Уолше?

Что Питер Уолш всегда был влюблен в Клариссу, что он вернется домой сразу после ланча и подробно расскажет Клариссе, как ее любит. Да, именно так он и сделает.

Когда-то Милли Браш чуть не влюбилась в эти молчаливые паузы, но мистер Дэллоуэй всегда был таким верным жене — истинный джентльмен. Теперь ей было за сорок, и Милли Браш молниеносно подчинялась кивку или резкому повороту головы леди Брутон, как бы глубоко ни увязла в отвлеченных размышлениях, где бы ни витала ее непорочная душа, которую жизни одурачить так и не удалось, ведь та не подарила ей ровным счетом ни единого милого пустяка — ни кудрей, ни улыбки, ни губок, ни щечек, ни носика — абсолютно ничего; леди Брутон стоило кивнуть, и мисс Браш бросилась торопить Перкинса с подачей кофе.

— Да, Питер Уолш вернулся, — проговорила ле-

ди Брутон и, как ни странно, все приободрились: он вернулся к родным берегам потрепанным жизнью неудачником. Помочь ему невозможно: в нем есть какой-то изъян. Хью Уитбред заметил, что, конечно, может шепнуть его имя такому-то. При мысли о рекомендательных письмах, которые придется писать главам правительственных учреждений о «моем старом друге Питере Уолше», он скорбно поморщился. Ведь это не приведет ни к чему — точнее, не изменит ничего кардинально, и все из-за характера Питера.

— У него неприятности с женщиной, — сообщила леди Брутон, и все догадались, что в этом и заключается суть проблемы.

— Однако, — добавила леди Брутон, спеша сменить тему, — мы услышим всю историю от самого Питера.

(Кофе до сих пор не принесли.)

— Адрес есть? — пробормотал Хью Уитбред, и пошел рябью серый поток услужения, что омывал леди Брутон день и ночь, собирал сведения, отсекал лишнее, оборачивал ее легкой пеленой, гасил потрясения, смягчал заминки и покрывал дом на Брук-стрит тончайшей сетью, в которой все застревало и тут же извлекалось быстро и точно седовласым Перкинсом, служившим

леди Брутон последние тридцать лет; он написал адрес, вручил мистеру Уитбреду, тот достал записную книжку, поднял брови, положил карточку среди особо важных документов и сказал, что попросит Эвелин пригласить Питера Уолша на ланч.

(Кофе не несли, ожидая, пока мистер Уитбред закончит.)

Хью стал очень медлительным, подумала леди Брутон, вдобавок растолстел. А вот Ричард за собой следит. Она начинала терять терпение, всем существом решительно, целеустремленно, властно отметая мелкую суету (Питера Уолша с его сердечными делами), настроившись на главную тему, которая не только поглощала все ее внимание, но и затрагивала ту жилу, тот внутренний стержень ее души, без которого Миллисент Брутон не была бы Миллисент Брутон: проект по переселению в Канаду молодежи из респектабельных семейств и создание перспектив для их процветания. Идея ее чрезвычайно захватила. Вероятно, она утратила чувство меры. Для других эмиграция вовсе не казалась ни очевидным решением, ни грандиозным замыслом. У них (у Хью, Ричарда и даже у преданной мисс Браш) не было нужды прибегать к столь радикальному

средству спасения от подавленной зацикленности на себе, которой подвержена зрелая, сильная, воинственная, упитанная женщина благородных кровей, привыкшая подчиняться своим порывам и выражать чувства открыто, не склонная к самоанализу (прямая и без затей — почему все люди не могут быть прямыми и без затей, удивлялась она), и которую пытается преодолеть, направляя на какой-нибудь иной предмет — будь то эмиграция или эмансипация; и на этом-то предмете сосредотачивается самая суть ее естества, неизбежно обращаясь в радужное, сверкающее зеркало или драгоценный камень, то бережно оберегаемый от чужих взглядов, то гордо выставляемый на всеобщее обозрение. Короче говоря, эмиграция сделалась в значительной степени самой леди Брутон.

Без писем в таком деле не обойтись. Написать в «Таймс» куда труднее, говорила она мисс Браш, чем организовать экспедицию в Южную Африку (во время войны леди Брутон справилась с этим вполне успешно). Потратив утро на битву с письмом, несколько раз начиная и разрывая бумагу в клочья, она как никогда ощутила тщету женских потуг и вспомнила про Хью Уитбреда, владевшего — в чем не посмел бы усомниться ни-

кто — искусством составления писем в «Таймс».

Удивительно, что существо, столь от нее отличное, прекрасно владеет английским языком, способно излагать мысли так, что редакторам нравится, и в то же время подвержено страсти, которую вряд ли можно считать простым обжорством. Леди Брутон прощала мужчинам многое, уважая сокровенную договоренность, по которой они, без участия женщин, устанавливали законы мироздания, умели излагать мысли, понимали, что происходит. Поэтому, когда Ричард давал ей совет, а Хью за нее писал, она чувствовала свою правоту. Позволив Хью полакомиться суфле, она спросила про бедняжку Эвелин, подождала, пока они закурят, и велела:

— Милли, принеси-ка бумаги.

Мисс Браш вышла, вернулась, разложила бумаги на столе, и Хью достал перьевую ручку — серебряную ручку, которая прослужила ему двадцать лет, заметил он, снимая колпачок. Все еще в прекрасном состоянии — он показывал ее производителям, и те заверили, что она может служить вечно, в чем заслуга и его, и тех умонастроений (как полагал Ричард Дэллоуэй), которые он принялся аккуратно выводить большими буквами, расставляя кружочки на полях,

и чудесным образом облек сумбурные чувства леди Брутон в стройные мысли, обуздал их правилами грамматики, что редактор «Таймс» наверняка оценит, подумала леди Брутон, наблюдая за дивным превращением. Хью не торопился. Хью был упорен. Ричард сказал, что придется рискнуть. Хью предложил внести кое-какие изменения, чтобы уважить чувства публики, которые, сварливо добавил он в ответ на смех Ричарда, «следует принять во внимание», и прочел вслух: «в связи с этим мы придерживаемся мнения, что настало время… излишки молодежи среди нашего постоянно растущего населения… чем мы обязаны нашим павшим…», Ричард обозвал его сентенции пустословием и чушью, хотя особого вреда в них не увидел, конечно; Хью продолжил взывать к лучшим чувствам, кои перечислял в алфавитном порядке и стряхивал сигарный пепел с жилета, периодически подводя итог их достижениям, пока наконец не зачитал черновик письма целиком. Леди Брутон сочла его шедевром — разве смогла бы она до такого додуматься?

Хью не ручался, что редактор это напечатает, но пообещал переговорить кое с кем за обедом.

После чего леди Брутон, к изящным жестам

обычно не склонная, запихала гвоздики за корсаж, всплеснула руками и воскликнула: «О, мой премьер-министр!» Она не знает, что делала бы без них обоих. Гости встали. Ричард Дэллоуэй, по обыкновению, подошел к портрету генерала, потому что собирался как-нибудь на досуге написать историю семьи леди Брутон.

Миллисент Брутон очень ею гордилась. Подождут, заверила она и поглядела на портрет, имея в виду свою семью, состоявшую из военных, чиновников, адмиралов — людей дела, исполнявших долг; ведь первый долг Ричарда — служить своей стране; что за прекрасное лицо, заметила она, а бумаги для Ричарда готовы, ждут в Олдмикстоне, когда настанет подходящий момент, то есть придет к власти лейбористское правительство.

— Ох уж эти события в Индии! — воскликнула она.

Затем, уже в холле, забирая свои желтые перчатки из вазы на малахитовом столике, в порыве совершенно ненужной любезности Хью пытался вручить мисс Браш лишний билетик или другое подношение, что возмутило ее до глубины души и заставило густо покраснеть, Ричард обратился к леди Брутон, держа шляпу в руке, и сказал:

— Мы увидим вас сегодня на приеме?

И леди Брутон вновь обрела царственность, утраченную во время составления письма. Возможно, придет, возможно, и нет. Кларисса удивительно энергична. Леди Брутон обожает приемы, но уже стареет, призналась она, величаво стоя в дверях. Позади нее потягивался чау-чау и поспешно удалялась с кипой бумаг мисс Браш.

Грузно ступая, леди Брутон с величественным видом поднялась к себе в комнату, легла на диван и вытянула руку. Она вздыхала, всхрапывала в полудреме, отяжелевшая и сонная, словно клеверный луг жарким июньским днем, луг со снующими пчелами и порхающими желтыми бабочками. Она всегда вспоминала родной Девоншир, где прыгала через ручьи на лошадке Пэтти со своими братьями Мортимером и Томом. Собаки гонялись за крысами, отец с матерью пили чай на лужайке под деревьями, на клумбах росли георгины, мальвы и пампасная трава; и детишки, маленькие сорванцы, вечно устраивали какие-нибудь проказы, а потом тихонько пробирались через кусты, перепачканные с головы до ног. Как же старая няня бранилась из-за испорченного платья!

Боже мой, вспомнила леди Брутон, сейчас ведь

среда, я на Брук-стрит. Эти добрые, славные малые, Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбред, пришли по жаре, по шумным улицам, чей гул доносится и сюда. У нее есть власть, положение, доход. Она живет в авангарде своей эпохи. У нее хорошие друзья, она знакома с самыми видными современниками. Журчание Лондона обвило ее потоком, рука, лежавшая на спинке дивана, сжала воображаемый жезл в память о героических предках, и леди Брутон, отяжелевшая и сонная, повела батальоны в Канаду, а тем временем два славных малых шли по Лондону, по своей территории, по пестрому ковру, по Мэйфэру.

Уходят все дальше и дальше, соединенные с ней невидимой нитью (с тех пор как у нее отобедали), которая тянется и тянется, становится тоньше и тоньше по мере того, как они удаляются; словно друзей связывает с ее телом тонкая нить, которая (леди Брутон начинала дремать) разбухает от звона колоколов, отбивающих час или зовущих на службу; паутинка мокнет под дождем и провисает. И она заснула.

Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбред замешкались на углу Кондуит-стрит как раз в тот момент, когда лежащая на диване Миллисент Брутон оборвала связующую нить и захрапела. Джентльмены

заглянули в витрину ближайшего магазина: ни покупать, ни разговаривать не хотелось: нахлынули приливные волны, на углу улицы столкнулись две силы, утро и вечер, и они застыли. Ветер подхватил газетный плакат, тот взмыл отважным воздушным змеем, потом замер, спикировал, затрепетал тонкой вуалью. Желтые навесы задрожали. Уличное движение замедлилось, по полупустым улицам беспечно грохотали редкие повозки. В Норфолке, где отчасти витали мысли Ричарда Дэллоуэя, мягкий, теплый ветерок ерошил лепестки цветов, рябил воды, трепал цветущие травы. Косари, прилегшие отдохнуть после утренней страды под живыми изгородями, раздвинули зеленую завесу, убрали в стороны дрожащие зонтики купыря, чтобы не заслоняли небо — ярко-синее, безоблачное летнее небо.

Поймав себя на том, что смотрит во все глаза на яковетинскую кружку с двумя ручками, а Хью Уитбред с видом знатока снисходительно восхищается испанским ожерельем, о цене которого решил справиться на случай, если оно понравится Эвелин, Ричард никак не мог выйти из ступора. Жизнь выбросила на витрину эти обломки кораблекрушения, и он стоял, охваченный летаргией былого, его непреодолимостью.

Возможно, Эвелин Уитбред захочет купить это ожерелье — вполне возможно. А ему хочется зевнуть. Хью устремился в магазин.

— Так и быть, — вздохнул Ричард, входя следом.

Видит Бог, он не собирался покупать ожерелье с Хью, но утро встретилось с вечером, приливная волна потащила его за собой. Прадеда леди Брутон с его мемуарами и кампаниями в Северной Америке опрокинуло и потянуло на дно, словно утлую шлюпку в глубоких водах. Миллисент Брутон отправилась туда же. Ричард плевать хотел на эмиграцию, на письмо, на редактора «Таймс». Хью восхищенно растянул ожерелье на растопыренных пальцах. Если хочется купить какую-нибудь ерунду, пусть подарит девушке — любой девушке с улицы. Никчемность жизни внезапно поразила Ричарда до глубины души — к чему покупать украшения для Эвелин? Будь у него сын, он сказал бы: работай, работай. Но у него Элизабет — он обожает свою Элизабет.

— Я желаю видеть мистера Дюбонне, — проговорил Хью в своей обычной светской манере. Похоже, этот Дюбонне знал размер шеи миссис Уитбред или, что еще более странно, отношение клиентки к испанским драгоценностям и кол-

лекцию ее украшений (в отличие от самого Хью). Все это чрезвычайно поразило Ричарда Дэллоуэя, который никогда не дарил Клариссе подарков, не считая браслета два или три года назад, принятого без особого восторга. Она не надела подарок ни разу. Это ранило. Как нить паутины, полетав на ветру, прицепляется к листу, так и мысли Ричарда, оправившись от сонливости, теперь сосредоточились на жене, в которую некогда был так страстно влюблен Питер Уолш. Ричард вспомнил о ней еще за ланчем, думал о себе и о Клариссе, об их совместной жизни. Придвинув поднос со старинными драгоценностями, он взял сперва брошь, потом кольцо, спросил, сколько что стоит, но тут же усомнился в своем вкусе. Ему хотелось войти в гостиную с подарком. Что же выбрать? Тем временем Хью тоже оклемался и неимоверно заважничал. В самом деле, он отоваривается у них уже тридцать пять лет и не потерпит проволочек из-за мальчишки, который ничего не смыслит в торговле. Похоже, Дюбонне отлучился, а Хью не собирался ничего покупать, пока тот не вернется. В ответ юнец вспыхнул и коротко поклонился. Он совершенно в своем праве. Ричард в жизни бы такого не сказал! И почему люди мирятся с подобным

хамством? Хью совершенно невыносим. Ричард Дэллоуэй не мог терпеть его общества больше часа. Взмахнув на прощание шляпой, Ричард повернул на углу Кондуит-стрит, горя желанием поскорее, да, поскорее, пуститься в путь по паутинной ниточке привязанности, протянувшейся между ним и Клариссой. Он пойдет прямо к ней, в Вестминстер!

Но войти ему хотелось не с пустыми руками. Цветы? Да, цветы, поскольку на свой вкус в выборе драгоценностей он не полагался; любые цветы — розы или орхидеи, — чтобы отметить, так сказать, событие: чувство к жене, возникшее во время разговора о Питере Уолше за ланчем; к тому же они не говорили о чувствах никогда, точнее, много лет, что было, подумал Ричард, сжимая красные и белые розы (огромный букет в папиросной бумаге), самой главной ошибкой. Настает время, когда не можешь сказать — слишком стесняешься, думал он, кладя в карман шестипенсовик-другой сдачи и устремляясь с букетом прямиком в Вестминстер, чтобы протянуть Клариссе цветы (пусть думает, что хочет) и сказать: «Я тебя люблю!» Почему бы и нет? На самом деле это настоящее чудо, если вспомнить о войне, о тысячах бедных парней, сваленных в общие мо-

гилы в расцвете сил, теперь почти всеми позабытых; настоящее чудо. А он идет по Лондону, чтобы подробнейшим образом рассказать Клариссе о том, как ее любит. О таком не говорят никогда, думал он. Отчасти от лени, отчасти от застенчивости. И вообще, Кларисса… постоянно думать о ней трудно, разве что урывками, как за ланчем, когда у него перед глазами возникла и она, и их совместная жизнь. Ричард Дэллоуэй остановился на переходе, твердя себе — по натуре он был человек простой, чуждый излишествам и порокам, потому что любил погулять пешком и пострелять, в палате общин упорно защищал права обездоленных и неукоснительно следовал своим принципам, но с годами стал немногословным и даже слегка зажатым — твердя, что женился на Клариссе просто чудом и вся его жизнь — сплошное чудо, думал он, медля на переходе. Стоило ему увидеть, как детишки пяти-шести лет идут через Пикадилли без взрослых, как кровь его вскипела. Полицейскому следовало остановить движение! Иллюзий насчет лондонской полиции он не питал и даже собирал свидетельства ее нерадивости, к примеру, попустительство зеленщикам, которым не разрешалось ставить свои тележки на улицах, проституткам — видит

Бог, он осуждал не этих бедняг и не молодых людей, а гнусное устройство английского общества, — и обо всем этом размышлял седеющий, элегантный, честный и дотошный Ричард Дэллоуэй, идущий через парк к своей жене, чтобы сказать, как ее любит.

Он войдет и подробно ей расскажет. Какая жалость — никогда не говорить о том, что чувствуешь, думал он, пересекая Грин-парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, семьи бедняков, устроились в тени деревьев — детишки болтают ногами, сосут молоко, повсюду разбросаны бумажные пакеты, собрать которые ничего не стоит толстым служителям в ливреях (если бы публика возмутилась); Ричард придерживался мнения, что в летнее время все парки и скверы должны быть открыты для детей (трава выгорела, пожухла и теперь подсвечивала лица бедных вестминстерских матерей и ползающих младенцев, словно лампа желтого света). Но как помочь бродяжкам вроде той несчастной, что раскинулась на лужайке, оперевшись на локоть (свободная от любых уз, взирает вокруг с интересом и без лишнего смущения размышляет, прикидывает, что да как, нахальная, болтливая, остроумная), он решительно не знал.

Заслонившись букетом, как щитом, Ричард Дэллоуэй прошел мимо, и между ними пробежала искра — женщина рассмеялась, он добродушно улыбнулся, продолжая размышлять о бродяжничестве — хотя заговорить с ней не решился бы никогда. Зато он подробно расскажет Клариссе, как ее любит. Давным-давно он завидовал Питеру Уолшу, ревновал к нему Клариссу. Она не раз повторяла, что поступила совершенно правильно, отказав Питеру Уолшу. Зная Клариссу, сомневаться в ее искренности не следовало, но и ей бывает нужна поддержка. Она вовсе не слабая, просто ей хочется поддержки.

Что же касается Букингемского дворца (стоит как старая прима перед публикой, весь в белом), то он по-своему заслуживает уважения, заметил Ричард, ведь для миллионов людей (у ворот в ожидании выезда короля собралась небольшая толпа) он является символом, каким бы нелепым ни был — ребенок с коробкой кубиков и то построил бы лучше, подумал он, глядя на мемориал королеве Виктории (которую помнил в роговых очках, едущей по Кенсингтону), на постамент белого мрамора, на пышные формы олицетворения материнства; впрочем, ему нравилось быть подданным потомков легендарного Хор-

са, ему нравилось ощущать преемственность и блюсти верность традициям. Великая эпоха, что и говорить. В самом деле, жизнь — истинное чудо, и на этот счет не стоит заблуждаться: сейчас он в расцвете сил, идет к себе домой в Вестминстер сказать Клариссе, что любит ее. Это и есть счастье, подумал Ричард Дэллоуэй.

Это и есть счастье, повторил он, входя на зеленую лужайку Двора декана. Биг-Бен начал бить, сперва мелодично — вступление, потом решительно — час. Светские ланчи отнимают столько времени, подумал он, подходя к своей двери.

Трезвон Биг-Бена заполнил всю гостиную, где за письменным столом сидела издерганная и раздосадованная Кларисса. Само собой, она не пригласила на прием Элли Хендерсон, и не просто так! А теперь миссис Маршэм пишет, что обещала Элли Хендерсон узнать насчет нее у Клариссы, ведь Элли так хочется прийти.

Почему она должна звать на свои приемы всех самых скучных женщин Лондона? И какое до этого дело миссис Маршэм? Вдобавок Элизабет все сидит взаперти с мисс Килман. Ничего более муторного нельзя и представить! Молиться в такой чудесный день с той женщиной… И вдруг дверной звонок заполнил гостиную печальной

волной, та отступила и обрушилась вновь, затем раздались звуки возни и царапанье по двери. Кто бы это мог быть в такое время, рассеянно подумала Кларисса. Благие небеса, три! Уже три! С властной прямотой и достоинством часы пробили три, заглушив все прочие звуки, ручка повернулась и вошел Ричард! Вот так сюрприз! Ричард протянул Клариссе цветы. Однажды в Константинополе она его подвела, а леди Брутон, чьи званые ланчи слывут презабавными, ее не позвала. Он принес цветы — красные и белые розы. (Но так и не смог сказать, что любит, хотя и собирался.)

Как мило, обрадовалась Кларисса, принимая букет. Она поняла, поняла без слов! Она поставила цветы в две вазы на каминной полке. До чего прелестные! Ланч удался? Леди Брутон про нее спрашивала? Питер Уолш вернулся. Миссис Маршэм написала. Позвать Элли Хендерсон или нет? Та женщина, Килман, наверху.

— Давай присядем, — предложил Ричард.

Гостиная казалась пустой. Стулья придвинули к стене. Чем они тут занимались? Ах да, прием; нет, он не забыл про прием. Питер Уолш вернулся. Ах да, он приходил. Собирается развестись — влюблен в какую-то женщину, не здешнюю.

И ничуть не переменился. Она сидела тут, чинила платье…

— Мы вспоминали Бортон, — сказала Кларисса.

— На ланче был Хью, — сообщил Ричард. И с ним она виделась? Хью становится совершенно невыносим. Покупает Эвелин ожерелья, совсем расплылся, ведет себя как осел!

— Ни с того ни с сего мне подумалось: я чуть не вышла за него замуж, — сказала она, думая о том, как Питер сидел перед ней с бабочкой на шее, играл перочинным ножом. — Совсем не изменился, ну ты его знаешь.

За ланчем о нем говорили, признался Ричард. (Но так и не решился сказать жене, что любит. Он взял ее за руку. Это и есть счастье, подумал он.) Вместе писали письмо в «Таймс» для Миллисент Брутон. Вот и все, на что годится Хью.

— А как наша дорогая мисс Килман? — спросил он.

Кларисса подумала, что розы просто чудесные, хоть в одном букете, хоть расставленные по цветам.

— Килман нагрянула, едва мы закончили ланч. Элизабет краснеет, и они закрываются наверху. Полагаю, чтобы помолиться.

Господи! Ему это совершенно не нравится, но подобные увлечения проходят сами собой, если не обращать на них внимания.

— В макинтоше и с зонтиком, — уточнила Кларисса.

Не сказал, что любит, зато взял ее за руку. Это и есть счастье, думал Ричард, это оно и есть.

— Почему я должна приглашать к себе всех самых скучных женщин Лондона? — воскликнула жена. Понравится ли миссис Маршэм, если Кларисса позовет гостей на ее прием?

— Бедная Элли Хендерсон, — вздохнул Ричард, поражаясь, как серьезно Кларисса относится к своим приемам.

Ричард даже не заметил, как теперь выглядит гостиная. Впрочем, что он там говорил?

Если Кларисса так тревожится из-за своих приемов, лучше их вообще не устраивать. Жалеет ли она, что не вышла за Питера? Ладно, пора идти.

Нужно идти, сообщил он, вставая. Но все медлил, словно собирался что-то сказать, и она гадала, что именно. Почему? Он принес розы.

— В комитет? — спросила она, когда муж открыл дверь.

Ричард помянул то ли армян, то ли албанцев.

Людям присуще чувство собственного достоинства, любовь к уединению, думала Кларисса, и даже между мужем и женой — целая пропасть, которую следует уважать. Никто не расстанется с ними добровольно и не лишит их своего мужа, ведь иначе утратишь и независимость, и самоуважение, которые поистине бесценны.

Ричард вернулся с подушкой и одеялом.

— После ланча полагается час полного покоя, — напомнил он и ушел.

Ричард в своем репертуаре! Он до скончания времен будет твердить про час полного покоя после ланча, потому что так когда-то велел доктор. Как на него похоже принимать советы докторов буквально — отчасти в этом проявляется его восхитительная, неподражаемая, божественная простота, благодаря которой он идет и занимается своими делами, а не тратит время на пустые препирательства, как некогда они с Питером. Он уже на полпути в палату общин, пошел к своим армянам или албанцам, оставив ее отдыхать на диване и смотреть на розы. Люди скажут: Кларисса Дэллоуэй избалованна. Ее больше заботят розы, чем армяне. Гонимые, искалеченные, холодные, голодные, жертвы несправедливости и жестокости (Ричард говорил об этом не раз) —

нет, к албанцам (или армянам?) она не питает ровным счетом никаких чувств (да и как им это поможет?), то ли дело розы — единственные цветы, которые хороши в срезанном виде. Ричард отбыл в палату общин или в комитет, разрешив все ее трудности. Нет, неправда — он так и не понял, почему она не хочет приглашать Элли Хендерсон. Конечно, позвать ее придется, раз он сказал. Поскольку он принес подушки, надо прилечь и… Но почему, почему она чувствует себя такой несчастной? Подобно женщине, что уронила нитку жемчуга или бриллиант в траву и теперь осторожно раздвигает высокие стебли, тщетно ищет повсюду и не находит, а потом внезапно замечает потерю у самых корней, Кларисса стала перебирать причины: нет, не мнение Сэлли Сетон, что Ричарду никогда не быть в кабинете из-за скудного ума (почему-то вспомнилось), нет, не то; и не Элизабет с мисс Килман — это всего лишь факты. Какое-то чувство, какое-то неприятное ощущение, возникшее чуть ранее; возможно, реакция на слова Питера в сочетании с хандрой, накатившей в спальне, когда она снимала шляпку, потом Ричард слегка добавил… Но что же он сказал? Вот розы. Ее приемы! Вот оно! Ее приемы! Оба отозвались о них очень несправедливо,

смеялись над ней, критиковали ее приемы. Вот! Вот в чем дело!

Что ж, и как себя защитить? Осознав причину своего дурного настроения, Кларисса воспрянула духом. Они считают, по крайней мере Питер считает, что она обожает выставлять себя напоказ, любит вращаться в обществе знаменитостей, великих современников — короче говоря, считают ее банальной выскочкой. Может, Питер так и думает. Ричард просто полагает, что с ее стороны глупо переживать, ведь у нее больное сердце, и считает это ребячеством. И оба совершенно неправы! Она просто любит жизнь.

— Вот почему я этим занимаюсь, — сказала Кларисса вслух, обращаясь к самой жизни.

Лежа в уединении и отрешившись от забот, Кларисса ощутила ее присутствие буквально физически — стоит в одеждах из уличного шума, озаряет комнату солнечными лучами и колышет шторы шепотом горячего дыхания. Предположим, Питер спросил бы: «Да-да, твои званые приемы — в чем же их смысл?» — все, что она смогла бы ответить (вряд ли кто поймет): это мой дар. Звучит ужасно странно! Но разве жизнь Питера — прогулка под парусом при попутном ветре? Питер вечно влюблен, и вечно не в ту

женщину. Кого ты любишь? — могла бы спросить Кларисса. Он бы ответил, что любовь — самое главное в жизни, и ни одной женщине никогда этого не понять. Прекрасно! А поймет ли мужчина ее отношение к жизни? Сложно представить, чтобы Питер или Ричард устроили прием просто так, без всякого повода.

Если вдуматься, если отрешиться от людских суждений (насколько они пусты, насколько обрывочны!) и заглянуть себе в душу, что значит для нее жизнь? О, так просто и не объяснишь! Кто-то живет в Южном Кенсингтоне, кто-то — в Бэйуотере или, скажем, в Мэйфэре. И Кларисса непрерывно чувствует, что люди существуют где-то там, поодиночке, и чувствует досаду, жалость и думает: вот бы свести их вместе! И устраивает прием, подбирает и зовет гостей. Это — подношение, но кому?

Пожалуй, просто подношение ради подношения. В любом случае это ее дар. Что еще она может предложить? Ни думать, ни писать, ни музицировать Кларисса не умеет. Путает армян с турками, любит успех, ненавидит тяготы, хочет всем нравиться, болтает чушь без умолку, а спроси ее, что такое экватор, и не ответит. В любом случае день следует за днем — среда,

четверг, пятница, суббота, с утра просыпаешься, видишь небо, гуляешь по парку, встречаешь Хью Уитбреда, потом приходит Питер, муж дарит розы — и этого достаточно. И смерть кажется совершенно невозможной — неужели все должно закончиться! — и никто в целом мире не знает, как она любит это все, каждый миг…

Дверь открылась. Элизабет знала, что мать отдыхает, и вошла очень тихо. Правда ли, что лет сто назад на побережье Норфолка потерпел кораблекрушение какой-нибудь азиат (как считает миссис Хилбери) и смешал свою кровь с женщинами из рода Дэллоуэй? В целом Дэллоуэи светловолосые и голубоглазые, Элизабет же — темненькая, с узкими, как у китайца, глазами на бледном лице — по-восточному загадочная, тихая, серьезная, спокойная. В детстве у нее было отличное чувство юмора, но теперь, в семнадцать лет, непонятно откуда пробилось мрачное величие — словно гиацинт с глянцевыми зелеными листьями и едва окрасившимися бутонами, гиацинт, выросший без солнца.

Она стояла неподвижно и смотрела на мать, и дверь была приоткрыта — за нею наверняка маячила мисс Килман в своем макинтоше, ловя каждое слово.

Мисс Килман и в самом деле стояла на лестничной площадке, одетая в макинтош, однако у нее имелись на то свои причины. Во-первых, прорезиненный плащ стоил дешево, во-вторых, ей за сорок, и она вовсе не обязана наряжаться, чтобы радовать глаз. Она была бедна, унизительно бедна. Иначе ей не пришлось бы наниматься к людям вроде Дэллоуэев — к богачам, которым нравится быть добренькими. Справедливости ради, мистер Дэллоуэй действительно добр, в отличие от миссис Дэллоуэй. Та смотрит свысока, ведь происходит из самого никчемного класса — богачка с легким налетом культуры. Дом буквально завален предметами роскоши — картины, ковры, слуг целый штат.

Мисс Килман вовсе не считала, что Дэллоуэи осыпают ее благодеяниями. С ней обошлись подло. Да, вполне подходящее слово. Разве женщина не имеет права на счастье? Она никогда не была счастлива из-за своей неуклюжести и нищеты. Ей выпал шанс в школе мисс Долби, и тут началась война. Лгать она не умела, и мисс Долби решила, что лояльные к немцам учителя ей не нужны. Мисс Килман пришлось уйти. У нее и правда немецкие корни, в восемнадцатом веке фамилия писалась на немецкий манер, но ведь

ее брат погиб на войне! Ее выставили, потому что она не хотела признать всех немцев злодеями, ведь у нее были друзья в Германии, ведь там она провела несколько по-настоящему счастливых дней! И в конце концов, она знала историю. Пришлось браться за любую работу. Мистер Дэллоуэй наткнулся на нее у квакеров, в Обществе друзей, предложил давать уроки истории его дочери, что было весьма щедро. Еще она вела занятия в вечерней школе и тому подобное. Потом к мисс Килман явился Господь (тут она всегда склоняла голову). Она узрела свет два года и три месяца назад и больше не завидовала женщинам вроде Клариссы Дэллоуэй. Мисс Килман их жалела.

Она жалела и презирала ее до глубины души, стоя на мягком ковре и разглядывая изображенную на старинной гравюре маленькую девочку с муфтой. При подобной роскоши разве есть надежда на изменения? Вместо того чтоб лежать на диване — «Мама отдыхает», сообщила Элизабет, — шли бы они на фабрику или за прилавок, миссис Дэллоуэй и все прочие светские леди!

Два года и три месяца назад полная обиды и злобы мисс Килман зашла в церковь. Она послушала, как проповедует преподобный Эдвард Уиттекер, как поют мальчики, посмотрела на возжжение

светильников, и то ли на нее подействовала музыка, то ли голоса (вечерами, в одиночестве она искала утешения в игре на скрипке, однако звук выходил малоприятный, поскольку слуха у нее не было) — словом, кипевшие в ней бурные страсти улеглись, она пролила обильные слезы и отправилась с визитом к мистеру Уиттекеру домой, в Кенсингтон. Это рука Божья, объяснил он, Господь указал ей путь. И теперь, когда вздымались горячие, болезненные чувства, ненависть к миссис Дэллоуэй, обида на весь мир, мисс Килман думала о Боге и о мистере Уиттекере. Гнев сменялся покоем. По жилам струилась благость, губы раздвигались в улыбку, и, стоя на лестничной площадке в своем макинтоше, она пристально смотрела на миссис Дэллоуэй, которая вышла вместе с дочерью, и излучала зловещую безмятежность.

Элизабет сказала, что забыла перчатки. Все из-за того, что мисс Килман и мама друг друга ненавидят. Она не могла видеть их вместе. Девушка бросилась наверх за перчатками.

Мисс Килман вовсе не испытывала ненависти к миссис Дэллоуэй. Обратив на Клариссу свои зеленые, как крыжовник, глаза, наблюдая за розовым личиком, изящной фигуркой, дышащей

свежестью и изысканностью, мисс Килман думала: «Вот же дура! Тебе неведомы ни невзгоды, ни радости, ты растратила жизнь попусту!», испытывая непреодолимое желание одолеть ее, разоблачить! Срубить бы ее, как гнилое дерево! На самом деле главное — победа не над телом, а над духом; ей хотелось подчинить это жалкое подобие духа, ощутить свою власть. Заставить бы ее рыдать, упасть на колени с воплем: «Вы правы!»... Впрочем, на все воля Божья, не мисс Килман. Это должна быть победа веры. И мисс Килман оставалось лишь испепелять ее взглядом.

Клариссу мисс Килман возмущала до глубины души. Разве это христианка? Женщина, отнявшая чужую дочь! Общается с незримыми духами, постигла смысл жизни, а сама грузная, страхолюдная, заурядная, ни доброты, ни изящества!

— Идете в армейский универмаг? — спросила миссис Дэллоуэй.

Мисс Килман ответила, что да. Так они и стояли молча. Мисс Килман вовсе не собиралась любезничать. Она зарабатывает свой хлеб честно. Ее познания в современной истории предельно глубоки. Из своих скудных доходов она так много выделяет на дело, в которое верит, в то время

как эта женщина пальцем не шевельнет, ни во что не верит, воспитала дочь… И тут вернулась Элизабет — совсем запыхалась, прелестная девочка!

Итак, они собираются в универмаг. Как ни странно, пока мисс Килман стояла на площадке (терпеливо и молча, словно доисторическое чудовище, закованное в броню первобытных войн), олицетворяемая ею идея постепенно съеживалась, ненависть (ненависть к идее, не к человеку) рассыпалась, и через миг там стояла просто мисс Килман в макинтоше, растерявшая всю злобу и даже ставшая меньше ростом. Видит Бог, ей бы Кларисса помогла с радостью!

При виде сникшего чудовища Клариссе стало смешно, и на прощание она рассмеялась.

Мисс Килман и Элизабет вместе спустились по лестнице.

Повинуясь внезапному порыву, жестоко страдая из-за того, что эта женщина забирает у нее дочь, Кларисса перегнулась через перила и крикнула:

— Помни про прием! Помни про наш сегодняшний прием!

Но Элизабет уже открыла входную дверь, на улице зашумел грузовик, и она не ответила.

Любовь и религия, думала Кларисса, дрожа от негодования. Гадость, какая гадость! Теперь, когда мисс Килман ушла, Клариссу вновь охватило отвращение к идее. Две самые жестокие вещи в мире, думала она, вспоминая их неуклюжее, потное, властное, лицемерное, всюду сующее свой нос, ревнивое, бесконечно жестокое и бессовестное олицетворение, обряженное в макинтош, — любовь и религия. Разве сама Кларисса пыталась обратить кого-нибудь в свою веру? Разве она не хотела, чтобы каждый был просто самим собой? И она посмотрела из окна гостиной на пожилую леди в доме напротив. Пусть себе взбирается по ступенькам, если ей угодно, пусть остановится, потом войдет в свою спальню, как делала не раз, раздвинет шторы и снова исчезнет в глубине комнаты. Подобное зрелище вызывало невольное уважение: пожилая женщина смотрит в окно, не зная, что за ней наблюдают. В этом было что-то сокровенное, но любовь и религия норовят разрушить неприкосновенность души. Противная мисс Килман норовит! Клариссе захотелось плакать.

Любовь тоже губительна. Все красивое, все истинное гибнет. Взять, к примеру, Питера Уолша. Какой был обаятельный, умный, разбирался

во всем на свете. Если хочешь поговорить о поэзии Поупа или Аддисона, просто поболтать, обсудить все и вся, собеседника лучше Питера не найти. Именно Питер ей помогал, снабжал книгами. Но что за женщины его привлекают — вульгарные, глупые, заурядные! Влюбленный Питер — жалкое зрелище: после стольких лет разлуки он пришел к ней, чтобы поговорить о чем? О себе. Страсть ужасна, думала Кларисса, страсть унизительна! А в это самое время Килман с ее Элизабет идет в универмаг кооперативного общества армии и флота…

Биг-Бен пробил половину часа.

До чего необычно, странно, даже трогательно видеть, как пожилая леди (они соседи уже столько лет) отходит от окна, словно соединенная со звуком, словно на веревочке. При всей своей грандиозности, звон часов как-то с ней связан. Вниз, вниз, в пучину обыденной жизни падает стрелка, отмечая торжественность мига. Звук заставляет ее, фантазировала Кларисса, двигаться, идти, но куда? Кларисса вгляделась пристальней, старушка повернулась и исчезла, белый чепец теперь мелькал в глубине комнаты. К чему эти догмы, молитвы и макинтоши, если вот оно — чудо, тайна: пожилая леди, что ходит от ко-

мода к трюмо. А высшая тайна, к которой якобы приобщились Килман или Питер (Кларисса не верила, что они приблизились к разгадке хотя бы на шаг), примерно такова: здесь одна комната, там другая. Разве способна разгадать эту тайну религия или любовь?

Любовь… И тут все прочие часы, отстающие от Биг-Бена на две минуты, подоспели и вывалили на Клариссу охапку всякой всячины: разумеется, его величество Биг-Бен, диктующий закон столь торжественно и справедливо, совершенно прав, но она должна помнить еще тысячу мелочей — миссис Маршэм, Элли Хендерсон, креманки для мороженого — ворох мелочей хлынул потоком, расплескался, затанцевал в кильватере торжественного удара, который пал словно слиток золота на морскую гладь. Миссис Маршэм, Элли Хендерсон, креманки для мороженого. Срочно звонить!

Вслед за Биг-Беном запоздавшие часы прозвучали бойко, взволнованно, поспешно избавляясь от вороха мелочей. Раздробленные, изломанные натиском экипажей, нахрапом фургонов, энергичной поступью тысяч худощавых мужчин и фланирующих женщин, куполами и шпилями контор и больниц, последние остатки разбились,

словно брызги обессилевшей волны, о тело мисс Килман, которая остановилась и пробормотала: «Это все плоть».

Она обязана смирять плоть. Кларисса Дэллоуэй ее оскорбила, что вполне ожидаемо. Мисс Килман и сама сплоховала — ей не удалось совладать с плотью. Она уродливая, нескладная — из-за этого Кларисса Дэллоуэй над ней посмеялась, и плотские желания пробудились вновь. На фоне Клариссы она ощутила свою неприглядность и косноязычность. Почему же ей хочется походить на Клариссу? Почему?! Она презирала миссис Дэллоуэй до глубины души. Несерьезная. Нехорошая. Вся ее жизнь соткана из тщеславия и лживости. И все же взяла верх над Дорис Килман, едва не довела ее до слез. Плоть, это все плоть, бормотала она вслух по привычке, пытаясь подавить неукротимое и болезненное чувство, и шла по Виктория-стрит. Она молилась Богу. С уродливой внешностью ничего не поделаешь, красивая одежда ей не по карману. Пусть Кларисса Дэллоуэй ее обсмеяла, но нужно сосредоточиться на чем-нибудь другом, хотя бы пока идет вон до той почтовой тумбы. В любом случае у нее есть Элизабет. Нужно переключиться; она будет думать о России, пока не поравняется

с тумбой.

Наверное, там сейчас хорошо, сказала мисс Килман, по совету мистера Уиттекера борясь со жгучей обидой на весь мир, который презирал ее, глумился над ней, отвергал, начав с главного унижения — наградил неприглядной внешностью, от которой люди воротят нос. Какую бы прическу ни сделала мисс Килман, череп с залысинами все равно смахивает на яйцо, белое и голое. Какой бы наряд ни примеряла — висит как на вешалке. Она перепробовала все. Ни для кого она не будет на первом месте. Никто ее не полюбит. Кроме Элизабет, в ее жизни есть только маленькие радости вроде ужина, чая, грелки на ночь. Однако нужно бороться, преодолевать себя, верить в Бога! Мистер Уиттекер сказал, что она послана в мир не просто так. Кто бы знал, до чего ей тяжело! Господь знает, ответил он, указав на распятие. Почему она должна страдать, а другим женщинам, той же Клариссе Дэллоуэй, удалось этого избежать? Знание приходит через страдание, напомнил мистер Уиттекер.

Миновав почтовую тумбу, Элизабет свернула в прохладный табачный отдел универмага армии и флота, а мисс Килман все еще бормотала под нос слова мистера Уиттекера про страдания

и плоть.

— Плоть, — вздохнула она.

В какой отдел ей нужно, перебила Элизабет.

— Нижних юбок, — отрывисто бросила мисс Килман и устремилась к лифту.

И они поехали наверх. Элизабет вела, направляла ее как большого ребенка, тащила, как громоздкий линкор. Мисс Килман рассеянно уставилась на нижние юбки — скромные коричневые, полосатые фривольные, плотные и легкие, потом ткнула наугад во что-то несуразное и продавщица, наверное, сочла ее сумасшедшей.

Пока заворачивали покупку, Элизабет тоже недоумевала, что на нее нашло. Нужно выпить чаю, заявила мисс Килман, беря себя в руки. И они отправились в буфет.

Элизабет удивлялась, неужели мисс Килман настолько голодна. Она жадно накинулась на еду и бросала алчные взгляды на блюдо с глазированными пирожными; когда пришла леди с ребенком и тот взял одно, мисс Килман перекосило. Разве она против? Да, против, ведь ей хотелось розовое — то самое, что выбрал мальчик. Одна радость в жизни осталась — покушать, а ее лишают даже этого!

У людей счастливых есть источник, из которого

они черпают, объясняла она Элизабет, в то время как она подпрыгивает на каждом ухабе, словно колесо без шины. Мисс Килман любила подобные метафоры, любила задерживаться после урока во вторник утром и вещать, стоя у камина с сумкой с книгами, своим «ранцем». Еще она любила поговорить о войне. В конце концов, не все люди считают, что англичане всегда правы. Нужно читать книги, посещать собрания, узнавать другие точки зрения. Не хочет ли Элизабет сходить с ней послушать Такого-то (поистине поразительный старик!)? И мисс Килман вела ее в какую-то церковь в Кенсингтоне, где они пили чай со священником. Она одалживала Элизабет книги. Право, медицина, политика — все профессии открыты для женщин твоего поколения, говорила мисс Килман. Разве она виновата, что ее карьера погублена? Помилуйте, восклицала Элизабет, конечно, нет!

Мама иногда заходит во время урока и говорит, что из Бортона привезли цветы, предлагает мисс Килман что-нибудь выбрать. С мисс Килман мама очень, очень мила, но та сжимает букет в кулаке и беседовать не хочет: то, что интересует мисс Килман, ввергает маму в тоску, и они совсем не ладят; мисс Килман задирает нос, и ей

это не идет. Зато она ужасно умна. Прежде Элизабет никогда не задумывалась о бедных. Ее семья совершенно не бедствует — Люси каждый день приносит маме завтрак в постель на подносе, и все ее знакомые пожилые леди сплошь герцогини, потомки каких-нибудь лордов. А мисс Килман сказала (однажды во вторник, после занятия): «Мой дед держал москательную лавку в Кенсингтоне». Рядом с мисс Килман чувствуешь себя такой мелкой!

Мисс Килман взяла еще чая. Элизабет сидела с прямой спиной, и в раскосых восточных глазах светилась непостижимая тайна; нет, больше ничего она не хочет. Девушка поискала перчатки, свои белые перчатки. Ой, свалились под стол. Только не уходи! Мисс Килман не могла ее отпустить — такую юную, такую красивую девочку, которую искренне любила. Широкая ладонь на столе сжалась в кулак.

Пожалуй, иногда в компании мисс Килман бывает уныло. Элизабет захотелось уйти, но мисс Килман сказала:

— Погоди, я не закончила.

Конечно, Элизабет подождет. Хотя здесь довольно душно.

— Пойдешь на сегодняшний прием? — спроси-

ла мисс Килман. Наверное, да, ведь мама этого хочет. Элизабет не следует увлекаться приемами, заявила мисс Килман, беря двумя пальцами последний кусочек шоколадного эклера.

Элизабет призналась, что не очень любит приемы. Мисс Килман приоткрыла рот, запрокинула голову и проглотила остатки эклера, потом вытерла пальцы и поболтала чай в чашечке.

Сейчас расколюсь надвое, думала мисс Килман, не в силах терпеть пытку. Если бы могла, она схватила бы Элизабет, прижала к себе и не отпускала до самой смерти — большего и не надо. Сидеть и не знать, что сказать дальше, видеть, как Элизабет охладевает, чувствовать ее растущее отвращение — это уже слишком! Толстые пальцы впились в ладонь.

— Я на приемы не хожу, — проговорила мисс Килман, пытаясь удержать Элизабет. — Меня и не приглашают… — И сразу поняла, что все испортила своим эгоизмом. Мистер Уиттекер предупреждал, но она ничего не могла с собой поделать. Как она страдает! — К чему меня приглашать? Я некрасивая, бедная.

Она и сама понимала, насколько по-идиотски звучит — во всем виноваты люди, спешащие мимо, люди с покупками, которые ее презирают.

Ее просто вынудили! И все же она — Дорис Килман. Женщина с дипломом, настоящий знаток современной истории, сама пробивает себе дорогу в жизни.

— Мне жаль не себя, я жалею… — Она хотела сказать «твою маму», но такого говорить нельзя, только не Элизабет! — Я больше жалею других.

Элизабет Дэллоуэй сидела молча, как бессловесное животное, которое неизвестно зачем подвели к воротам, и оно стоит, мечтая рвануть галопом. Мисс Килман скажет еще что-нибудь?

— Не забывай меня, — дрогнувшим голосом попросила Дорис Килман.

Бессловесное животное в ужасе ринулось прочь, устремившись к дальнему краю поля.

Крупная ладонь растопырилась и сжалась в кулак.

Элизабет оглянулась. Официантка сказала, что платить нужно в кассу. Элизабет встала и удалилась, волоча за собой кишки мисс Килман, как показалось той, да еще дернула напоследок, кивнув на прощание, и ушла.

Ушла. Мисс Килман сидела за мраморным столиком среди эклеров, изнемогая от мучительной судороги, обрушившейся раз, другой, третий. Ушла. Миссис Дэллоуэй победила. Элизабет ушла.

Красота ушла, юность ушла. А она осталась…

Наконец мисс Килман встала, неверной походкой побрела между столиками, и кто-то догнал ее, всунул забытый сверток; затем угодила в окружение сундуков, готовых к отправке в Индию, поблуждала среди наборов для рожениц и детских пеленок, прорвалась сквозь завалы ширпотреба со всего мира, товары скоропортящиеся и бессрочные — ветчина, лекарства, цветы, канцелярские принадлежности, пахнущие по-разному, то сладко, то кисло; увидела себя в полный рост в зеркале — шляпа набекрень, лицо пылает, и вывалилась на улицу.

Посреди уличной сутолоки возвышалась башня Вестминстерского собора, обитель Бога. Однако мисс Килман со свертком упрямо ринулась к другой святыне — к Вестминстерскому аббатству, и там, прикрыв лицо растопыренными пальцами, уселась позади всех прочих, ищущих прибежища, — разномастной паствы, ненадолго утратившей социальный статус и даже пол. Впрочем, стоило верующим убрать руки от лица, как они тут же обратились в почтенных представителей среднего класса, англичан и англичанок, иным из которых не терпелось взглянуть на восковые монаршие фигуры в здешнем музее.

Мисс Килман продолжала держать руки у лица, сидя то в одиночестве, то в окружении людей. С улицы заходили очередные посетители, глазели по сторонам, медленным шагом плелись мимо могилы Неизвестного воина, а она все закрывала глаза руками и в двойной темноте (в аббатстве и без того царил полумрак) пыталась воспарить над суетностью, над желаниями, над товарами ширпотреба, отринуть и ненависть, и любовь. Руки ее дергались — внутри шла нешуточная борьба. Похоже, для иных Бог гораздо доступнее, путь к нему менее тернист. Мистер Флетчер, бывший служащий казначейства, миссис Горэм, вдова знаменитого К.С., просто пришли к Нему, вознесли молитвы, откинулись на спинку скамьи и наслаждались музыкой (орган гремел так сладкозвучно), а мисс Килман в конце ряда все молилась и молилась. С порога своего параллельного мира старики сочувственно подумали: вот душа, бродящая по одной с ними территории, лишенная материальной оболочки, — не женщина, просто душа.

Мистеру Флетчеру понадобилось уйти, а путь к выходу лежал мимо нее. Сам он всегда одевался с иголочки, поэтому безалаберность бедной леди его слегка расстроила — волосы растрепа-

лись, сверток на полу. Она подвинулась не сразу. Пока он ждал, оглядывая белый мрамор, серые оконные переплеты и накопленные сокровища (аббатством он чрезвычайно гордился), дородность этой женщин, мужество и неистовство, с которым она молилась, время от времени судорожно сдвигая колени (сколь тернист ее путь к Господу, сколь сильны желания), произвели на него сильное впечатление, как и на Клариссу, которая целый день не могла выкинуть ее из головы, и на преподобного Уиттекера, и на Элизабет.

Та ждала омнибуса на Виктория-стрит. Как славно вырваться на улицу! Элизабет подумала, что спешить домой нужды нет. Лучше сесть в омнибус. И пока она стояла на остановке в своей прекрасно скроенной одежде, кое-что началось… Люди начали сравнивать ее с молодыми тополями, рассветами, гиацинтами, ланями, струящейся водой и садовыми лилиями, причиняя тем самым изрядное неудобство, почему они не оставят ее в покое, а сравнивают с лилиями, заставляют посещать приемы, и вообще в Лондоне просто ужасно, почему нельзя жить за городом с отцом и собаками?

Омнибусы пикировали на остановку, принима-

ли пассажиров, уносились прочь — аляповатые вагончики, сверкающие красным и желтым лаком. Какой же выбрать? Все равно. Конечно, ломиться напролом не стоит. Элизабет нравилось созерцать. Ей не хватало выразительности, зато глаза были ясные, китайские, восточные, и, как говорила мама, на такие красивые плечи и хорошую осанку приятно посмотреть. В последнее время, особенно по вечерам, когда разговор вызывал у нее интерес (сильных эмоций она не испытывала), Элизабет выглядела почти красавицей — горделивой и безмятежной. О чем она думает? В нее влюбляются все подряд, ей же откровенно скучно. Наступает ее пора. Мать видела — начались комплименты. Элизабет подобная ерунда совершенно не волновала — к примеру, плевать она хотела на наряды, — что тревожило Клариссу, зато вполне сочеталось с любовью к щенкам и морским свинкам, возней с заболевшим чумкой псом и придавало ей очарования. Теперь еще странная дружба с мисс Килман! Ну и ладно, думала Кларисса часа в три ночи, читая мемуары барона Марбо, потому что не могла уснуть, это доказывает, что у девочки есть сердце.

Внезапно Элизабет шагнула вперед и со зна-

нием дела села в омнибус. Она заняла место наверху. Лихой, как пират, омнибус рванул вперед, и ей пришлось схватиться за поручень, чтобы не упасть, ведь это был пират — безрассудный, неразборчивый в средствах, который безжалостно атаковал, шел на опасный обгон, выхватывал пассажира с остановки или игнорировал, ловко, как угорь, втирался в поток транспорта и несся по Уайтхоллу на всех парусах. Вспомнила ли Элизабет хоть раз о бедной мисс Килман, любившей ее без ревности, видевшей в ней лань на просторе, луну над водной гладью? Элизабет радовалась свободе. Свежий воздух так упоителен. В универмаге было ужасно душно. А теперь она летела по Уайтхоллу, и на каждое движение омнибуса красивое тело в светло-коричневом пальто откликалось играючи, словно всадник, словно фигура на носу корабля; ветерок слегка растрепал ее волосы, жара придала щекам бледность белого крашеного дерева, и прекрасные глаза, не встречаясь ни с чьими другими глазами, смотрели вперед, пустые и яркие, с неправдоподобной невинностью статуи.

Мисс Килман вечно твердит о своих страданиях, что делает ее просто невыносимой. Разве она права? Если отец, пропадая во всяких комитетах

целыми днями (она редко видела его, когда они жили в Лондоне), приносит пользу бедным, видит Бог… Не этого ли мисс Килман ждет от истинного христианина? Сказать наверняка сложно. Вот бы проехать еще немного! Пенни до Стрэнда? Возьмите пенни. Она поедет в Стрэнд.

Элизабет нравились люди, которые болеют. Как сказала мисс Килман, женщинам твоего поколения открыта любая профессия. Можно стать доктором или фермером. Животные болеют часто. Обзавестись тысячей акров, нанять работников, наведываться к ним домой. Вот и Соммерсет-Хаус. Из нее получится отличный фермер — как ни странно, идея пришла ей в голову не столько из-за мисс Килман (хотя и ее заслуга в том есть), сколько благодаря Соммерсет-Хаусу. Огромное серое здание, такое роскошное и солидное! Приятно думать, что там работают люди. Элизабет нравились здешние церкви, похожие на фигурки из серой бумаги, плывущие в потоке Стрэнда. Тут совсем иначе, чем в Вестминстере, подумала девушка, сходя на Чансери-лейн. Гораздо солиднее и оживленнее. В общем, ей захотелось получить профессию. Она станет доктором, фермером, пройдет в парламент, если сочтет нужным, и все благодаря

Стрэнду!

Ноги прохожих несут их по делам, руки кладут камень на камень, головы заняты не пустой болтовней (сравнивать женщин с тополями, конечно, увлекательно, но очень глупо), а мыслями о кораблях, сделках, законах; и вместе с тем здесь все такое внушительное (рядом Темпл), веселое (и река есть), благочестивое (и церковь), что Элизабет преисполнилась решимости (неважно, что скажет мама) стать либо фермером, либо доктором. Впрочем, она та еще лентяйка.

Лучше никому не рассказывать. Кажется, идея дурацкая. Так бывает, когда остаешься один, — здания без табличек с именами архитекторов и толпы людей из Сити будоражат сильнее разговоров со священником в Кенсингтоне, сильнее любых книг мисс Килман, и поднимают с песчаного дна души что-то вялое, нескладное, застенчивое; оно вырывается на поверхность, словно внезапно проснувшийся ребенок; пожалуй, так и есть — вздох, потягивание, порыв, прозрение, которое остается с тобой навсегда и снова опускается на песчаное дно. Пора домой. Нужно переодеться к обеду. Сколько времени — где же часы?

Элизабет оглядела Флит-стрит. Немного прошла

к собору Святого Павла, робко, словно незваный гость со свечой крадется на цыпочках по чужому дому, опасаясь, что хозяин внезапно распахнет дверь спальни и спросит, зачем ты явился; не решаясь свернуть в подозрительные переулки, не соблазняясь боковыми улочками, как не стала бы открывать двери, за которыми могла обнаружиться спальня, гостиная или кладовая. Никто из Дэллоуэев не разгуливает по Стрэнду просто так, она — отважный первопроходец, странник, бредущий наудачу.

Во многих отношениях, по мнению матери, она крайне незрелая, совсем ребенок — любит своих кукол, старые тапочки, — и это очаровательно. С другой стороны, Дэллоуэи издавна служат на благо общества, и женщины рода, хотя особыми талантами и не блистали, всегда шли на высокие должности — возглавляли монастыри, всякие учебные заведения — сановные посты в мире женщин. Элизабет проникла еще немного в глубь чуждой территории, ближе к собору. Ей нравилась радушная атмосфера сестринства, материнства, братства, царившая в этой сутолоке. Шум стоял оглушительный — внезапно прорезались трубы (безработные бастуют), зазвучала военная музыка, похожая на марш, и если

сейчас кто-то умирает — какая-нибудь женщина испустила последний вдох, и находящийся с ней рядом человек в этот чрезвычайно важный момент открыл окно, посмотрел вниз на Флит-стрит, то до него с ликованием долетела военная музыка, утешительная и равнодушная.

Музыка, не признающая ни счастья, ни горя. Благодаря ей утешение обретают даже те, кто наблюдает за последними проблесками сознания на лицах умирающих. Людская забывчивость подчас ранит, неблагодарность — коробит, но этот голос, льющийся вечно, из года в год забирает с собой все: и клятву, и жизнь, и процессию, обвивает и уносит прочь, как стремительный ледниковый поток подхватывает и волочет за собой осколок кости, синий лепесток, могучие дубы.

Как выяснилось, времени уже много. Маме не понравится, что она бродит по улицам одна. Элизабет повернула обратно.

Порыв ветра (несмотря на жару, было довольно ветрено) набросил черную вуаль на солнце и на Стрэнд. Лица поблекли, омнибусы лишились блеска. Пышные кучевые облака выглядели плотными, хоть топором руби, казались обиталищем богов — широкие золотистые склоны, лужайки

небесных садов — и находились в постоянном движении. Фигуры менялись местами, словно следуя намеченному плану: то вершина резко опадет, то огромный пирамидальный блок, сохраняя неизменность формы, выдвинется на передний план или торжественно поведет за собой процессию, направляясь к новому причалу. При всей неподвижности и идеально согласованной статичности их белоснежную или опаленную золотом поверхность отличала невероятная живость, свобода; пышная композиция изъявляла готовность меняться, двигаться, разбиваться на части в любой момент; и, несмотря на степенное постоянство, накопленную прочность и плотность, они поражали землю то светом, то тьмой.

Невозмутимо, со знанием дела Элизабет Дэллоуэй села в омнибус до Вестминстера.

Свет и тень появляются и исчезают, манят и подают сигналы, делая стену серой, бананы на тарелке ярко-желтыми; Стрэнд становится серым, а теперь омнибусы вновь ярко-желтые, думал Септимус Уоррен Смит, лежа в гостиной и глядя, как на розах обоев вспыхивает и гаснет бледное золото, обладающее поразительной отзывчивостью живого существа. Снаружи дере-

вья водили кронами по воздуху, словно сетями, комнату наполнял шум волн и пение птиц. Все стихии изливали ему на голову свои сокровища, рука Септимуса покоилась на спинке дивана, а сам он покачивался на волнах и слышал на далеком берегу лай собак. Не страшись, твердит сердце, не страшись.

Он и не страшился. В каждый миг Природа выдавала какой-нибудь веселый намек вроде золотого пятна, движущегося по стене (вот, вот, вот!), и обещала, что раскроет ему — качнет плюмажем, встряхнет локонами, поведет мантией, великолепная, как всегда, поднесет ладони ко рту и выдохнет строчки Шекспира — раскроет свой замысел.

Реция наблюдала за ним, сидя за столом и вертя в руках шляпу. Улыбается, значит, счастлив. Видеть, как он улыбается, было невыносимо. Что за брак, что за муж, который ведет себя странно, то вскакивает, то смеется, часами сидит молча, потом вдруг велит писать под диктовку! Ящик стола полон бумажек: про войну, про Шекспира, про великие открытия, про то, что смерти нет. В последнее время Септимус заводится без причины (оба доктора, Холмс и Брэдшоу, считают, что внезапное возбуждение особенно

опасно) — машет руками, кричит, что познал истину! Он знает все! Якобы приходил тот парень, погибший Эванс, пел за ширмой. Реция тут же записала его слова. Иногда получается очень красиво, иногда — полная чушь. И всегда-то он останавливается на середине фразы: то передумает, то захочет что-нибудь добавить, то услышит новое, поднимет руку и слушает.

Но Реции не слышно ничего.

Однажды они застали служанку, которая убирается в комнате, хохочущей за чтением такой записки. Получилось ужасно досадно! Септимус заголосил, кляня человеческую жестокость — люди рвут друг друга на куски! Павших, пояснил он, люди рвут павших. «Доктор Холмс за нами охотится», говорил он и придумывал истории про Холмса — как Холмс ест кашу, как Холмс читает Шекспира, — ревя от смеха или от ярости, потому что для него доктор Холмс олицетворял нечто жуткое. Он называл его «человеческая природа». Еще у Септимуса случались видения. Якобы он утонул и лежит на скале, а над ним кричат чайки. Он свешивался с дивана и смотрел в море. Или слышал музыку. На самом деле всего лишь звуки шарманки или голоса с улицы. Он кричал: «Прелестно!», по щекам струились

слезы, и это угнетало Рецию больше всего — видеть отважного мужчину вроде Септимуса, побывавшего на войне, плачущим. Он лежал, вслушиваясь, потом внезапно вопил, что падает вниз, вниз — прямо в пламя! И она вскакивала посмотреть на пламя, настолько ярко он переживал. Но ничего не горело. Они были в комнате одни. Всего лишь дурной сон, успокаивала она мужа, хотя иногда ей тоже становилось страшно. За шитьем Реция вздыхала.

Вздохи были нежные и чарующие, как ветерок на краю вечернего леса. Вот она откладывает ножницы, вот поворачивается и берет что-нибудь со стола. Легкий шорох, шуршание, постукиванье во что-то превращаются. Сквозь опущенные ресницы Септимус видел лишь размытый силуэт, хрупкую черную фигурку, лицо и руки; видел, как она двигается, протягивает руку за мерной лентой или ищет (она постоянно что-нибудь теряла) шелковые нитки. Реция делала шляпку для замужней дочери миссис Филмер, которую звали… Имя он позабыл.

— Как зовут дочь миссис Филмер?

— Миссис Питерс, — ответила Реция, держа шляпку перед собой. Она боялась, что та слишком маленькая. Миссис Питерс была женщиной

крупной и ей не нравилась. Это только ради миссис Филмер, которая к ним так добра. — Сегодня угостила меня виноградом, — сказала Реция, вот ей и захотелось как-нибудь ее отблагодарить. Позавчера она вошла в комнату и обнаружила миссис Питерс! Та решила, что их нет дома, и слушала граммофон.

— Правда? — удивился он. Слушала граммофон? Да, Реция уже говорила, что застала миссис Питерс в комнате.

Септимус начал медленно открывать глаза, чтобы увидеть, на месте ли граммофон. Реальные предметы… реальные предметы слишком будоражат. Нужно быть осторожным. Он не сойдет с ума. Сначала посмотрим на модные журналы на нижней полке, потом медленно переведем взгляд на граммофон с зеленой трубой. Все вполне настоящее. Собравшись с духом, он посмотрел на буфет: тарелка с бананами, гравюра королевы Виктории с принцем-супругом, затем на каминную полку и вазу с цветами. Ничего не двигалось. Все на месте, все настоящее.

— У этой женщины злобный язык, — заметила Реция.

— Чем занимается мистер Питерс? — спросил Септимус.

— Ах… — Реция попыталась вспомнить. Вроде бы миссис Филмер говорила, что он ездит по командировкам. — Прямо сейчас он в Халле.

«Прямо сейчас!» — произнесла она с итальянским акцентом. Септимус заслонил глаза, чтобы видеть лишь часть ее лица — подбородок, нос, лоб — на случай, если оно окажется деформированным или с какой-нибудь ужасной отметиной. Но нет, она выглядела вполне естественно, шила, поджав губы с напряженным, постным видом, как делают все женщины за шитьем. В этом нет ничего ужасного, уверял он себя, снова и снова глядя на лицо жены, на руки. Что ужасного в том, как она сидит среди бела дня и шьет? У миссис Питерс злобный язык. Мистер Питерс сейчас в Халле. Тогда зачем пылать гневом и пророчествовать? Зачем бичевать пороки и чувствовать себя чужим среди своих? Зачем дрожать и плакать навзрыд, глядя на облака? Зачем постигать истины и передавать послания, если Реция втыкает булавки в подол, а мистер Питерс уехал в Халл? Чудеса, откровения, терзания, одиночество, падение сквозь море вниз, вниз в пламя… все сгорело, и, пока он наблюдал, как Реция украшает соломенную шляпку, ему казалось, что он лежит под цветочным покровом.

— Для миссис Питерс шляпка слишком мала, — заметил Септимус.

Впервые за долгое время он заговорил в прежней манере! Конечно, согласилась Реция, до смешного мала, но миссис Питерс сама ее выбрала.

Он взял шляпку в руки. Для обезьянки шарманщика сойдет.

Как она обрадовалась! Много недель они так не смеялись, на пару потешаясь над ближним, как делают женатые люди. Если бы сейчас вошла миссис Филмер, миссис Питерс или еще кто-нибудь, вряд ли бы они поняли, над чем веселятся Реция с Септимусом.

— Вот так, — объявила она, прикрепляя розу сбоку шляпки. Никогда не была она так счастлива! Никогда в жизни!

Но ведь это же еще более нелепо, возразил Септимус. Теперь бедная женщина будет смотреться как хрюшка на ярмарке. (Никому не удавалось насмешить ее так, как Септимусу.)

Что там в шкатулке для рукоделия? Ленточки и бусины, кисточки, искусственные цветы. Реция высыпала все на стол. Он начал раскладывать украшения по оттенкам — хотя руки у него как крюки, даже сверток аккуратно не упакует, вкус у Септимуса был отличный, и часто он попа-

дал в точку, хотя ошибаться ему тоже случалось, конечно.

— Сделаем ей красивую шляпку! — бормотал он, беря то одно, то другое, а Реция стояла на коленях и заглядывала через плечо. Наконец он закончил — то есть наметил композицию, теперь ей следует все закрепить. Только пусть будет очень, очень осторожна, попросил Септимус, и ничего не меняет.

И жена села шить. За шитьем она издавала звуки, похожие на шум чайника на плите: увлеченно сопела, бормотала, сильные заостренные пальчики втыкали и вынимали сверкающую иглу. Пусть солнце вспыхивает и гаснет на кисточках, на обоях, а он подождет, думал Септимус, вытягивая ноги, глядя на перекрученный носок на дальнем конце дивана, он подождет в тепле, в безветренном закутке, в какой иногда забредаешь вечером на краю леса, — то ли впадина какая в земле, то ли деревья растут особым образом (наука — прежде всего наука), и там задерживается тепло, воздух задевает по лицу, словно птичье крылышко.

— Готово, — сказала Реция, крутанув шляпку миссис Питерс на кончиках пальцев. — Пока сойдет, а потом… — Фраза радостно полилась, словно

вода из незакрытого крана — кап-кап-кап.

Чудесно! Септимус гордился делом рук своих как никогда. Шляпка миссис Питерс такая настоящая, такая осязаемая.

— Ты только посмотри! — восхитился он.

Реция не могла нарадоваться, глядя на шляпку. Он снова стал собой, снова смеялся. Они были вдвоем. Шляпка ей очень нравилась.

Септимус велел примерить.

— Наверно, я выгляжу в ней нелепо! — воскликнула она, подбегая к зеркалу и крутясь. В дверь постучали, и Реция поспешно сорвала шляпку с головы. Неужели сэр Уильям Брэдшоу? И когда успел?

Нет, не он. Всего лишь ребенок с вечерней газетой.

Дальше было то же, что и всегда, — это происходило каждый вечер. Маленькая девочка сосала палец, стоя в дверях, Реция опускалась на колени, Реция ворковала и осыпала ее поцелуями, Реция доставала мешок конфет из ящика в столе. Так всегда и происходило. Сначала одно, потом другое. Так она все и выстраивала — сначала одно, потом другое. Танцевала, прыгала с ребенком по комнате, носилась кругами. Септимус взял газету. Суррей вылетел, прочел он. Стоит неви-

данная жара. Реция повторила: Суррей вылетел, стоит невиданная жара, вплетая газетные заголовки в игру для внучки миссис Филмер, и обе смеялись, болтали. Септимус очень устал. Он был очень счастлив. Нужно поспать. Он закрыл глаза. Шум игры понемногу стих, изменился до неузнаваемости и теперь напоминал крики людей, которые что-то ищут и не находят, удаляются все дальше и дальше. Они его потеряли!

Он вскочил в ужасе. И что он видит? На буфете тарелка с бананами, в комнате никого (Реция повела ребенка к матери — пора укладывать). Вот и все: он навеки один. Таков приговор, озвученный ему в Милане, когда он вошел в комнату и увидел, как девушки кроят коленкор; навеки один.

Он остался наедине с буфетом и бананами. Он остался один, совершенно беззащитный на этом выцветшем возвышении, простертый — не на вершине холма, не на скале, а на диване в гостиной миссис Филмер. Где же видения, лица, голоса мертвецов? Перед ним стояла ширма с черными камышами и синими ласточками. Там, где прежде виделись горы, лица, красота, теперь была просто ширма.

— Эванс! — крикнул Септимус. Никто не отве-

тил. То ли мышь пискнула, то штора зашуршала. Это голоса мертвецов. Ему остались только ширма, ведерко для угля, буфет. Значит, придется смотреть на ширму, ведерко для угля и буфет… и тут в комнату ворвалась Реция, болтая без умолку.

Пришло какое-то письмо. У всех поменялись планы. Миссис Филмер не сможет поехать в Брайтон. Уведомить миссис Уильямс времени нет, и на самом деле это ужасно обидно… И тут Реция посмотрела на шляпку и подумала: может, сделать чуточку… Ее голос затих, перейдя в радостное журчание.

— А, черт! — вскричала она (ее ругательства тоже были предметом их шуток), сломалась иголка. Шляпа, ребенок, Брайтон, иголка. Так она все и выстраивала — сначала одно, потом другое — выстраивала, сшивала.

Реция слегка подвинула розу и хотела знать, стала ли шляпка лучше. Она присела у него в ногах.

Теперь мы совершенно счастливы, заметила вдруг жена, откладывая шляпу. Теперь она может сказать ему все что угодно. Все, что придет ей в голову. Пожалуй, она поняла это с первого взгляда, едва он вошел в кафе со своими англий-

скими друзьями. Он робко огляделся, повесил фуражку, и та сразу упала. Реции это запомнилось. Она знала, что он англичанин, хотя и не из тех дюжих парней, которыми восхищались ее сестры, он всегда был худеньким; зато у него прекрасный, свежий цвет лица, а крупный нос, ясный взгляд, манера сидеть, чуть сгорбившись, напоминала ей, как она часто говорила, молодого ястреба — в первый вечер, когда они играли в домино и он вошел — молодой ястреб. С ней он всегда очень нежен. Она никогда не видела его буйным или пьяным, только страдающим — из-за этой ужасной войны, но даже тогда, стоит ей войти, как он берет себя в руки. Она могла сказать ему все, все что угодно, любую мелочь, связанную с рукоделием, любую мысль, что придет в голову, и он сразу понимает. Даже семья так ее не понимала. Он старше, гораздо умнее — как серьезно он предлагал ей почитать Шекспира еще до того, как она сумела прочесть по-английски хотя бы книжку для детей! — он такой опытный и может ей помочь. И она ему тоже!

Но сначала шляпка, потом (времени уже много) — сэр Уильям Брэдшоу.

Она прижала руки к вискам, дожидаясь, когда Септимус скажет, нравится ли ему шляпка

или нет, и сидела, опустив глаза; он чувствовал, как ее мысли порхают словно птичка с ветки на ветку, садясь цепко, очень правильно, он следовал за ее мыслями, а она привычно сидела в расслабленной, небрежной позе; стоит ему что-нибудь сказать, и жена сразу улыбнется — так птичка крепко вцепляется в кору всеми коготками сразу.

Септимус вспомнил слова Брэдшоу: «Когда мы болеем, присутствие людей, которых мы любим больше всех, не приносит пользы». Брэдшоу сказал, что он должен научиться отдыхать. Брэдшоу сказал, что должен их разлучить.

— Должен, должен — почему должен? Какое Брэдшоу вообще имеет право? Как он смеет говорить мне такое? — возмутился Септимус.

— Ты ведь говорил о самоубийстве, — объяснила Реция. (К счастью, теперь она могла сказать Септимусу все что угодно.)

Значит, он в их власти! Холмс и Брэдшоу открыли охоту! Хам с красным носом разнюхал все потаенные уголки! И теперь говорит «должен»! Где бумаги? Где то, что он написал?

Реция принесла записи — те, что он писал, и те, что диктовал. Высыпала все на диван, и они вместе смотрели на рисунки, на крошечных мужчин

и женщин, размахивающих руками-палками, с крыльями — неужели это крылья? — на спинах; на кружочки, обведенные вокруг шиллингов и шестипенсовиков — солнце и звезды; на зигзаги пропастей с альпинистами, которые восходят к вершине, связанные одной веревкой, словно ножи и вилки; на морские зарисовки с рожицами, смеющимися в волнах; на карту мира. Сожги их! — крикнул Септимус. Теперь записи: как мертвецы поют в зарослях рододендрона, оды времени, беседы с Шекспиром, Эванс-Эванс-Эванс — послания из мира мертвых: не рубите деревья, скажите премьер-министру, вселенская любовь — смысл мироздания. Сожги их! — крикнул Септимус.

Но Реция закрыла бумаги руками. Некоторые очень красивы. Она сложит их стопкой и перевяжет кусочком шелка (конверта у нее не было).

Даже если его заберут, она поедет тоже. Насильно их разлучить не смогут, сказала Реция.

Расправив края, она сложила бумаги и завязала сверток почти не глядя. Жена сидела рядом, и Септимус чувствовал, как она касается его всеми своими лепестками. Реция — дерево в цвету, и сквозь ветви проглядывает лицо законотворицы, достигшей святилища, где ей не страшен

никто — ни Холмс, ни Брэдшоу; чудо, победа — последняя и самая великая. Он ошеломленно наблюдал, как она поднимается по лестнице, забитой Холмсами и Брэдшоу, каждый из которых весит не меньше одиннадцати стоунов и шести фунтов, водит жену на дворцовые приемы, зарабатывает десять тысяч в год и рассуждает о чувстве меры; вердикты их разнятся (Холмс сказал одно, Брэдшоу — другое), и все же они его судят; путают видения с комодом, ничего не понимают и все же выносят постановления, назначают наказания, говорят, он «должен». А ей удалось их победить!

Реция поднялась, чтобы пойти в спальню и уложить вещи, но на лестнице раздались голоса. Она подумала, что пришел доктор Холмс, побежала вниз, не желая его пускать.

Септимус услышал, как она разговаривает с доктором Холмсом на площадке.

— Милая леди, я пришел как друг, — начал Холмс.

— Нет! Я не позволю вам увидеться с моим мужем, — заявила она.

Септимус представил ее — маленькая курочка, растопырив крылья, преграждает путь. Холмс настаивал.

— Милая леди, позвольте… — сказал Холмс, отодвигая ее в сторону (Холмс был мужчина крупный).

Холмс поднимается наверх! Сейчас распахнет дверь и спросит: «Опять не в духе?» Холмс его заберет. Ну уж нет, он им не дастся — ни Холмсу, ни Брэдшоу! Септимус встал, неуверенно переступил с ноги на ногу, глядя на нож миссис Филмер, аккуратный, чистый нож с надписью «хлеб» на рукоятке. Ах, портить его жалко! Открыть газ? Увы, слишком поздно. Холмс уже идет. Может, бритва? Реция наверняка все убрала. Остается только окно — большое окно дома с меблированными комнатами в Блумсбери. Открывать его, прыгать вниз и падать на мостовую — занятие утомительное, хлопотное и слишком пафосное. Так они и представляют себе трагедию, в отличие от него и Реции (она на его стороне). Холмсу и Брэдшоу понравится. (Септимус уселся на подоконник.) Буду ждать до последнего. Умирать совсем не хочется. Жизнь прекрасна. Солнышко припекает. Вот только люди… чего им надо? В доме напротив по лестнице спускается старик, уставился и смотрит. Холмс уже у двери. «На, получи!» — крикнул Септимус и рьяно, неистово бросился вниз, прямо на ограду миссис Филмер.

— Трус! — заорал доктор Холмс, распахивая дверь. Реция кинулась к окну, увидела. Она все поняла. Доктор Холмс и миссис Филмер столкнулись на пороге. Миссис Филмер замахала фартуком, выгоняя Рецию в спальню. Началась суматоха, беготня по лестнице. Вошел доктор Холмс, белый как простыня, весь дрожит, в руке стакан. Нужно крепиться и выпить чего-нибудь сладкого, сказал он (Что это? Сладкое, пейте), потому что ее муж ужасно покалечился, в сознание не придет, и видеть его нельзя, нервы ее нужно поберечь, насколько возможно, потом придется ответить на вопросы коронера, несчастная женщина. Кто бы мог подумать? Внезапный порыв, винить совершенно некого (объяснил он миссис Филмер). На черта он это сотворил, доктор Холмс абсолютно не понимал.

Реция пила сладкую жидкость, и ей казалось, что она открывает стеклянные двери, выходит в какой-то сад. Где же она? Пробили часы — один, два, три. До чего разумный звук, по сравнению со всем этим топотом и перешептываниями, разумный, как Септимус. Она погружалась в сон. Часы продолжали бить — четыре, пять, шесть, — и миссис Филмер махала фартуком (они же не станут вносить его сюда?) словно фла-

гом, стоя в том саду. Реция видела, как медленно развевается приспущенный флаг, когда ездила с тетушкой в Венецию. Так воздают почести погибшим в бою, а Септимус тоже был на войне. Воспоминания у нее остались по большей части счастливые.

Она надела шляпку и побежала через ниву (где это может быть?), поднялась на утес вроде как у моря, потому что там были корабли, чайки, бабочки, и села рядом с мужем. И в Лондоне они тоже сидели, и в полусне, через закрытую дверь спальни доносился шум дождя, шепот, шуршание сухих колосьев, и ласковое море покачало их в изогнутой раковине, что-то шепнуло ей, вынесло на берег, и она осыпалась брызгами, как цветы падают на могилу.

— Умер, — сказала Реция и улыбнулась бедной пожилой женщине, которая за ней присматривала, уставившись честными голубыми глазами на дверь. (Они же не станут заносить его сюда?) Миссис Филмер лишь махнула рукой. Тело увозят. Почему бы ей не сказать? Муж и жена должны быть вместе, думала миссис Филмер, но нужно сделать так, как велит доктор.

— Пусть поспит, — сказал доктор Холмс, пощупав пульс.

Реция видела большой темный силуэт на фоне окна. Значит, это доктор Холмс.

Еще одно достижение цивилизации, подумал Питер Уолш, услышав легкий, высокий звон колокольчика «Скорой помощи». Автомобиль без промедления понесся в больницу, проворно и милосердно подобрав какого-то бедолагу — то ли получил по голове, то ли тяжело заболел, то ли попал под колеса на соседнем переходе минуту или две назад — такое может случиться с каждым. Вот она, цивилизация. Вернувшись с Востока, Питер Уолш поразился ощущению эффективности, организованности, единства жителей Лондона. По собственной инициативе подводы и фургоны съезжали на обочину и пропускали «Скорую». Уважение, с которым все отнеслись к автомобилю с пострадавшим, изрядно поражало и даже умиляло: занятые люди спешат домой, но при виде «Скорой» тут же задумываются о жене бедолаги или представляют на скамье рядом с доктором и медсестрой себя… Нет, думать про это слишком тревожно, сентиментально — воображение сразу рисует врачей, трупы, а зрительное восприятие дарит лучик радости, отвлекая от образов, губительных для искусства, для дружбы.

И все же, подумал Питер Уолш, когда «Скорая» свернула за угол и устремилась к Тоттенхэм-Корт-роуд, продолжая оглашать улицы звоном, привилегия одиночества — поступать так, как сочтешь нужным. Плакать можно, только если никто не видит. Это его и погубило — излишней эмоциональности англо-индийское общество не терпело; вечно он плакал или смеялся не к месту. Есть у меня такая черта, думал он, стоя у почтовой тумбы, скрытой завесой слез. Бог знает, что со мной происходит. Вероятно, сказывается избыток впечатлений долгого дня — красота Лондона, визит к Клариссе, изматывающая жара, — капля за каплей впечатления падали в глубокий подвал, куда не заглядывает никто. Отчасти поэтому, из-за непроницаемой сокровенности, он воспринимал жизнь как неизведанный сад с извилистыми дорожками и закоулками, полными сюрпризов: в иные моменты просто дух захватывает, вот и сейчас, возле почтовой тумбы напротив Британского музея, когда проехала «Скорая» и в один миг сошлись воедино жизнь и смерть. Волна эмоций подхватила его и занесла на высокую крышу, а внизу остался лишь голый, усыпанный белыми ракушками пляж. Вот в чем причина моих неудач в англо-индийском обще-

стве — в излишней эмоциональности.

Однажды они с Клариссой ехали куда-то на верхней площадке омнибуса — в те дни Кларисса, по крайней мере на первый взгляд, вела себя весьма импульсивно: то впадала в уныние, то дрожала от восторга, и общаться с ней было одно удовольствие; на прогулках она подмечала любопытные городские сценки, вывески, людей; они исследовали Лондон и возвращались с Каледонского рынка с полными сумками сокровищ, так вот, у Клариссы возникла теория — они выдумывали уйму теорий, в юности все обожают выдумывать теории. И та объясняла их неудовлетворенность: никого не знают сами, никто не знает их. Да и как можно друг друга узнать? Встречаетесь каждый день, потом не видитесь полгода или даже несколько лет. Досадно, как мало мы знаем людей, согласились оба. Впрочем, заметила Кларисса, сидя в омнибусе, едущем по Шафтсбери-авеню, она чувствует себя повсюду — не просто здесь-здесь-здесь, пояснила она, постукивая по спинке сиденья, а повсюду. И обвела рукой Шафтсбери-авеню. Такой она и была. И чтобы узнать ее или любого другого человека, нужно смотреть на окружающих людей или даже на места, где они бывают. Трудно объяснить

связь, которую она чувствовала с совершенно незнакомыми людьми вроде случайной прохожей на улице или продавца за прилавком — даже с деревьями. В результате возникла трансцендентальная теория, позволившая Клариссе, одержимой страхом смерти, верить или утверждать, что верит (при всем ее скептицизме): видимая часть так преходяща по сравнению с другой, невидимой частью, простирающейся гораздо шире, и невидимая часть может уцелеть, спастись благодаря связи с другими людьми или даже обитать в определенных местах после смерти… вероятно, вполне вероятно.

Как показала их долгая, почти тридцатилетняя дружба, теория Клариссы более-менее подтвердилась. Краткие, часто болезненные встречи, прерываемые его отлучками и разными помехами (сегодня утром, к примеру, вошла Элизабет, прелестная и молчаливая, словно длинноногий жеребенок, вошла как раз в тот момент, когда он начал объясняться с Клариссой), и все же их влияние на жизнь безмерно. И это очень загадочно. Тебе бросают колючее, занозистое зернышко — встречу в реальной жизни, порой ужасно болезненную, и много лет оно валяется неизвестно где, а в самый неподходящий момент прорастает,

раскрывается ароматным цветком, который можно потрогать, попробовать на вкус, рассмотреть, осмыслить и понять. Так Кларисса и являлась ему — на борту парохода или в Гималаях, вызываемая к жизни совершенно необъяснимыми причинами (так и Сэлли Сетон, великодушная, восторженная дурочка, вспомнила о нем, увидев синие гортензии). Кларисса повлияла на него больше всех, кого он знал в жизни. И всегда представала то в облике холодной, чопорной английской леди, то упоительно-обворожительной, романтичной девы, словно нива перед жатвой. Чаще всего он видел ее за городом, не в Лондоне. Ссора за ссорой в Бортоне…

Он дошел до гостиницы. Пересек холл, уставленный бурыми креслами и диванами, увядшими растениями с шипастыми листьями. Взял ключ. Барышня у конторки вручила ему несколько писем. Питер Уолш поднялся в номер — особенно часто он видел Клариссу в Бортоне, в конце лета, приезжая погостить на неделю или даже две, как было тогда принято. Она стояла на вершине горы — руки прижаты к волосам, плащ развевается на ветру, на что-то указывает, кричит — увидела Северн внизу. Или хлопотала в лесу над котелком — неумело пытается

разжечь огонь, дым вьется кругом, из клубов проглядывает розовое личико. Или просила воды у старухи, и та вышла на порог и долго смотрела им вслед. Они всегда гуляли пешком, ездить Кларисса не любила. Ей было скучно ездить верхом, ей не нравились никакие животные, кроме ее пса. По сельским дорогам они прошагали много миль. Иногда она останавливалась, чтобы сориентироваться, и вела его обратно напрямик, и все время они спорили, обсуждали поэзию, людей, политику (тогда Кларисса придерживалась радикальных взглядов), не замечая ничего вокруг; иногда внезапно замирала, восторженно вскрикивала, приметив живописный вид или дерево, и заставляла его посмотреть; снова шагала по скошенным полям с каким-нибудь цветком для тетушки, никогда не уставая от ходьбы, несмотря на хрупкость телосложения, и спешила вернуться в Бортон до темноты. После ужина старик Брейткопф открывал фортепьяно и пел совершенно без голоса, а они валялись в креслах, стараясь не хохотать, не выдерживали и смеялись, смеялись — смеялись просто так. Брейткопф делал вид, что не замечает. Потом, уже утром, Питер Уолш вышагивал перед домом туда-сюда, словно трясогузка…

Письмо от Клариссы — на голубом конверте ее почерк. Видимо, прочесть придется. Снова встреча, заранее обреченная. Он едва себя пересилил. «До чего изумительно, что мы увиделись! Не могла тебе этого не сказать!» Вот и все.

Письмо его расстроило и разозлило. Лучше бы совсем не писала! Письмо венчало предыдущие размышления, словно удар под дых. Почему бы не оставить его в покое? В конце концов, она вышла замуж за Дэллоуэя и вполне счастлива с ним столько лет.

Жить в отелях довольно уныло. Более чем. Несть числа постояльцам, вешавшим свои шляпы на эти крючки! Даже мухи, если вдуматься, усаживались на бесчисленное количество носов. Что же касается бившей в глаза чистоты, то это вовсе не чистота — скорее оголенность, бесстрастность, да так и должно быть. Постная кастелянша обходит на рассвете свои владения, вынюхивая, заглядывая везде, заставляя синеносых горничных оттирать все дочиста, словно следующий постоялец — кусок мяса, который следует подать на идеально чистой тарелке. Спать — только на кровати, сидеть — только в кресле, чистить зубы и бриться — вот вам стаканчик и зеркало. Книги, письма, халат, небрежно брошенные

на набитый конским волосом матрас, смотрелись нагло и неуместно. И все это он понял благодаря письму Клариссы. «До чего изумительно, что мы увиделись! Не могла тебе этого не сказать!» Он сложил листок и оттолкнул. Ничто не заставит его прочесть письмо снова!

Чтобы письмо пришло к шести, Кларисса должна была сесть и написать сразу после его ухода, наклеить марку и отправить кого-нибудь на почту. Кстати, очень на нее похоже. Визит ее расстроил. Она успела многое прочувствовать: в тот миг, когда целовала ему руку, жалела и даже немного завидовала, вероятно, вспоминала (судя по ее виду), как Питер Уолш говорил, что они изменят мир, если она выйдет за него замуж; между тем все сложилось иначе: пришла зрелость, а достижения у обоих весьма посредственные; однако Кларисса, со свойственным ей неукротимым жизнелюбием, заставила себя об этом забыть, ведь равных ей по силе духа, выносливости, способности преодолевать любые трудности и одерживать победу он не встречал. Да, но реакция последовала, едва он покинул гостиную. Ей стало его безумно жаль, она попыталась придумать, как бы его утешить (и как всегда не угадала), по щекам побежали слезы,

и Кларисса ринулась к письменному столику, чтобы нацарапать одну-единственную строчку: «До чего изумительно, что мы увиделись!» И все это совершенно искренне.

Питер Уолш развязал шнурки на ботинках.

Все равно бы их брак получился несчастливым. В конце концов, расстаться куда более естественно.

Как ни странно, так думали многие. Питер Уолш, чьи жизненные успехи были скромны, занимаемые им должности — весьма заурядны, нравился людям, однако его считали слегка чудаковатым и даже заносчивым — непонятно, почему теперь, дожив до седин, он выглядит вполне довольным жизнью, словно все невзгоды ему нипочем. Пожалуй, тем и привлекает женщин, которых не тянет к мужчинам излишне мужественным. Им виделась в нем некая изюминка, загадка. Возможно, виной тому его любовь к книгам — приходя в гости, он непременно хватался за книгу на столе (как и сейчас читал, распустив шнурки), или в том, что он был джентльменом, который виден даже по тому, как выбивает трубку, и, конечно, в обращении с женщинами. Забавно, с какой легкостью девицы без грана здравого смысла вили из него

веревки, пусть и на свой страх и риск. Иными словами, при всей непринужденности в общении, веселости и воспитанности Питер Уолш видел их насквозь. Стоило женщине сказать что-нибудь не то, как — нет-нет, такого он не потерпит! К тому же он мог реветь и держаться за бока, хохоча над шуткой в мужской компании. В Индии он слыл лучшим знатоком кулинарии. Питер Уолш был мужчиной, но не из тех, кто требует к себе уважения — и слава Богу! — вроде майора Симмонса, к примеру, думала Дэйзи, вечно их сравнивая.

Он скинул ботинки, вынул все из карманов. Перочинный нож, снимок Дэйзи на веранде — Дэйзи вся в белом с фокстерьером на коленях — пленительная, смуглая, ее лучший снимок. Все произошло само собой, гораздо естественнее, чем с Клариссой. Без лишней суеты, без всяких хлопот. Никаких церемоний или лишних движений. Гладко, как прогулка под парусом в хорошую погоду. И смуглая, восхитительно прелестная девушка на веранде ахнула (он так и слышит ее возглас). Конечно, конечно, она готова ради него на все! — никакого понятия о благоразумии у Дэйзи нет и в помине, — абсолютно на все! — вскричала она и бросилась к нему без оглядки.

Ей было всего двадцать четыре, и уже мать двоих детей. Ну и ну!

Надо же так вляпаться в его-то годы! Питер Уолш просыпался среди ночи, обливаясь холодным потом. Вдруг они поженятся? Для него это только к лучшему, но как насчет нее? Он доверился миссис Берджесс, женщине доброй и не болтунье, которая считала, что поездка в Англию, якобы для встречи с адвокатами, может заставить Дэйзи передумать, оценить последствия. Речь идет о ее положении, пояснила миссис Берджесс, о социальном барьере, об утрате детей. Она станет вдовой с прошлым, влачащей унылое существование где-нибудь в пригороде, или, что более вероятно, женщиной, неразборчивой в связях (сами знаете, что случается с теми, кто слишком сильно красится). Питер Уолш только отмахнулся. Умирать он не собирается. В любом случае пусть довольствуется малым, пусть решает сама, думал он, шлепая по полу в одних носках, разглаживая парадную рубашку, потому что решил сходить к Клариссе на прием, в какой-нибудь мюзик-холл, или остаться в номере и почитать захватывающую книгу, написанную его оксфордским знакомым. Если уйдет на пенсию, непременно будет писать

книги. Отправится в Оксфорд и как следует пороется в Бодлианской библиотеке. Напрасно смуглая, восхитительно прелестная девушка бежала через всю веранду, напрасно махала ему, напрасно кричала, что ей нет ни малейшего дела до того, что скажут люди. Мужчина, которого она считает самым лучшим на свете, образцовым джентльменом, поистине неотразимым, выдающимся (и возраст не имеет значения), шлепает босиком по номеру отеля в Блумсбери, бреется, умывается, убирает бритву, мысленно копается в Бодлианской библиотеке и подыскивает пару интересных тем для исследования. И он будет подолгу с кем-нибудь болтать, опаздывая на ланч все больше и больше, забывать про свои обязательства, устраивать сцены, когда Дэйзи попросит о поцелуях, не справится с обязанностями мужа (хотя и будет очень ей предан) — короче говоря, как сказала миссис Берджесс, лучше ей о нем забыть или запомнить таким, как в августе 1922 года, силуэтом на перекрестке в сумерках. Легкий экипаж удаляется все дальше и дальше, увозя надежно пристегнутую к сиденью Дэйзи, и она кричит, разведя руки, что готова ради него на все на свете, на все, на все, на все…

Он никогда не понимал, о чем думают люди.

С годами сосредоточиться все труднее. Питер Уолш погрузился в себя, его заботили только собственные дела; он то мрачен, то весел, зависит от женщин, стал рассеянным, капризным, искренне не понимает (так думал он, пока брился), почему бы Клариссе просто не снять для них квартиру и не позаботиться о Дэйзи, не представить ее обществу. Или он мог бы просто — что? — просто парить в облаках (в данный момент он разбирал ключи и бумаги), пикировать и смаковать, жить один, короче говоря, наслаждаться одиночеством, и все же он слишком зависим от других людей (он застегнул жилет), в том-то и причина его неудач. Он не в силах держаться подальше от курительных комнат, любит полковников, гольф, бридж, а превыше всего ценит женское общество — утонченность, преданность, дерзость и благородство любви, которая, несмотря на все недостатки, казалась ему (смуглое, восхитительно прелестное личико поверх конвертов) неотразимо привлекательной, прекрасным цветком, венчающим человеческую жизнь, и все же он никогда не мог решиться, вечно осторожничал (Кларисса навсегда что-то в нем надломила), быстро уставал от немой преданности и стремился к разнообразию, хотя

пришел бы в ярость, если бы Дэйзи полюбила другого, поскольку вследствие своего темперамента был чрезвычайно, неудержимо ревнив. Какие муки его терзали! Но где же перочинный нож, часы, брелоки, блокнот и письмо Клариссы, читать которое он больше не намерен, хотя вспомнить о нем приятно, и фотография Дэйзи? Пора на ужин.

За маленькими столиками в окружении вазонов ужинали постояльцы, кто переодевшись, кто нет, с шалями и сумочками, лежащими подле, напустив на себя показное спокойствие, потому что не привыкли к такому количеству блюд, излучая уверенность, потому что могли за это заплатить, и усталость, потому что весь день бегали по лондонским магазинам и достопримечательностям; и естественное любопытство, потому что оглядывали обеденную залу, когда вошел симпатичный джентльмен в роговых очках; и добродушие, потому что были готовы оказать любую услугу, вроде поделиться меню или нужными сведениями; и горячее желание, подспудно побуждавшее постояльцев налаживать связи, даже если их объединяло лишь место рождения (к примеру, Ливерпуль) или тезки среди друзей; бросая взгляды украдкой, неожиданно замолка-

ли и обменивались шутливыми замечаниями между собой, отгораживаясь от других — словом, за столиками ужинали вовсю, когда мистер Уолш вошел и занял свое место возле шторы.

Их уважение возникло не из-за того, что он сказал, ведь обедая в одиночестве, Питер Уолш обращался лишь к официанту, а из-за того, как посмотрел меню, выбрал вино, придвинул стул ближе к столу, приступил к еде сдержанно, без лишнего ажиотажа — все это завоевало их уважение, которое в течение большей части трапезы не проявлялось почти никак, лишь вспыхнуло за столом семейства Моррисов, когда мистер Уолш в самом конце сказал: «Грушевый бренди». Почему он говорит так скромно и в то же время твердо, требовательно и со знанием своих законных прав, ни юный Чарльз Моррис, ни Чарльз-старший, ни мисс Элейн или миссис Моррис не знали, но, когда он произнес: «Грушевый бренди», сидя за столиком в одиночестве, они почувствовали, что сей джентльмен рассчитывает на поддержку своего правомерного требования, как истинный поборник дела, тут же ставшего и их делом тоже, поэтому окинули его сочувственными взглядами. И когда все прошли в курительную комнату, небольшой беседы избе-

жать не удалось.

Серьезных тем не поднимали — говорили о том, что в Лондоне очень людно, что за последние тридцать лет город изменился, что мистеру Моррису больше нравится Ливерпуль, что миссис Моррис побывала на выставке цветов в Вестминстере и им всем довелось увидеть принца Уэльского. Да, подумал Питер Уолш, ни одна семья на свете не сравнится с Моррисами, ни одна: друг к другу относятся прекрасно, плевать они хотели на высшее общество, им нравится то, что нравится, Элейн готовится продолжить семейное дело, юноша поступил в Лидский университет, мать семейства (почти ровесница Питера Уолша) оставила дома троих младших детей, в семье целых два автомобиля, но мистер Моррис до сих пор чинит обувь по воскресеньям. Превосходно, просто превосходно, думал Питер Уолш, покачиваясь взад-вперед с рюмкой бренди среди красных кресел с львиными лапами и пепельниц, весьма довольный собой, потому что понравился Моррисам. Да, им понравился человек, который сказал: «Грушевый бренди». Он чувствовал, что понравился.

Пожалуй, он пойдет к Клариссе на прием. (Моррисы удалились, но они обязательно уви-

дятся.) Он пойдет на ее прием, чтобы спросить у Ричарда, чем они там занимаются в Индии, эти тупицы-консерваторы. Какого черта творят? И музыку послушать… Ах да, и посплетничать.

Наша душа и правда обитает в глубоких водах, думал он, лавирует во мраке, прокладывая путь в зарослях исполинских водорослей, через залитые солнцем пространства, все дальше и дальше во тьму, холод, глубину, неизбежность; внезапно вырывается на поверхность и резвится в смятых ветром волнах; то есть испытывает настоятельную потребность распалять себя сплетнями. Что правительство намерено — Ричард Дэллоуэй знает наверняка — делать с Индией?

К вечеру зной не спадал, разносчики газет расхаживали с плакатами, на которых виднелись большие красные заголовки, кричавшие о жаре; на крыльцо отеля вынесли плетеные кресла, и там, выпивая и покуривая, расположились особняком джентльмены. Питер Уолш тоже присел. Такое чувство, что день, лондонский день, только начинался. День преобразился, словно женщина, отринувшая ситцевое платье и белый фартук ради соблазнительного наряда и жемчугов; избавился от забот, окутался дымкой, облачился в вечерние сумерки — словно

женщина сбросила нижние юбки и вздохнула с облегчением, так и день стряхнул с себя пыль, жару, краски; гул транспорта стих, громоздкие фургоны сменились стремительными автомобилями с гудящими клаксонами, в густой листве зажглись яркие фонари. Я оставляю свой пост, говорил вечер, бледнея и сходя на нет среди зубчатых стен и лепных уступов, остроконечных крыш отелей и торговых домов, я гасну, ночь идет, я исчезаю, но Лондон и слышать ничего не желал, вздымая свои штыки в небо, пригвождая вечер, вынуждая подчиниться и примкнуть к всеобщему веселью.

Пока Питер Уолш жил в Индии, произошел великий переворот Уильяма Уитлетта — переход на летнее время. Длинный вечер был для него в новинку. Поразительная перемена! Мимо шли молодые люди и девушки с портфелями, радуясь тому, что вырвались на волю, горделиво ступая по легендарному тротуару — так себе радость, конечно, пошлая и показная, зато их лица светились восторгом. И одеты хорошо — розовые чулки, красивые туфли. Теперь у них есть два часа на кино. Желто-голубой свет делал черты тоньше, придавал изящества, а листва в нем зловеще пылала и выглядела мертвенно-бледной —

словно ее окунули в морскую воду — листва затопленного города. Красота поражала Питера Уолша и придавала ему сил; пусть вернувшиеся из Индии англичане заняли заслуженные места в Восточном клубе (он знал целые толпы таких), где желчно подводят итоги крушения империи, лично он здесь и молод как никогда, завидует юному поколению из-за летнего времени и всего прочего, и почти уверен, судя по косвенным, неосязаемым признакам вроде случайно брошенной фразы, смеха горничной: происходит колоссальный сдвиг, в юности казавшийся невозможным. На них это давило, особенно страдали женщины — как те цветы, которые тетушка Клариссы клала между листами серой промокательной бумаги и придавливала сверху словарем Литтре, сидя под лампой после обеда. Теперь ее больше нет. Он слышал от Клариссы, что старушка ослепла на один глаз. Вполне уместно — парадокс природы, — если бы старая мисс Перри превратилась в стекло целиком. Лежала бы как замерзшая птичка, вцепившись в жердочку. Пусть Хелена Перри и принадлежит другой эпохе, как личность цельная, гармоничная она всегда будет возвышаться на горизонте — белоснежная и величественная, словно маяк, отмечая прой-

денный этап увлекательного, долгого-долгого путешествия, бесконечной (он нащупал монетку, чтобы купить газету и почитать про матч Суррея с Йоркширом — сколько раз он протягивал эту монетку! — команда Суррея опять продула) — этой бесконечной жизни. Крикет — не просто игра, это нечто большее. Разве можно не прочесть про крикет?! Первым делом узнать счет, потом про жару, затем про убийство. Повторяя одни и те же действия миллион раз, мы их облагораживаем, хотя при этом и обнажаем глубинную сущность. Благодаря прошлому опыту и чувствам к одной-двум женщинам обретаешь силу, которой не хватает в юности, способность обрывать связь, поступать как вздумается, ничуть не заботясь о том, что скажут люди, приходить и уходить без особых ожиданий (он положил газету на столик и встал). Впрочем, подумал Питер Уолш, оглядываясь в поисках плаща и шляпы, про себя бы он так не сказал, тем более сегодня, ведь он собрался на прием, в его-то годы, с надеждой обрести новый опыт. Но какой?

Так или иначе, его ждет красота. Не банальная красота, видная глазу. Не чистая и простая — как Бедфорд-Плейс впадает в Рассел-сквер. Это лишь прямота и пустота, симметрия ко-

ридора, а ведь еще есть красота горящих окон, музыка фортепьяно или граммофона, сокровенное удовольствие, возникающее, когда смотришь в незавешенное или в распахнутое окно и видишь: за столиками сидят люди, медленно кружатся в танце юные пары, мужчины и женщины беседуют, горничные рассеянно выглядывают на улицу (давая понять, что дела закончены), на веревках сушатся чулки, где-то виден попугай или комнатные растения. До чего жизнь захватывающая, таинственная, бесконечно разнообразная! По большой площади мчатся таксомоторы, прогуливаются праздные парочки, обнимаются, молча стоят под густыми кронами, поглощенные друг другом, — и это так трогательно, что хочется тихонько проскользнуть мимо и не мешать, не прерывать священный обряд, не кощунствовать. И это тоже любопытно. А теперь вперед — зажигать и блистать!

Легкий плащ распахнулся — Питер Уолш быстро зашагал в своей непередаваемой манере, чуть подавшись вперед, заложив руки за спину и оглядывая улицу почти ястребиным взором; он шел по Лондону, двигаясь в сторону Вестминстера, и наблюдал.

Похоже, сегодня все решили выйти в свет.

Вот лакей открывает двери и впускает разодетую пожилую даму в туфлях с пряжками и тремя лиловыми страусовыми перьями в волосах. Вот входят три леди, закутанные, словно мумии, в шали с яркими цветами, леди с непокрытыми головами. В респектабельных кварталах из особняков с оштукатуренными колоннами и маленькими палисадниками выскальзывают женщины в легких накидках, с гребнями в волосах (поцеловав детишек на ночь), их ждут мужчины в развевающихся плащах, стоя возле заведенных авто. Сегодня гуляют все. Двери открываются, люди выходят, создавая впечатление, что весь Лондон сейчас сядет в шлюпки, покачивающиеся на волнах у берега, и отправится на карнавал. И серебристо-серый Уайтхолл представлялся Питеру Уолшу затканным призрачной паутиной, по которой стремительно снуют пауки, а вокруг фонарей висит мошкара, и люди из-за жары останавливаются поговорить о том о сем. В Вестминстере у дверей своего дома сидел высокий, прямой старик весь в белом. Наверное, судья в отставке, долго проживший в Индии.

Вон там какой-то скандал — бранятся пьяные женщины, а здесь лишь полисмен прогуливается среди смутно очерченных высоких зданий,

куполов, соборов, парламентов, и с реки доносится зычный, протяжный гудок парохода. Вот же ее улица, из-за угла выруливают таксомоторы, словно потоки воды огибают опору моста и встречаются в одной точке, казалось ему, ведь они везут гостей Клариссы.

Наконец холодный поток зрительных впечатлений перелился через край, словно глаза его — переполненная фарфоровая чашка. Проснись, ум! Тело, соберись и входи в дом, ярко освещенный дом с распахнутыми настежь дверями, к которому подъезжают автомобили с нарядными женщинами; мужайся, сердце! Питер Уолш раскрыл большое лезвие своего перочинного ножа.

Люси со всех ног бросилась вниз по лестнице, заглянув на минутку в гостиную, чтобы поправить чехол, подвинуть стул, замереть и проникнуться впечатлением чистоты, блеска и ухоженности, которое возникнет у любого, кто увидит красивое серебро, латунные аксессуары для камина, новые чехлы на креслах и шторы из желтого чинца; полюбовавшись, она услышала гул голосов — обедать закончили, пора бежать!

Агнес предупредила, что будет премьер-министр: так сказали в гостиной, когда она принес-

ла бокалы. Имеет ли значение, хоть малейшее значение, премьером больше или меньше? Уж точно не в этот вечерний час и не для миссис Уокер, крутившейся меж тарелок, кастрюлек, разделочных досок, сковородок, заливного из цыпленка, мороженицы, срезанных с хлеба корочек, лимонов, супниц и форм для пудинга — как бы усердно ни трудились на судомойне, грязная посуда все равно возвышалась грудами повсюду — на кухонном столе, на стульях, а огонь в плите ревел, электрические лампы горели ярко, и еще нужно накрывать к ужину. Так что миссис Уокер совершенно не волновал приход очередного премьер-министра.

Леди поднимаются наверх, сообщила Люси; леди шли одна за другой, миссис Дэллоуэй замыкала шествие и, как всегда, улучила момент передать весточку на кухню, на этот раз шепнув: «Скажите мисс Уокер, что я ее люблю!» На следующее утро они пройдутся вдвоем по блюдам — суп, форель; мисс Уокер знала, что форель, как всегда, не на высоте, потому что она, как всегда, перенервничала из-за пудинга, оставила рыбу на Дженни, и форель не удалась. Впрочем, со слов Люси, при виде блюда светловолосая леди с серебряными украшениями спросила: «Неужели сами

приготовили?» И все же форель не давала миссис Уокер покоя, пока она крутилась с тарелками, открывала и закрывала заглушки, регулируя тягу. В столовой грянул взрыв смеха, чей-то голос и снова смех — джентльмены веселятся. Токай, выпалила Люси, вбегая на кухню. Миссис Дэллоуэй послала за «Токай империал», из лучших запасов.

Вино торжественно пронесли по кухне. Через плечо Люси сообщила, что мисс Элизабет выглядит прелестно — просто глаз не отвести, в розовом платье, с цепочкой, которую подарил мистер Дэллоуэй. Велела напомнить Дженни про песика, фокстерьера мисс Элизабет, которого пришлось запереть, чтобы никого не укусил, — вдруг ему что-нибудь понадобится. Пусть Дженни не забудет про песика! Однако Дженни отказывалась подниматься наверх при гостях. Автомобиль уже подъехал к дому! В дверь звонят, а джентльмены в столовой, пьют токай!

Поднимаются по лестнице, это первые, теперь пойдут быстрее и быстрее, и миссис Паркинсон (нанятая специально для приема) оставит двери холла открытыми, и там будут толпиться джентльмены (ждать, приглаживать волосы), пока леди снимают накидки в соседней комнате,

где им помогает миссис Барнет, старая Эллен Барнет, прослужившая семье сорок лет, которая каждое лето приезжает в Лондон подсобить и помнит нынешних матерей еще девочками, ненавязчиво здоровается с ними за руку, уважительно называет «миледи», но при этом глядит лукаво, особенно на юных леди, и очень деликатно пришла на выручку леди Лавджой, у которой что-то неладно с лифом. И обе они, леди Лавджой и мисс Элис, невольно чувствуют, что щетку и расческу им подают как своим, недаром ведь они знакомы с миссис Барнет — «тридцать лет, миледи», подсказывает та. В прежние времена в Бортоне девушки не румянились, замечает леди Лавджой. Мисс Элис румяна ни к чему, говорит миссис Барнет, глядя на нее с любовью. Миссис Барнет останется в гардеробной, пригладит меха, аккуратно сложит испанские шали, приберется на туалетном столике и сразу поймет, невзирая на меха и вышивку, кто истинная леди, а кто нет. Милая старушка, сказала леди Лавджой, поднимаясь по лестнице, эта Клариссина няня.

Леди Лавджой подобралась. «Леди и мисс Лавджой», сообщила она мистеру Уилкинсу (нанятому для приема). Манеры у него превосходные, как он кланяется и выпрямляется, кланяется и выпрям-

ляется, объявляя совершенно бесстрастно: «Леди и мисс Лавджой… Сэр Джон и леди Нидхэм… Мисс Вельд… Мистер Уолш». Превосходные манеры, и семейная жизнь его наверняка безупречна, хотя и сомнительно, что тип с зеленоватыми губами и выскобленными щеками станет утруждаться обзаведением потомства.

— Как я рада вас видеть! — воскликнула Кларисса. Она говорила это всем. Как я рада вас видеть! Сегодня она особенно ужасна — нервозная, фальшивая насквозь. И зачем он вообще пришел? Мог бы остаться в отеле и почитать, подумал Питер Уолш, лучше бы сходил в мюзик-холл или сидел в номере, ведь он здесь никого не знает.

О Боже, это провал, полный провал, нутром почуяла Кларисса, слушая извинения старого доброго лорда Лексама за жену, которая не пришла, — простудилась на приеме в саду Букингемского дворца. Краем глаза Кларисса заметила Питера, стоящего в углу с осуждающим видом. Зачем же она все это делает? Зачем стремится на вершину и стоит, объятая пламенем? Пусть оно поглотит ее совсем! Сожжет в пепел! Лучше так, лучше вспыхнуть факелом и сгореть, чем съежиться и померкнуть, словно Элли

Хендерсон! Поразительно, как Питеру удается довести ее до подобного состояния одним своим присутствием! Он заставил ее увидеть себя со стороны в утрированной форме. Полный идиотизм! Зачем он вообще пришел — покритиковать? Почему всегда берет, ничего не отдавая взамен? Почему бы не рискнуть, не поступиться хоть чем-нибудь? Бродит неприкаянный, надо с ним поговорить. Улучить свободную минутку вряд ли удастся. Такова жизнь — сплошное унижение, отречение. Что там с женой лорда Лексама? Отказалась надевать меха на пикник, милая Кларисса, все вы такие — леди Лексам по меньшей мере семьдесят пять! Изумительно, как они друг о друге пекутся, эта пожилая пара. Клариссе лорд нравился. Ее вечеринка и в самом деле важна, и при мысли о том, что все идет не так, все рушится, ей стало очень плохо. Любой взрыв, любой ужас — все что угодно лучше, чем люди будут бесцельно бродить, стоять по углам, как Элли Хендерсон, даже не пытаясь держать спину.

Желтая штора плавно надулась — словно в комнату влетели райские птички — и втянулась обратно. (Все окна были распахнуты настежь.) Неужели сквозняк? — подумала Элли Хендерсон. Она легко простужалась. Впрочем, не важно,

что завтра она будет чихать, ее заботили девушки с голыми плечами — думать о других Элли научил больной отец, приходской священник в Бортоне, ныне покойный. К тому же насморк никогда не переходил у нее в кашель. Элли беспокоили девушки, юные девушки с голыми плечами, ведь сама она всегда была хрупкой, с жидкими волосами и тщедушной фигуркой, зато теперь, после пятидесяти, лицо ее понемногу озарялось слабым, бледным светом, в нем порой проглядывало благородство, взращенное годами самоотречения, но тут же меркло, затмеваемое болезненной учтивостью и паническим страхом — она жила на триста фунтов в год и постоянно ощущала полную беспомощность (самой ей не заработать и пенни), и робость Элли только росла, мешая встречаться с хорошо одетыми людьми, которые выходят в свет каждый вечер сезона, просто говоря своим горничным: «Сегодня я надену то-то и то-то», а Элли Хендерсон лихорадочно бросалась в лавку, покупала полдюжины дешевых розовых цветочков и набрасывала на старое черное платье шаль. Приглашение она получила буквально в последнюю минуту и вовсе не обрадовалась. Судя по всему, в этом году Кларисса вообще не хотела ее звать.

Да и зачем? Разве что по старой памяти — они знали друг друга всю жизнь. На самом деле они были кузинами, но пути их давно разошлись, поскольку Кларисса пользовалась бешеным успехом. Для Элли приглашение на прием — настоящее событие. Она с удовольствием глядела на прелестные наряды. Неужели это Элизабет, совсем выросла, с модной прической, в розовом платье? Вряд ли ей больше семнадцати. Какая красивая! Похоже, для первых выходов в свет надевать белое уже не принято. (Надо хорошенько все запомнить, чтобы рассказать Эдит.) Теперь девушки носят прямые облегающие платья с подолом выше лодыжек. Не очень-то благопристойно, подумала она.

Из-за слабого зрения Элли вытягивала шею, пытаясь разглядеть все как следует. Ее не особо тяготило, что не с кем поговорить (все равно она почти никого не знала), зато можно смотреть — такая интересная публика, вероятно, сплошь политики, друзья Ричарда Дэллоуэя, а вот Ричард не мог допустить, чтобы бедняжка весь вечер простояла одна.

— Ну, Элли, как твои дела? — добродушно осведомился он, заставив Элли Хендерсон волноваться, краснеть и смущаться, ведь с его стороны

так мило подойти и заговорить. Она заметила, что многие переносят жару гораздо хуже, чем холод.

— Да, пожалуй, — согласился Ричард Дэллоуэй. — Да.

Но о чем еще им говорить?

— Привет, Ричард, — сказал кто-то и взял его под руку. Боже милостивый, это же старина Питер, старина Питер Уолш! Ричард рад, очень рад его видеть! Ничуть не изменился. И они удалились, похлопывая друг друга, словно не встречались много лет, думала Элли Хендерсон, глядя им в спину и чувствуя, что лицо ей знакомо. Высокий, средних лет, довольно красивые глаза, темноволосый, в очках, похож на Джона Берроуза. Эдит наверняка его знает.

Штора с порхающими райскими птицами снова взметнулась от ветра. И Ральф Лайон как ни в чем не бывало ударил по ней рукой и продолжил разговор. Значит, не все потеряно! Теперь прием будет удачным. Началось! Началось! Впрочем, момент переломный, и пока Клариссе нужно стоять здесь. Гости хлынули потоком.

Полковник и миссис Гаррод… Мистер Хью Уитбред… Миссис Боули… Миссис Хилбери… Леди Мэри Меддокс… Мистер Квин… — нарас-

пев произносил Уилкин. Кларисса говорила шесть-семь слов каждому, и они шли дальше, расходились по комнатам; теперь они не канут в никуда, потому что Ральф Лайон отдернул штору.

И все же слишком много усилий, а удовольствия никакого. На ее месте могла быть любая — стоять и встречать гостей способен кто угодно; и все же Кларисса невольно восхищалась собой, ведь все происходит только благодаря ей, ведь сегодняшний прием отмечает важный этап, ведь занимаемое ею высокое положение — некий рубеж, которым она стала, совершенно позабыв, как выглядит, и чувствуя себя колом, вбитым в лестничную площадку. Всякий раз, устраивая прием, она была не вполне собой, и гости тоже казались нереальными в одном отношении и в то же время гораздо более реальными в другом. Пожалуй, нарядная одежда, смена привычной обстановки и праздничный фон располагают к откровенности, на которую при обычных обстоятельствах не отважишься, и к большей серьезности. Но это не для нее, пока не для нее.

И самое странное в этом — чувство, которое возникает, когда смотришь, как гости поднима-

ются по лестнице один за другим: миссис Маунт и Селия, Герберт Эйнсти, миссис Дейкерс — ах, и леди Брутон!

— Я ужасно рада вас видеть! — воскликнула Кларисса совершенно искренне. Очень странно стоять наверху лестницы и смотреть, как они идут один за другим, один за другим, некоторые совсем старые, некоторые…

Как-как? Леди Россетер? Да кто такая эта леди Россетер?

— Кларисса!

Знакомый голос. Это же Сэлли Сетон! Как давно они не виделись! Сквозь дымку лет проглядывали неясные очертания, лишь отдаленно напоминающие ту девушку, которой Кларисса бредила в юности и радовалась, что находится с ней под одной крышей. Увы.

Перебивая друг друга, робея, смеясь, глотая слова — в Лондоне проездом, услышала от Клары Хэйдон, отличная возможность увидеться, рискнула прийти без приглашения…

Пожалуй, теперь находиться с ней под одной крышей уже не так упоительно. Сэлли изрядно поблекла. И все же приятно встретить ее снова, пусть и постаревшую, подурневшую, зато счастливую. Они расцеловались на пороге гостиной,

Кларисса обернулась, держа Сэлли за руку, и увидела, что ее комнаты полны гостей, услышала рев голосов, окинула взглядом канделябры, развевающиеся шторы, розы, подаренные Ричардом.

— У меня пять потрясающих мальчишек! — воскликнула Сэлли.

Сэлли до сих пор была откровенной эгоисткой, которая обожает, когда с ней все носятся, и за это Кларисса ее любила.

— Поверить не могу! — вскричала она, вспыхнув от удовольствия при мысли о прошлом.

К сожалению, Кларисса понадобилась Уилкинсу — Уилкинс объявил гостя с непререкаемым авторитетом, словно делая выговор гостям и призывая хозяйку к приличиям, объявил лишь должность:

— Премьер-министр, — сказал Питер Уолш.

Премьер-министр? Неужели правда?! Элли Хендерсон пришла в восторг. Будет что рассказать Эдит!

Ничего смешного в нем нет. Самый обычный человек. Мог бы стоять за прилавком, продавать печенье — бедняга, весь в золотых позументах. Следует отдать ему должное, совершая обход сначала с Клариссой, потом в сопровождении Ричарда, он держался весьма достойно. Пытался

изобразить из себя государственного деятеля. Наблюдать такое забавно. Никто на него не смотрел, все продолжали беседовать, хотя совершенно очевидно все знали, чуяли нутром: мимо проходит сановник, символ того, что они представляют, — английского общества. Старая леди Брутон, очень достойная и солидная в своих кружевах, величественно подплыла, и они удалились в отдельную комнатку, за которой сразу принялись пристально следить, и по дому пронесся вполне различимый гул: премьер-министр!

Господи, ох уж этот английский снобизм! — подумал Питер Уолш, стоя в углу. До чего они любят наряжаться в золотые позументы и воздавать должное! Ну и ну! Провалиться мне на месте, это же Хью Уитбред, обнюхивает следы сильных мира сего — раздобрел, поседел, неподражаемый старина Хью!

Всегда выглядит так, словно при исполнении, подумал Питер, придворный скрытник, свято хранящий тайны, ради которых готов умереть, хотя на деле это лишь лакейские сплетни, завтра же будут во всех газетах. Играя в свои бирюльки, Хью дожил до седых волос, наслаждаясь уважением и симпатией тех, кто имел честь знать этот тип англичанина — бывшего

ученика элитной частной школы. Хью сам напрашивается на подобные домыслы, ведь это вполне в его стиле — в стиле тех неподражаемых писем в «Таймс», которые Питер читал за морем тысячами и благодарил Бога, что ему повезло убраться подальше от сей зловредной пустопорожней болтовни, хотя и приходится слушать лепет бабуинов и вопли кули, колотящих своих жен.

Рядом подобострастно стоит юноша с оливковой кожей, по виду студент, и внимает. Хью будет его опекать, посвящать, направлять. Ему чрезвычайно нравится делать людям добро, заставлять сердца пожилых леди трепетать от радости — несмотря на годы, немочи, забвение появляется милый Хью и битый час говорит о прошлом, вспоминает разные пустяки, нахваливает домашнюю выпечку, хотя может лопать торты за чаем с герцогиней хоть каждый день; глядя на него, становится понятно, что большую часть жизни он и провел за этим приятным занятием. Господь Всемогущий и Всемилосердный, может, и простит; Питер Уолш пощады не знал. Злодеи бывают разные, но, видит Бог, негодяи, которых вешают за то, что проломили голову девушке в поезде, приносят куда меньше вреда, чем Хью Уитбред и ему подобные. Вы только

на него посмотрите! Едва премьер-министр с леди Брутон вернулись к гостям, и Хью тут как тут: подбежал на цыпочках, лебезит, сплошные поклоны и расшаркиванья, непременно надо на глазах всего света шепнуть ей что-нибудь, выставить себя особой приближенной. Старуха остановилась, величественно кивнула. Вероятно, благодарит за какую-нибудь услугу. У нее полно холуев из мелких правительственных чиновников, которые бегают с пустяковыми поручениями, а она кормит их ланчами. Что с нее взять — пережиток восемнадцатого века, человек другой эпохи.

Теперь уже Кларисса повела премьер-министра по залу гарцующей походкой, величаво блистая сединой. На ней серьги и серебристо-зеленое облегающее платье с подолом, напоминающим рыбий хвост, — словно русалка покачивается на волнах. Похоже, ей удалось сохранить свой дар — просто быть, жить одним мигом, сводить все воедино, проходя по залу; обернулась, поймала свой шарф, зацепившийся за чье-то платье, потянула и непринужденно рассмеялась с видом существа, парящего в своей стихии. Годы ее явно клонятся к закату; так русалка ясным вечером видит в своем зеркале заходящее солнце. В Клариссе

чувствуется дуновение нежности — былая строгость, чопорность, бесстрастность смягчились; и теперь, прощаясь с толстяком в золотых позументах, который изо всех сил пыжится, напуская на себя важность (что ж, удачи!), она глядит с непередаваемым достоинством, с искренним радушием, словно желает добра всему миру и теперь, стоя на самом краю бытия, должна уйти. Так думал Питер Уолш, глядя на Клариссу. (И он вовсе не влюблен.)

Несомненно, думала Кларисса, премьер-министр оказал им любезность. Ведя его по зале мимо Сэлли, мимо Питера и довольного Ричарда, мимо всех этих людей, пожалуй, склонных ей завидовать, она ощутила упоение: нервы напряглись, сердце затрепетало, замерло и подпрыгнуло в груди — да, но, в конце концов, то же самое чувствуют и другие; хотя подобные моменты Кларисса любила и переживала очень остро, все же эти впечатления, победы (старый добрый Питер, к примеру, глаз с нее не сводит) весьма обманчивы — внутри лишь пустота; в душу они не западают и прежнего удовольствия не приносят — наверное, возраст сказывается; и вдруг, когда премьер-министр стал спускаться по лестнице, золоченая рама картины

сэра Джошуа «Девочка с муфтой» напомнила Клариссе про Килман, ее врага. Совсем другое дело — истинное удовольствие! О, до чего же она ненавидела ту нелепую, гнусную ханжу, такую всесильную, соблазнившую ее Элизабет. Килман проникла в чужой дом, чтобы красть и осквернять (Ричард сказал бы: «Что за чушь!»). Кларисса ненавидела и одновременно любила ее. Нам нужны враги, а не друзья — не миссис Дюран с Кларой, сэр Уильям и леди Брэдшоу, мисс Трулок и Элеанор Гибсон, которые как раз поднимались по лестнице. Если им понадобится хозяйка, сами найдут. Она идет к другим гостям!

Вот и сэр Гарри, давний друг.

— Дорогой сэр Гарри! — воскликнула Кларисса, подходя к славному старику, написавшему больше скверных картин, чем два любых других художника из Сент-Джонс-Вуд, вместе взятых (он вечно изображал коров на водопое в лучах заката, которые либо наслаждались влагой, либо предвещали, поднимая переднюю ногу и поводя рогами, «Приближение чужака» — и обеспечивали его доходом, достаточным для оплаты любых развлечений вроде посещения ресторанов и скачек).

— Над чем смеетесь? — спросила она, потому

что Вилли Титком, сэр Гарри и Герберт Эйнсти — все смеялись. Нет уж, сэр Гарри не может делиться с Клариссой (хотя она очень ему нравилась, он считал ее в своем роде совершенством и даже грозился написать ее портрет) историями про свои похождения в мюзик-холле. Он подсмеивался над ее приемом. В столь высоких кругах без бренди тяжело. Но ее он любил и уважал, несмотря на проклятую, тягостную великосветскую утонченность, которая не позволяла сэру Гарри по-свойски усадить Клариссу Дэллоуэй себе на колени. И тут с другого конца залы потянулся блуждающий огонек, призрачный, мерцающий свет — старенькая миссис Гилбери простерла руки к яркому огню смеха (история про герцога и даму), на время избавившись от навязчивой мысли, тревожившей ее по утрам, когда просыпаешься и не хочешь звонить горничной, чтобы принесла чай: все мы должны умереть.

— Они с нами не делятся! — пожаловалась Кларисса.

— Милая Кларисса! — воскликнула миссис Гилбери. Сегодня вечером она так похожа на свою мать, которую та впервые увидела гуляющей по саду в серой шляпке.

Глаза Клариссы наполнились слезами. Поду-

мать только, встретились в саду! Увы, ей пора идти.

Потому что профессор Брайерли, читавший лекции о Мильтоне, беседовал с малышом Джимом Хаттоном (не способным ни галстук с жилетом сочетать, ни волосы как следует пригладить даже ради такого важного приема), и Клариссе издалека стало ясно, что они ссорятся. Профессор был не без причуд. При всех своих научных степенях, наградах, званиях, отделявших его от всяких писак, он мигом заподозрил, что атмосфера здесь не вполне благоприятная для столь тонкой душевной организации, для феноменальной учености и застенчивости, для сурового обаяния без тени любезности, для чистоты, замешенной на снобизме; профессор содрогался при виде небрежно уложенных волос девицы, нечищеных ботинок юнца — примет социальных низов, способных на бунт пылких юношей, мнимых гениев — и легким наклоном головы, хмыканьем намекал на пользу умеренности и некоторого знакомства с классиками, необходимого для восприятия Мильтона. Профессор Брайерли (как видела Кларисса) не поладил с малышом Джимом Хаттоном (который надел красные носки, потому что черные отдал в стир-

ку) на почве Мильтона. Она вмешалась.

Кларисса сказала, что обожает Баха. Хаттон тоже его любил, и это их объединяло. Хаттон (весьма скверный поэт) всегда считал, что миссис Дэллоуэй — гораздо лучше всех прочих леди, проявляющих интерес к искусству. Даже странно, до чего она взыскательная. О музыке с ней, конечно, особо не поговоришь, но как хороша собой! И дома у нее довольно мило, не считая профессоров. Клариссу так и подмывало отвести Хаттона в дальнюю комнату и усадить за рояль: играл он божественно.

— До чего шумно! — воскликнула она.

— Шум — примета успешного приема. — Вежливо кивнув, профессор тактично удалился.

— Мильтона он изучил вдоль и поперек, — сказала Кларисса.

— Да неужели? — протянул Хаттон, мысленно готовясь пародировать его на радость всему Хампстеду: профессор вещает про Мильтона, профессор толкует о пользе умеренности, профессор тактично удаляется.

Она должна поговорить с той парой, извинилась Кларисса, с лордом Гейтоном и Нэнси Блоу.

Вряд ли их беседа сказывалась на уровне шума — они просто стояли рядом у желтой шторы

и особо не разговаривали. Скоро отправятся вдвоем куда-нибудь еще, и там тоже будут хранить молчание. Выглядят они превосходно, большего и не надо. Такие опрятные, такие благополучные: напудренная, накрашенная девушка прекрасна, как абрикос в цвету, юный лорд чисто выбрит и отмыт до скрипа, с зорким, как у хищной птицы, глазом — ни одного мяча не пропустит, поймает на лету. Вечно готов отбить, подпрыгнуть ровно там, где надо. В руках подрагивают поводья — трепетные лошадки рвутся с места. За ним почетные звания, памятники предков, хоругви в фамильной церкви. На нем обязанности перед арендаторами, перед матерью и сестрами; весь день он провел на стадионе «Лордс», и именно об этом молодые люди и беседовали — крикет, кузины, кино, — когда подошла миссис Дэллоуэй. Лорду Гейтону она ужасно нравилась. Мисс Блоу тоже в ней души не чаяла. Настоящая леди.

— Изумительно — просто восхитительно, что вы пришли! — воскликнула Кларисса. Ей нравились лорды, нравилось юное поколение, и Нэнси, которая одевалась за огромные деньги у лучших модельеров Парижа и выглядела так, словно ее молодое тело самостоятельно взрастило на платье зеленые оборки.

— Я хотела устроить танцы, — вздохнула Кларисса.

Беседовать юное поколение не способно. Да и к чему? Кричать, обниматься, крутиться в танце, гулять до рассвета, угощать лошадей сахаром, целовать в морду и гладить очаровательных чау-чау, а потом со всех ног нестись к воде, нырять и плыть. Несметные богатства английского языка, заключенная в нем сила выражения чувств (в их возрасте Кларисса с Питером могли проспорить вечер напролет) не для них. Такие вызревают рано. Такие превосходно смотрятся в загородном поместье, но сами по себе довольно скучны.

— Какая жалость! Я надеялась потанцевать.

Ужасно мило, что они пришли! Ну какие сегодня танцы?! Шагу ступить некуда.

Вот и тетушка Хелена в своей шали! Увы, она вынуждена их покинуть — лорда Гейтона и Нэнси Блоу. Пришла старая мисс Перри, ее тетя.

Мисс Перри вовсе не умерла — она еще была жива. Ей перевалило за восемьдесят, и она медленно поднималась по лестнице, опираясь на палку. Ее усадили в кресло (Ричард позаботился). К ней подводили всех гостей, кто знал

Бирму семидесятых годов. Куда подевался Питер? Когда-то они очень дружили. При упоминании Индии или Цейлона глаза старухи (один был стеклянный) медленно темнели, становились синими, и взор обращался не на людей — у нее не сохранилось ни приятных воспоминаний, ни гордых иллюзий о вице-королях, генералах, мятежах — она видела орхидеи, горные перевалы и себя, когда в шестидесятые годы на спинах кули покоряла вершины или спускалась выкапывать орхидеи (удивительные цветы, еще никем не описанные), которые рисовала акварельными красками; несгибаемая англичанка, готовая напуститься на любого — к примеру, на Первую мировую, швырнувшую бомбу к ней прямо на порог, — кто оторвет ее от глубоких раздумий об орхидеях и путешествии по Индии шестидесятых — а вот и Питер Уолш!

— Поговори с тетей Хелен про Бирму, — велела Кларисса.

За весь вечер ему не удалось с ней и пары слов сказать!

— Чуть позже, — пообещала Кларисса, подводя его к тетушке — в белой шали, с палкой. — Питер Уолш!

Имя ничего для нее не значило.

Кларисса пригласила. Для нее это слишком утомительно и шумно, но Кларисса пригласила, и пришлось ехать. Какая жалость, что Ричард с Клариссой живут в Лондоне. Хотя бы ради здоровья Клариссы стоило бы переехать за город, но она всегда любила вращаться в обществе.

— Питер бывал в Бирме, — сообщила Кларисса.

Вот как. Ей невольно вспомнился отзыв Чарльза Дарвина о ее книжечках про бирманские орхидеи.

(Кларисса должна поговорить с леди Брутон.)

Конечно, теперь о ней все позабыли — о ее книжке про орхидеи Бирмы, но в семидесятые годы та переиздавалась трижды, поведала тетя Хелен Питеру. Теперь она припоминает. Он бывал в Бортоне (и бросил ее в гостиной одну, запоздало спохватился Питер Уолш, без единого слова умчавшись с Клариссой кататься на лодке).

— Ричарду очень понравился ваш ланч, — поведала Кларисса леди Брутон.

— Ричард оказал мне неоценимую помощь, — ответила леди Брутон. — Помог составить письмо. А как у вас дела?

— Замечательно! — заверила Кларисса. (Леди Брутон терпеть не могла жен политиков, у которых проблемы со здоровьем.)

— А вот и Питер Уолш! — воскликнула леди Брутон (она понятия не имела, о чем говорить с Клариссой, хотя та ей нравилась. При всех положительных качествах жены Ричарда у них с леди Брутон не было абсолютно ничего общего. Пожалуй, лучше бы он женился на особе менее обаятельной, и она помогала бы ему в работе. Шанс попасть в кабинет он упустил). — Вот и Питер Уолш! — повторила она, пожимая руку этому милому грешнику, который некогда подавал большие надежды, но имени себе так и не сделал (вечные трудности с женщинами), и, конечно, старая мисс Перри. Дама поистине выдающаяся!

Стоя у кресла мисс Перри, леди Брутон — призрачный гренадер, облаченный в траурное платье, — пригласила Питера Уолша на ланч; любезная, хотя и не настроенная на светскую беседу — она ничего не знала ни о флоре, ни о фауне Индии. Разумеется, она там бывала, гостила у трех вице-королей, считала некоторых англо-индийских чиновников славными малыми, но до чего в плачевном состоянии пребывает Индия! Премьер-министр сейчас рассказывал ей (старая мисс Перри куталась в шаль, не желая слушать, что там говорил премьер-министр), и леди Брутон хотелось узнать мнение Питера

Уолша, недавно вернувшегося из центра событий, и познакомить его с сэром Сэмпсоном, ведь она как дочь военного ночами глаз не может сомкнуть, переживая из-за тамошних беспорядков, безобразий даже. Сама она стара и мало на что годится. Зато ее дом, слуги, добрая подруга Милли Браш — помнит ли он такую? — готовы на любую поддержку, если понадобится. Она никогда не сотрясала воздух зря, и все же любовь к родному острову, к дорогой, очень дорогой сердцу земле у нее в крови (и читать Шекспира для этого необязательно), ведь если и найдется женщина, способная носить шлем и стрелять из лука, вести войска в атаку, править ордами варваров железной рукой, а потом лежать под щитом в храме или порасти зеленой травой на склоне древней горы, то это Миллисент Брутон. Принадлежность к слабому полу и некоторая расхлябанность мешали ей мыслить логически (к примеру, сама написать в «Таймс» она решительно не в силах), и все же леди Брутон думала об Империи неустанно и благодаря общению с воинственной богиней в доспехах обрела такую воинскую выправку и внушительность, что даже после смерти вряд ли бы рассталась с родной землей и приняла бы бродить по территориям, над которыми

не реет британский флаг. Перестать быть англичанкой даже среди мертвых — немыслимо!

Неужели это леди Брутон, которую она когда-то знала? И с ней поседевший Питер Уолш? — спросила себя леди Россетер, бывшая Сэлли Сетон. И старая мисс Перри — тетушка Клариссы, столь строгая к ней в Бортоне. Невозможно забыть, как она пробежала голая по коридору, а потом мисс Перри вызвала ее для отповеди. И Кларисса! Ах, Кларисса! Сэлли поймала ее за руку.

— Не могу я остаться! — воскликнула Кларисса. — Потерпите, — попросила она Питера и Сэлли, имея в виду, что им нужно подождать, пока гости разойдутся.

— Я вернусь! — пообещала она, глядя на старых друзей, на Сэлли с Питером, которые пожимали друг другу руки, и Сэлли, наверняка вспомнив прошлое, рассмеялась.

Ее голос утратил обворожительную сочность, глаза уже не сияли, как прежде, когда она курила сигары, бегала по коридору в чем мать родила и Эллен Аткинс спросила: «А если кто из джентльменов увидит?» Ей прощалось все. Сэлли стащила из кладовой цыпленка, проголодавшись посреди ночи, курила в спальне сигары, забыла в плоскодонке бесценную книгу. Ее любили все (пожалуй,

кроме папы). Она излучала тепло и жизненную силу — Сэлли рисовала, писала стихи. Деревенские старухи и по сей день спрашивали Клариссу, что сталось с ее подругой в красном плаще, такой талантливой девочкой. Подумать только, она обвинила Хью Уитбреда (кстати, вот и он, старый друг Хью, беседует с португальским послом) в том, что тот поцеловал ее в курительной комнате в наказание за сентенцию о праве женщин голосовать. Какой пошляк, возмущалась Сэлли. И Клариссе пришлось уговаривать подругу не порицать Хью во время семейной молитвы — Сэлли вполне хватило бы на такое, учитывая ее дерзость, тягу к дешевой мелодраме, вечную жажду внимания и привычку закатывать сцены. Кларисса боялась, что грядет какая-нибудь ужасная трагедия, смерть, мученичество; вместо этого Сэлли совершенно неожиданно нашла себе лысого мужа с огромной бутоньеркой, владевшего хлопчатобумажными фабриками в Манчестере, и родила ему пятерых сыновей!

Сэлли с Питером сели рядом и разговорились. Знакомая картина, как в старые добрые времена. Наверняка обсуждают прошлое. Этих двоих (даже больше, чем Ричарда) — объединяет с ней прошлое, и сад, и деревья, и старик Джозеф

Брейткопф, певший Брамса совершенно без голоса, и обои в гостиной, и запах циновок. И Сэлли, и Питер навсегда останутся его неотъемлемой частью. Увы, ей пора. Прибыли супруги Брэдшоу, которых Кларисса недолюбливала. Она должна подойти к леди Брэдшоу (в сером с серебром, балансирует, словно морской лев на краю бассейна, тявкает про приглашения, про герцогинь — типичная жена успешного человека), она должна подойти к леди Брэдшоу и сказать…

Леди Брэдшоу ее опередила:

— Мы ужасно опоздали, дорогая миссис Дэллоуэй, мы едва осмелились прийти.

И седовласый, голубоглазый сэр Уильям, выглядевший весьма представительно, сказал: да, они не смогли побороть искушение. Вероятно, обсуждает с Ричардом законопроект, который они хотят провести через палату общин. Почему при виде того, как он разговаривает с Ричардом, внутри у нее все сжимается? Он выглядит, как и подобает великому доктору. Главное светило в своей сфере, очень влиятельный, изрядно уставший. Неудивительно, учитывая, с какими сложными случаями ему приходится иметь дело — люди, тонущие в пучине отчаяния, люди на грани безумия, мужья и жены несчастных.

Приходится решать вопросы чрезвычайной сложности. И все же, чувствовала Кларисса, сэру Уильяму лучше не попадаться на глаза несчастной. Нет, только не ему.

— Как успехи вашего сына в Итоне? — спросила она у леди Брэдшоу.

Пропустил выпускные экзамены, поделилась леди Брэдшоу, из-за свинки. Отец расстраивается даже сильнее, чем он сам, потому что так и остался большим мальчишкой.

Кларисса перевела взгляд на сэра Уильяма, беседующего с Ричардом. Ничуть не похож на мальчишку. Однажды она водила подругу к нему на прием, спросить совета. Он говорил правильные, очень разумные вещи, но, выйдя на улицу, она испытала огромное облегчение! В приемной сидел какой-то бедняга, вспомнила Кларисса, и рыдал. Впрочем, она не знала, что именно в сэре Уильяме ей не нравится. Ричард с ней согласился: «Не видел бы его и не слышал». И при этом — исключительно талантливый доктор. Они обсуждали законопроект, и сэр Уильям понизил голос, упомянув случай из своей практики. Что-то про отдаленные последствия травматического невроза. В законопроект нужно внести соответствующее положение.

Перейдя на шепот, втягивая миссис Дэллоуэй под укрытие женской солидарности, гордости за выдающиеся качества мужей и их удручающую тягу к сверхурочной работе, леди Брэдшоу (бедняжка, к ней-то неприязни никто не питал) зашептала: «Только мы собрались выходить, мужу позвонили по телефону, очень печальный случай. Молодой человек (об этом сэр Уильям и рассказывает мистеру Дэллоуэю) покончил с собой. Бывший военный». О нет, подумала Кларисса, смерть прямо посреди моего приема.

Она прошла дальше, к маленькой комнате, где уединялись премьер-министр и леди Брутон. Возможно, там занято. Нет, свободно. Кресла все еще стояли криво, напоминая о гостях: она сидела, почтительно повернувшись, он — прямо и властно. Разговаривали об Индии. Теперь здесь никого. Блеск приема осыпался Клариссе под ноги — до чего странно прийти сюда в пышном наряде одной.

Кто дал Брэдшоу право говорить о смерти на ее приеме? Молодой человек покончил с собой, а они это обсуждают прямо здесь — Брэдшоу говорят о смерти! Наложил на себя руки, но как? Когда Кларисса внезапно узнавала о несчастном случае, первым реагировало тело; вот и сейчас

платье вспыхнуло, обожгло кожу. Выбросился из окна. Земля взметнулась, сквозь тело прошли ржавые зубцы ограды, грубо и агрессивно. Пока он лежал, в мозгу бился пульс — раз, другой, третий — и нахлынула темнота. Так привиделось Клариссе. Зачем он это сделал? И как Брэдшоу только посмели говорить об этом на ее приеме!

Лишь однажды Кларисса бросила шиллинг в озеро Серпентин, больше ничего и никогда. Он же отбросил все. Жизнь продолжается (она вернется к гостям — комнаты полны, приходят новые люди). Они (весь день Кларисса думала про Бортон, про Питера, про Сэлли), они-то состарятся. Ему же удалось сохранить то сокровенное, что она портит пустой болтовней, ежедневно оскверняет низменными страстями, ложью, досужими сплетнями. Смерть как открытое неповиновение. Смерть как попытка общения: люди не в силах пробиться друг к другу, таинственным образом расходятся, и близость оборачивается разлукой, наслаждение блекнет, человек остается один. Смерть как принятие.

Молодой человек, который покончил с собой, бросился вниз, крепко сжимая это сокровище. «Умереть сейчас счел бы я высшим счастьем», — сказала Кларисса себе однажды, спускаясь

по лестнице вся в белом.

Поэты и мечтатели — вообще случай особый. Если предположить в нем эту страсть, то встреча с сэром Уильямом Брэдшоу, великим доктором, который вызывает у нее смутный ужас, хотя с женщинами тот необычайно обходителен, причем без малейшего вожделения, и наверняка способен на неописуемо страшное насилие — то есть насилие над духом, — если молодой человек пришел к нему и сэр Уильям произвел на него сходное впечатление, подавил своей волей, то разве не мог он сказать (только теперь Кларисса это прочувствовала): жизнь стала невыносимой, такие люди, как он, делают мою жизнь невыносимой?

И тогда (она поняла только сегодня утром) приходит ужас, наваливается непосильный груз — дар, который тебе вручили родители, твоя жизнь; ее нужно прожить до конца, прожить достойно, и в глубине души царит ужас. Даже теперь, довольно часто, если бы Ричард не сидел с ней рядом, читая «Таймс», и она не могла припасть к нему, как птичка к земле, и постепенно восстановить силы, разразиться восторженной трелью и взмыть в воздух, то непременно погибла бы. А молодой человек покончил с собой…

Почему-то Кларисса восприняла его поступок как личное несчастье, как свой позор. Это ей в наказание — стоять здесь в вечернем платье и видеть, как в бездонном мраке исчезает то мужчина, то женщина. Кларисса вовсе не была идеальной — плела интриги, вела нечестную игру. Ей хотелось успеха. Как леди Бексборо и прочим. А ведь когда-то она гуляла по террасе в Бортоне…

Благодаря Ричарду она счастлива как никогда. Неспешное течение жизни приносит несказанное удовольствие, думала она, поправляя кресла, задвигая книгу обратно на полку, что может быть лучше, чем, покончив с юношескими победами, раствориться в потоке жизни и потом обрести себя вновь, с восторгом наблюдая, как солнце встает, как день клонится к закату. За разговорами в Бортоне она много раз выходила взглянуть на небо или видела его за плечами обедающих, видела его в Лондоне, когда не могла уснуть. Кларисса подошла к окну.

Как ни глупо звучит, в небе — что за городом, что в Вестминстере — частичка ее самой. Кларисса раздвинула шторы и с изумлением обнаружила, что старушка из дома напротив смотрит прямо на нее! Собирается ко сну. И небо — небо

вовсе не мрачное, не темное, как она ожидала, с багровым отсветом на прекрасной щеке, а пепельно-серое со стремительно бегущими облаками. Наверное, поднялся ветер. Соседка ложится спать. Занятно наблюдать, как пожилая леди передвигается по комнате, подходит к окну. Интересно, она ее видит? Занятно наблюдать, как старушка спокойно ложится в постель, а твоя гостиная все еще полна смеха и криков. Задернула шторы. Часы начали бить. Молодой человек покончил с собой, но Клариссе его не жаль — часы пробили час, два, три, — ей не жаль, потому что все продолжается. Пожилая леди погасила свет! Весь дом погрузился в темноту, а у нее все продолжается, повторила Кларисса и вспомнила строчку: «Не страшись палящего зноя». Она должна к ним вернуться. До чего необычайная ночь! Почему-то Кларисса чувствовала себя сродни ему — молодому человеку, который покончил с собой. Ей стало радостно, что он это сделал — отбросил все одним махом. Часы бьют. По воздуху расходятся свинцовые круги. Он заставил ее ощутить красоту, радость жизни. Пора возвращаться. Она должна собрать себя воедино. Она должна найти Сэлли и Питера. И Кларисса вышла из маленькой комнаты.

— Где же Кларисса? — спросил Питер Уолш. Он сидел на диване рядом с Сэлли (после стольких лет он не воспринимал ее как «леди Россетер»). — Куда подевалась эта женщина? Где Кларисса?

Сэлли предположила, и Питер с ней согласился, что среди гостей есть важные люди, политики, известные им обоим в лучшем случае по газетным снимкам, и Кларисса должна их обхаживать, занимать разговорами. Сейчас она с ними. Тем не менее Ричард так и не попал в кабинет министров. Видимо, больших успехов не добился, заметила Сэлли. Сама она редко читает газеты, иногда его имя там мелькает. Впрочем, что с нее взять — живет уединенно, в глуши, как выразилась бы Кларисса, среди крупных коммерсантов, промышленников — словом, людей дела. И сама тоже кое-что сделала!

— У меня пятеро сыновей! — радостно сообщила Сэлли.

Ах, Боже мой, до чего изменилась! Материнство ее смягчило, хотя и сделало еще более эгоистичной. В их последнюю встречу они гуляли при лунном свете среди грядок цветной капусты, чьи листья как грубая бронза, заявила поэтичная Сэлли и сорвала розу. Той ужасной ночью, после сцены у фонтана, они ходили туда-сюда — Пи-

тер ждал полуночного поезда. Господи, как он плакал!

Старый трюк, подумала Сэлли, вечно Питер открывает и закрывает перочинный нож, если волнуется. Они были очень, очень близки, когда он страдал по Клариссе. Однажды за обедом произошла безобразная, нелепая сцена из-за Ричарда Дэллоуэя. Сэлли назвала его Уикхемом. Ну и что такого?! Кларисса вспылила, и с тех пор они почти не виделись — за последние десять лет встречались от силы раз пять. Питер Уолш уехал в Индию, и до нее доходили слухи о его неудачном браке, и она не знала, есть ли у него дети, но спросить не решалась — он сильно изменился. Изрядно усох, зато стал ощутимо добрее, и Сэлли испытывала к нему большую привязанность, ведь они знакомы с юности, и она все еще хранит подаренную им книжечку Эмили Бронте, и сам он вроде хотел писать? По крайней мере, собирался начать.

— Что-нибудь написал? — спросила она, привычным жестом кладя на колено крепкую, красивую руку.

— Ни слова! — воскликнул Питер Уолш, и она рассмеялась.

Сэлли Сетон все еще привлекательна, и лич-

ность она выдающаяся. Кто такой Россетер? На свадьбу он вдел в петлицу две камелии — вот и все, что о нем знал Питер. Кларисса вроде бы писала про «уйму слуг и громадный зимний сад»? Сэлли в ответ громко рассмеялась.

— Да, и у меня десять тысяч годового дохода, — она не помнила, до уплаты налогов или после, ведь всем занимается муж, — вы непременно должны познакомиться, он тебе понравится!

Когда-то Сэлли была той еще оборванкой. Чтобы добраться до Бортона, ей пришлось заложить бабушкино кольцо.

Ах да, вспомнила Сэлли, кольцо до сих пор у нее — прадедушкин перстень с рубином от Марии-Антуанетты. В юности у нее не было ни гроша, и для поездок в Бортон приходилось всячески изворачиваться. Если бы не Бортон, вряд ли бы ей удалось сохранить рассудок — дома она была совершенно несчастна. Впрочем, теперь все в прошлом — все давно кончено. Мистер Перри умер, а мисс Перри еще жива. Такого потрясения он в жизни не испытывал, признался Питер Уолш. Кто бы мог подумать! Похоже, брак у них удачный, предположила Сэлли. А вон та красивая, сдержанная девушка в розовом платье — Элизабет.

(Как тополь, как река, как гиацинт, думал Вилли Титком. Эх, насколько приятнее было бы жить за городом и заниматься тем, что нравится! Элизабет слышала, как тоскливо воет ее бедный пес.) На Клариссу ничуть не похожа, заметил Питер Уолш.

— Ох уж эта Кларисса! — воскликнула Сэлли Сетон.

Сказать по правде, она многим обязана Клариссе. Они были настоящими подругами — не просто знакомыми, а подругами, и до сих пор у нее перед глазами стоит Кларисса в белом платье с охапкой цветов — до сих пор душистый табак напоминает ей о Бортоне. Питер и сам наверняка заметил: Клариссе чего-то не хватает. Чего именно? Как бы поточнее сказать… Обаяния у нее в избытке, она необычайно обаятельна. Откровенно говоря (Питер — старый добрый друг, настоящий друг — разве имеют значение годы или расстояния? Сэлли часто порывалась ему написать, правда; и все же уверена, что он понимает, ведь с возрастом близкие люди начинают понимать друг друга без слов, ведь годы идут, и сегодня она навещала в Итоне своих сыновей, у них свинка), откровенно говоря, как Кларисса могла это сделать? — выйти замуж за Ричарда

Дэллоуэя? За спортсмена, которому нет дела ни до чего, кроме собак. Когда он входил в дом, от него буквально просто разило конюшней! И что в итоге? Она обвела гостиную рукой.

Мимо вальяжно прошествовал Хью Уитбред в белом жилете — упитанный, подслеповатый, не замечающий ничего, кроме себя любимого и собственной выгоды.

— На нас даже не смотрит, — проговорила Сэлли, так и не решившись окликнуть неподражаемого старину Хью. — Чем же он занимается?

Начищает королевские ботинки или считает бутылки в подвалах Виндзора, ответил Питер. Все так же остер на язык! Сэлли, откровенничать так откровенничать: что насчет того поцелуя?

Прямо в губы поцеловал, заверила она, в курительной комнате. Она в ярости помчалась к Клариссе. Хью на такое просто не способен, — заявила Кларисса, — неподражаемый Хью. Ведь у него самые красивые носки, которые ей довелось увидеть! И сегодня одет с иголочки. Дети у него есть?

— У всех присутствующих по шесть сыновей в Итоне, — заметил Питер, кроме него самого. Слава Богу, ни сыновьями, ни дочерьми, ни женой не обзавелся. Похоже, его это не очень-то

расстраивает, сказала Сэлли. Выглядишь моложе нас всех, подумала она.

Питер признался, что изрядно сглупил, женившись на такой наивной дурочке, и все же они «прекрасно провели время». Сэлли задумалась: что же он имеет в виду? Сколько лет знакомы, а она совершенно ничего о нем не знает. Не сказал ли он это из гордости? Наверное, ведь в конце концов остаться без домашнего очага в его-то годы очень горько (впрочем, Питер всегда был чудаковатым, эдакий неприкаянный дух, личность, безусловно, незаурядная). Пусть приезжает к ним и гостит сколько хочет! С удовольствием, конечно, он поживет у них, и так выяснилось: все эти годы супруги Дэллоуэй не приехали к ним ни разу! Их приглашали неоднократно, но Кларисса (разумеется, это решала она) так и не сподобилась. Ведь в глубине души Кларисса — тот еще сноб, заявила Сэлли, да-да, самый натуральный сноб. Потому и избегает общения — Кларисса считает, что Сэлли вышла за простолюдина, за сына шахтера. Сэлли ужасно им гордится — каждое пенни он заработал сам, а в детстве (тут ее голос дрогнул) он таскал тяжелые мешки.

(Про сына шахтера Сэлли может рассказывать часами, понял Питер Уолш, как и про неравный

брак, про пятерых сыновей… Что там еще? Ах да, растения — гортензии, сирень, очень-очень редкий сорт гибискусной лилии, которая севернее Суэцкого канала не встречается, а у нее, всего с одним садовником и в пригороде Манчестера — целые клумбы, буквально клумбы этих лилий! Вот чего удалось избежать Клариссе, подумал он, поскольку материнство ее особо не увлекло.)

Сноб ли она? Да, причем во многих отношениях. Кстати, где она пропадает? Время уже позднее.

— Едва я услышала, что Кларисса дает прием, как поняла: я не могу не прийти, не увидеть ее снова! К тому же остановилась неподалеку, на Виктория-стрит. Вот и решила заявиться без приглашения. А это еще кто? — прошептала Сэлли. — Знаешь ее?

Миссис Гилбери озиралась в поисках двери. Ох, как поздно, бормотала она, и чем темнее становится, тем больше встречаешь старых друзей по укромным уголкам, и виды восхитительные открываются. Знаете, что вокруг зачарованный сад? Огоньки фей, деревья, чудесные сверкающие озера и небо. Всего лишь несколько светильников, объяснила Кларисса Дэллоуэй, в саду за домом. Волшебница! Настоящий парк…

Она не знает, как их зовут, впрочем, друзей видно сразу — друзья без имен, песни без слов всегда самые лучшие. Здесь столько дверей, столько комнат, что заблудиться недолго.

— Старая миссис Гилбери, — пояснил Питер, а это еще кто? Что за леди весь вечер простояла у шторы, ни с кем не разговаривая? Лицо ему знакомо по Бортону. Кажется, постоянно кроила белье на большом столе у окна. Ее звали Дэвидсон?

— Нет, Элли Хендерсон, — вспомнила Сэлли. Кларисса обращалась с ней просто ужасно! Они кузины, однако Элли очень бедна. Кларисса и правда бывает очень сурова к людям.

Пожалуй, согласился Питер. И все же, порывисто добавила Сэлли в своей экспансивной манере, которую он прежде так любил, теперь же побаивался ее восторженности, как щедра Кларисса к друзьям — что за редкое качество, дружба для нее превыше всех благ — перед сном или в канун Рождества она всегда благодарила Бога в первую очередь за дружбу. Они были юными, в том-то все и дело. Кларисса была чистой сердцем, в том-то все и дело. Питер считает ее сентиментальной, ну и что же! К Сэлли наконец пришло понимание: говорить стоит лишь то,

что чувствуешь. Умничать ни к чему. Говори лишь то, что чувствуешь.

— Я не знаю, что чувствую, — сказал Питер Уолш.

Бедный Питер, вздохнула Сэлли. Почему Кларисса к ним не подошла и не поговорила? Именно этого он и ждет весь вечер, думает только о Клариссе и поигрывает ножиком.

Питеру жизнь вовсе не казалась простой, как и его отношения с Клариссой. Испортил себе жизнь, заметил он. (Когда-то они с Сэлли Сетон были так близки, что секреты между ними — абсурд.) Серьезная любовь приходит лишь раз. Что тут скажешь? Лучше так, чем никак (но Питер сочтет ее сентиментальной — раньше бы спуску точно не дал). Пусть непременно приезжает к ним в Манчестер! Она совершенно права, признал он, совершенно права. Как только закончит с делами в Лондоне, непременно отправится к ним погостить.

Кларисса любила его больше, чем Ричарда. Сэлли это знала наверняка.

— Нет-нет-нет! — запротестовал Питер (Сэлли не следовало так говорить — она зашла слишком далеко). Ричард — славный малый, держится молодцом, как всегда, — вон он стоит на другом

конце комнаты. С кем он разговаривает, поинтересовалась Сэлли, что это за импозантный мужчина с ним рядом? Живя в глуши, она отличалась ненасытным любопытством — ей хотелось знать, кто есть кто. Но Питер понятия не имел. Неприятный тип, наверное, из кабинета министров. Из всей этой публики Ричард казался ему самым лучшим — самым бескорыстным.

— И чем он занимается? — спросила Сэлли. Наверное, общественной деятельностью. Они счастливы вместе? Сама Сэлли ужасно счастлива, а про Дэллоуэев ей не известно практически ничего, да и можно ли узнать хорошенько даже тех, с кем живешь под одной крышей? Разве все мы не узники? Она прочла дивную пьесу про человека, который царапал на стене своей камеры, и поняла, что в жизни то же самое — все мы царапаем на стенах. Падая духом из-за непонимания между людьми (какие они все-таки трудные!), она уходит в сад и обретает среди цветов умиротворение, какого не дают ни мужчины, ни женщины. Ну уж нет, капусту он не любит, напомнил Питер, люди гораздо лучше. Конечно, согласилась Сэлли, наблюдая за Элизабет, особенно молодые. Ничуть не напоминает Клариссу в юности! Что он про нее думает? Губ не разомкнет. Пока нет,

согласился Питер. Похожа на лилию, заметила Сэлли, на лилию у озера. Насчет того, что мы ничего не знаем, Питер бы поспорил. Нам известно все, по крайней мере ему.

Вот пара, которая собралась уходить, прошептала Сэлли (кстати, ей тоже пора, разу уж Клариссы все нет), представительный мужчина и его ничем не примечательная жена, беседовавшие с Ричардом, — что можно знать про подобных людей?

— Что эти двое — поганые жулики, — ответил Питер, взглянув на них мельком. Сэлли рассмеялась.

Выходя, сэр Уильям остановился у картины, поискал в углу имя художника. Жена тоже присмотрелась. Сэр Уильям Брэдшоу очень интересовался живописью.

В юности, заметил Питер Уолш, слишком рьяно рвешься узнать людей. Ближе к старости, точнее, в свои пятьдесят два года (Сэлли призналась, что ей пятьдесят пять, хотя в душе она так и осталась двадцатилетней девчонкой), достигнув зрелости, ты способен наблюдать и понимать, еще не утратив силы чувств. И то верно, согласилась Сэлли. С каждым годом она чувствует все глубже и сильней. Увы, способность чувствовать растет, сказал он, но, может, это и к лучшему.

В Индии у него женщина. Ему захотелось рассказать о ней Сэлли, познакомить их. Она замужем, признался Питер. У нее двое маленьких детей. Приезжайте к нам в Манчестер, воскликнула Сэлли, непременно приезжайте!

К примеру, Элизабет не чувствует и половины того, что чувствуем мы, проговорил Питер Уолш. Глядя, как девушка идет к отцу, Сэлли заметила, что они очень привязаны друг к другу. Это видно сразу.

Отец смотрел на нее, разговаривая с четой Брэдшоу, и думал: кто эта прелестная девушка в розовом платье? Внезапно он понял, что это его Элизабет, а он ее не узнал! Беседуя с Вилли Титкомом, Элизабет почувствовала взгляд отца. И подошла к нему, встала рядом — прием заканчивался, гости расходились, комнаты пустели, пол устилал мелкий сор. Даже Элли Хендерсон собралась уходить, чуть ли не последней из всех; никто с ней не разговаривал целый вечер, зато она увидела все своими глазами — теперь будет что рассказать Эдит. Ричард с Элизабет радовались, что прием заканчивается, и все же Ричард гордился дочерью. Сначала не хотел ей говорить, потом не выдержал. Он смотрел на нее, сказал он, и думал: кто же эта прелестная девушка? А это

его дочь! Элизабет стало очень приятно. Еще бы бедный пес не выл…

— Ты прав, Ричард изменился в лучшую сторону, — согласилась Сэлли. — Пойду и поговорю с ним. Пожелаю доброй ночи. В конце концов, — признала леди Россетер, вставая, — разве ум важнее сердца?

— Я догоню, — пообещал Питер Уолш, оставаясь сидеть. Откуда взялся ужас и восторг? Почему он испытывает необычайный душевный подъем?

Это все Кларисса, сказал себе Питер Уолш.

Она стояла в дверях.

На маяк

Окно
1

— Конечно, если погода будет хорошая, — сказала миссис Рамзи. — Но встать придется спозаранку.

Ее сына это необычайно обрадовало, будто все решено, экспедиция непременно состоится и чудо, которого он ждал, казалось, долгие-долгие годы, в пределах досягаемости — только ночь переждать, и можно плыть. Хотя мальчику было всего шесть лет, он принадлежал к великому клану тех, кто не способен отделять одно чувство от другого, зато позволяет будущим перспективам, со всеми их радостями и печалями, затуманивать то, что находится прямо под носом, поскольку для подобных людей даже в раннем детстве любой поворот колеса эмоций способен преобразовать и пронизать текущий момент насквозь, погрузив в сумрак или ярко осветив; и для Джеймса Рамзи, который сидел на полу с ножницами и вырезал картинки из иллюстрированного каталога Универмага армии и флота, благодаря обещанию матери изображение холодильника

преисполнилось неземного блаженства. Радость окаймляла его, словно бахрома. Ручная тележка, газонокосилка, шелест тополей, побелевшая перед дождем листва, грачиный грай, стук швабры, шуршанье платья — все это представало в сознании Джеймса красочным и особенным, потому что у него уже сложился личный свод сигналов, некий тайный язык, хотя со стороны создавалось впечатление, что нрав у мальчика суровый — высокий лоб хмурится при виде человеческих слабостей, голубые глаза, безупречно искренние и чистые, глядят пронзительно, — и мать, наблюдавшая, как аккуратно он ведет ножницами вокруг холодильника, представляла, что сын будет восседать в парламенте в алой мантии, отороченной горностаем, или возглавит какую-нибудь отрасль исключительной важности в кризисный для страны момент.

— Не будет, — заявил отец, останавливаясь перед окном гостиной.

Случись под рукой топор, кочерга или еще что-нибудь острое, чем можно проделать в груди дыру и убить, Джеймс схватил бы его не раздумывая. Вот такие перепады эмоций вызывал у своих детей мистер Рамзи одним лишь присутствием; и сейчас он стоял стройный, как клинок, безжа-

лостный, как лезвие, и язвительно ухмылялся, не только радуясь тому, что развеял иллюзии сына и выставил на посмешище жену, которая в десять тысяч раз лучше его (думал Джеймс), но также тайно кичась своей правотой. Увы, он сказал правду, как всегда. На ложь мистер Рамзи был совершенно неспособен — никогда не искажал фактов, никогда не избегал неприятного слова, чтобы угодить или польстить любому смертному, а в меньшей степени собственным детям, плоть от плоти его; они с детства усвоили, что жизнь трудна, факты непреложны, и для перехода в землю обетованную, где гаснут наши самые светлые надежды, где наши хрупкие барки во мраке идут ко дну (здесь мистер Рамзи расправил бы плечи и прищурился, глядя на горизонт маленькими голубыми глазками), прежде всего требуется мужество, правда и стойкость.

— А может, и будет — надеюсь, что будет, — сказала миссис Рамзи, с досадой крутанув на спицах красновато-коричневый чулок. Если успеет закончить сегодня, если они все-таки поедут на маяк, то отдаст смотрителю для его маленького сынишки, у которого подозревают туберкулез бедренной кости; вместе со стопкой старых журналов, табаком и всем, что валяется

по дому, никому особо не нужное — беднягам, наверное, до смерти наскучило сидеть день-деньской без дела, ведь сколько можно надраивать лампу, подрезать фитиль и копаться на узкой полоске земли; чтобы хоть как-то развлечься, сгодится что угодно. Кому понравится сидеть по месяцу или даже больше, если разыграется шторм, на скале размером с теннисную площадку? — спрашивала миссис Рамзи, — без писем и без газет, ни с кем не видясь; каково людям семейным вдали от жены и детей, не зная, вдруг те заболели, вдруг упали и поломали руки-ноги; каково смотреть неделя за неделей на одни и те же унылые волны, а потом грянет страшный шторм — в окна летят соленые брызги, птицы бьются о лампу, все здание раскачивается, и ты не можешь носа за дверь высунуть, чтобы не унесло в море? Как вам такое понравится? — спрашивала она, обращаясь прежде всего к дочерям. Поэтому, заключила она немного сбивчиво, нужно снабжать их любыми полезными мелочами, какими получится.

— Дует прямо на запад, — сообщил Тэнсли-атеист, сопровождавший мистера Рамзи на вечерней прогулке по террасе, и растопырил на ветру костлявые пальцы. Он имел в виду, что для высадки

на маяке направление ветра наиболее неудачное. Тэнсли и в самом деле говорит пренеприятные вещи, признала миссис Рамзи, с его стороны просто гадко талдычить одно и то же и расстраивать Джеймса еще больше, но в то же время в обиду она его не даст. Домашние прозвали Тэнсли атеистом, мелким атеистом. Над ним потешалась Роуз, потешалась Прю; над ним издевались Энди, Джаспер, Роджер, даже старый беззубый Бэджер умудрился его тяпнуть, потому что (как выразилась Нэнси) Тэнсли имел наглость стать сто десятым по счету молодым человеком, который увязался за ними до самых Гебридов, хотя побыть одному намного приятнее.

— Чушь! — сурово отрезала миссис Рамзи. В отличие от склонности к преувеличению, унаследованной детьми от нее, и справедливого намека на то, что она приглашает слишком многих и для них даже приходится снимать жилье в городе, неучтивости к своим гостям она не прощала, особенно к молодым людям — бедным как церковные мыши, «необычайно одаренным юношам», как выразился ее муж, почитателям его таланта, которые приезжали к ним на каникулы. Безусловно, противоположный пол миссис Рамзи взяла под свою защиту, причем по непо-

нятным даже для нее самой мотивам — то ли из-за присущего мужчинам рыцарского духа, то ли из-за того, что они заключают международные договоры, управляют Индией, контролируют финансы, то ли из-за доброго отношения к ней, ведь любая женщина чувствует и ценит доверительное, по-детски простое, почтительное обращение; женщина немолодая вправе принимать его, не теряя достоинства, и горе той девушке — не дай Бог ею станет одна из ее дочерей! — которая неспособна этого оценить и прочувствовать до мозга костей!

Она строго осадила Нэнси. Тэнсли за ними вовсе не увязался — его пригласили.

Нужно что-нибудь придумать, вздохнула она. Возможно, найдется выход более простой, менее затратный. Глядя в зеркало на свои седеющие волосы, на запавшие щеки, миссис Рамзи думала, что в пятьдесят лет могла бы справляться и лучше — и с мужем, и с деньгами, и с его книгами, однако о принятом решении ни секунды не жалела, от трудностей не уклонялась и своими обязанностями не пренебрегала. Сейчас, после отповеди за Чарльза Тэнсли, вид у нее был грозный, и ее дочери — Прю, Нэнси, Роуз — молча переглядывались поверх тарелок, легкомысленно лелея

кощунственные замыслы о совершенно другой жизни где-нибудь в Париже, жизни праздной, без лишних забот; судя по лицам, они изрядно сомневались в рыцарском духе, Банке Англии и Индийской империи, перстнях и кружевах, хотя и не могли не признать во всем этом красоту, что пробуждало в девичьих сердцах отвагу и заставляло, пока они сидели за столом под пристальным взглядом матери, больше ценить ее непривычную строгость и предельную обходительность; так королева омывает грязные ноги нищего, преклонив колена; так и их мать устроила им выговор из-за несчастного атеиста, что увязался — точнее сказать, принял приглашение пожить у них на острове Скай.

— Завтра у маяка точно не причалить, — заявил Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя у окна рядом с ее мужем. Наговорил он достаточно! Почему бы не оставить их с Джеймсом в покое и не продолжить свою беседу? Она посмотрела на него. Жалкий тип, как сказали ее дети, просто недоразумение ходячее. В крикет не играет, всех шпыняет, всюду сует свой нос. Эндрю назвал его язвой. Они-то знали, что нравится ему больше всего — расхаживать взад-вперед с мистером Рамзи и говорить о чужих достижениях:

кто в университете «первоклассный знаток» стихотворной латыни, кто «блестящий ум, но, полагаю, совершенно порочный», кто «безусловно, самый способный парень в Баллиоле», кто зарыл свой талант во второсортном университете вроде Бристольского или Бредфордского, но о нем еще услышат, когда его пролегомены то ли по математике, то ли по философии — в доказательство мистер Тэнсли готов представить мистеру Рамзи первые страницы, если угодно, они у него с собой — наконец увидят свет. Вот о чем они вечно говорят.

Порой миссис Рамзи не могла удержаться от смеха. На днях она сказала, что «волны высоки как горы». Да, согласился Чарльз Тэнсли, море слегка волнуется. «Разве вы не вымокли до костей?» — спросила она. «Сыровато, но не настолько», — ответил Тэнсли, пощупав рукава и носки.

Однако детей раздражали в нем вовсе не манеры и не выражение лица. Дело было в самом Тэнсли — в его образе мыслей. Стоило завести речь о чем-нибудь интересном — о людях, о музыке, об истории — о чем угодно, стоило просто сказать, что вечер погожий и почему бы не посидеть на свежем воздухе, как Чарльз Тэнсли

тут же норовил перевернуть все с ног на голову, перевести разговор на себя любимого, да еще унизить их! Даже придя в картинную галерею, он непременно спросит, нравится ли им его галстук. Видит Бог, воскликнула Роуз, кто такое выдержит?

Восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рамзи исчезли сразу после ужина, словно быстроногие олени, отправившись по своим комнатам, ведь в этом доме им больше негде было уединиться и что-нибудь обсудить — да все, что угодно, вроде галстука Тэнсли, реформы избирательной системы, морских птиц и бабочек, прислуги; а в залитых солнцем комнатушках на чердаке, разделенных лишь тонкими перегородками, из-за чего был слышен каждый шаг и рыдания швейцарской девушки, чей отец умирал от рака в альпийской долине Граубюнден, лучи падали полосами на крикетные биты, спортивные брюки, соломенные шляпы, чернильницы, баночки с краской, жуков и мелкие птичьи черепа, выпаривая запах соли из висящих по стенам пучков длинных водорослей и пляжных полотенец, шершавых от въевшегося песка.

Жаль, что раздоры, разногласия, предубеждения вплелись в самую ткань их бытия столь

рано, сокрушалась миссис Рамзи. Дети такие мелочные, несут сплошную чушь! Она вышла из столовой, держа Джеймса за руку, потому что идти с остальными он не хотел. Что за ерунда, зачем выдумывать различия, если люди и так все разные? В жизни и без того хватает различий, думала она, стоя у окна гостиной. К примеру, между богатыми и бедными, знатными и простыми: ведь и сама она невольно питала уважение к высокому происхождению, поскольку в жилах ее текла кровь весьма благородного, хотя и полумифического итальянского рода, чьи дочери в девятнадцатом веке расселились по гостиным всей Англии, так очаровательно пришепетывая, так бурно проявляя чувства, и всем своим остроумием, манерой держаться, темпераментом она обязана им, а вовсе не апатичным англичанам или флегматичным шотландцам. Но гораздо глубже она погрузилась в размышления о другой проблеме — о богатых и бедных, о том, что видела своими глазами еженедельно, ежедневно и здесь, и в Лондоне, лично навещая бедную вдову или измотанную нуждой жену, входя в чужой дом с сумкой, блокнотом и карандашом, которым записывала в аккуратно разлинованные колонки заработную плату и расходы занятых

и безработных, надеясь таким образом из обычной женщины, чья благотворительность служит попыткой отчасти задобрить свое негодование, отчасти облегчить любопытство праздного, неразвитого ума, сделаться отважным исследователем, изучающим социальную проблему.

И в самом деле, вопросы неразрешимые, думала миссис Рамзи, держа ребенка за руку. Нелепый молодой человек, над которым все потешались, увязался за ней в гостиную и теперь маячил возле стола, неловко теребя что-то в руках и чувствуя себя лишним. Все остальные ушли — дети, Минта Дойл с Полом Рэйли, Август Кармайкл, ее муж — все. Она вздохнула и спросила: «Вам не скучно будет прогуляться со мной, мистер Тэнсли?»

Пара рутинных дел в городе, нужно написать пару писем — минут через десять она будет готова, только шляпу наденет. И десять минут спустя миссис Рамзи вернулась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, полностью экипирована для прогулки, которую пришлось ненадолго прервать, когда они проходили мимо теннисной площадки, чтобы спросить у мистера Кармайкла, с блаженством развалившегося на солнышке и щурившего желтые кошачьи глаза — в них отражались ветви деревьев и бегущие по небу

облака, но ни намека на мысли или чувства, — не нужно ли ему чего.

Грядет великая экспедиция, со смехом объяснила миссис Рамзи. Вылазка в город. «Марки, писчая бумага, табак?» — подсказала она, останавливаясь неподалеку. Нет, ничего не нужно. Руки сомкнулись на объемистом животе, глаза замигали, словно он хотел ответить на ее уговоры со всей любезностью (так обаятельна, пусть и слегка нервозна), но не смог, утонув в серо-зеленой дремоте, обволакивающей их без лишних слов безбрежной и благостной летаргией доброжелательности — весь дом, весь мир, всех людей — как думали дети, за ланчем он добавил себе пару капель настойки, оставившей на молочно-белых усах и бороде канареечно-желтый след. Нет, ничего, пробормотал мистер Кармайкл.

Из него вышел бы великий философ, заметила миссис Рамзи, шагая по дороге к рыбацкой деревушке, но помешала неудачная женитьба. Держа зонтик очень прямо и двигаясь с неописуемой грацией, словно предвкушая приятную встречу прямо за углом, она рассказывала его историю: роман в Оксфорде, ранний брак, нищета, поездка в Индию, перевод поэзии («очень красивой, полагаю»), желание учить мальчиков персидскому

или хиндустани, хотя какой в этом толк? — а теперь просто лежит, как они только что видели, на лужайке.

Несмотря на пренебрежение остальных домочадцев, откровенность миссис Рамзи ему польстила. Чарльз Тэнсли воспрянул духом. Намекнув на превосходство мужского интеллекта, даже в упадке, на необходимость всем женам подчиняться — она не винила девушку, ведь брак наверняка был довольно счастливым, — отдавать себя целиком заботе о мужьях, она заставила Тэнсли гордиться тем, что он уже успел в жизни, и ему захотелось взять кеб, к примеру, и оплатить поездку. Как насчет сумочки — он мог бы ее понести. Нет-нет, ответила миссис Рамзи, она всегда справляется сама. Да, так и есть. В ней чувствовалось что-то такое. В ее присутствии он ощущал непонятное волнение и трепет, сам не понимая почему. Ему хотелось, чтобы она увидела его в мантии с капюшоном, шагающим среди других магистров. Аспирантура, должность профессора — он был готов на все и видел себя… На что она смотрит? Человек клеит плакат. Огромный, хлопающий на ветру лист распластался, и каждый взмах кисти открывал голые ноги, обручи, лошадей, сверкающие красные и синие попоны, такой

красивый и гладкий — пока полстены не заняла цирковая афиша; сотня наездников, двадцать дрессированных тюленей, львы, тигры… Подавшись вперед и близоруко щурясь, миссис Рамзи прочла: «Приезжают в город». Какое опасное занятие для однорукого, воскликнула она, стоять на самом верху лестницы — два года назад ему отрезало жаткой левую руку.

— Давайте сходим все вместе! — вскричала она, при виде наездников и лошадей обрадовавшись, как дитя, и позабыв про жалость.

— Давайте, — согласился он, повторяя ее слова, однако проговорил их с таким смущением, что она поморщилась. — Давайте сходим в цирк все вместе.

Нет, не может он произнести их правильно. Не может их прочувствовать. Почему же, задумалась миссис Рамзи. Что с ним не так? Сейчас Тэнсли вызывал у нее самые теплые чувства. Разве вас не водили в цирк в детстве, удивилась она. Никогда, ответил он с готовностью, словно именно этого вопроса и ждал, мечтая признаться, что в цирк их не водили. Семья большая, девять братьев и сестер, отец много работал. «Мой отец — аптекарь, миссис Рамзи. У него своя аптека». Чарльз привык обеспечивать себя сам

с тринадцати лет. Зимой он часто не мог себе позволить теплое пальто. В колледже никогда не мог «оказать ответное гостеприимство», сухо и церемонно пояснил он. Ему приходилось пользоваться вещами в два раза дольше, чем другим, курить самый дешевый табак — махорку, как старикам в порту. Он тяжело работал, по семь часов в день, и теперь изучал влияние чего-то на кого-то — они шли дальше, и миссис Рамзи не вполне улавливала смысл, только слова, слова, слова… Диссертация, стипендия, доцентура, лекции. Она не поспевала за уродливым академическим жаргоном, звучавшим весьма напыщенно, зато поняла, почему предложение сходить в цирк выбило беднягу из колеи, почему он бросился рассказывать про отца и мать, про братьев и сестер, и теперь она позаботится о том, чтобы над ним больше не потешались, — она все-все объяснит Прю. Пожалуй, подумала она, ему больше понравилось бы рассказывать всем, как он ходил с семейством Рамзи не в цирк, а на Ибсена. Что за ужасный педант — просто невыносимый зануда! Хотя они уже добрались до городка и шли по центральной улице, где по булыжной мостовой грохотали телеги, он продолжал вещать про выбранное поприще, про простых трудяг,

про помощь своему классу и про лекции, пока до нее не дошло, что Тэнсли обрел былую уверенность, вполне оправился после цирка и вот-вот расскажет ей про (миссис Рамзи снова преисполнилась теплых чувств)… Внезапно дома расступились — перед ними лежала бухта. Миссис Рамзи восхищенно воскликнула: «Как красиво!» Посредине огромной голубой глади виднелся далекий, суровый, старый маяк, справа, насколько хватало глаз, мягкими складками тянулись поросшие буйной зеленью песчаные дюны, навевая мысли о безлюдном лунном ландшафте.

Этот вид, сказала она, останавливаясь и глядя на море потемневшими глазами, ее муж особенно любит. Миссис Рамзи помолчала. Теперь бухту облюбовали художники, заметила она. И в самом деле, неподалеку стоял один, в панаме и желтых ботинках, важный, неторопливый, и увлеченно вглядывался в даль, не обращая внимания на ватагу наблюдающих за ним маленьких мальчиков, насмотревшись, макал кончик кисти в мягкий оттенок зеленого или розового. С тех пор как три года назад тут побывал мистер Понсфорт, все картины стали одинаковыми — зеленовато-серые, с лимонными яхтами и розовыми женщинами на пляже.

То ли дело друзья ее бабушки, сказала миссис Рамзи, мельком взглянув на картину, вот кто не жалел сил, выдумывая свою палитру: сами смешивали пигменты, сами растирали краски, а потом прикрывали влажными тряпками, чтобы не засохли.

Насколько понял Тэнсли, она имеет в виду, что картина того художника посредственная? Краски недостаточно добротны? Так вроде говорят? Под влиянием необычайного чувства, которое росло в нем всю прогулку, зародилось в саду, когда ему захотелось понести ее сумку, усилилось в городе, когда ему захотелось рассказать про себя, он увидел себя и все, что знал прежде, в несколько ином, искаженном свете. Ужасно странно!

Он стоял в гостиной убогого домишки и ждал, пока миссис Рамзи повидается с женщиной, которую пришла навестить. Слушая над головой торопливые шаги, жизнерадостный, потом приглушенный голос, Тэнсли разглядывал салфетки, коробочки для чая, абажуры и ждал с нетерпением, намереваясь нести ее сумку; услышал, как она выходит, хлопает дверью, говорит, что окна нужно держать открытыми, а двери — наоборот, спрашивает у кого-то в доме, не нужно ли чего

(наверное, у ребенка), и вдруг она вернулась, молча постояла (словно там, наверху, притворялась, теперь же вновь стала собой), неподвижно замерев под картиной королевы Виктории с синей лентой ордена Подвязки на плече, и внезапно он понял, понял главное: красивее женщины он не встречал!

В глазах ее звезды, вуаль в волосах, цикламены и дикие фиалки — что за чушь лезет в голову?! Ей по меньшей мере пятьдесят, у нее восемь детей! Идет по цветущим лугам, прижимая к груди сломанные веточки, упавших оленят, в глазах — звезды, в волосах — ветер… Он взял у нее сумку.

— Всего хорошего, Элси, — проговорила она и вышла на улицу, держа зонтик очень прямо и двигаясь с неописуемой грацией, словно предвкушая приятную встречу прямо за углом, и Чарльз Тэнсли впервые в жизни почувствовал необычайную гордость; рывший канаву человек перестал рыть и уставился на миссис Рамзи, уронил руку и смотрел, и впервые в жизни Чарльз Тэнсли почувствовал необычайную гордость, почувствовал порыв ветра, запах цикламенов и фиалок, потому что шел с красивой женщиной. И наконец взял у нее сумку.

2

— На маяк завтра не поедешь, Джеймс, — сказал Тэнсли, из уважения к миссис Рамзи пытаясь смягчить голос и изобразить хотя бы подобие участия.

Ну что за жалкий тип, подумала она, к чему твердить одно и то же?

3

— А может, ты проснешься и увидишь, что солнышко светит и птички поют, — сочувственно проговорила миссис Рамзи, гладя ребенка по голове. Она видела, как сильно Джеймсу хочется поехать на маяк, как расстроило его ядовитое замечание отца о непогоде, и тут еще этот жалкий тип влез и талдычит одно и то же.

— Может, завтра распогодится, — повторила она, приглаживая его волосы.

Теперь оставалось лишь восхищаться холодильником и листать каталог универмага в надежде найти грабли или газонокосилку, чьи зубцы и рукоятки нужно вырезать с огром-

ным мастерством и аккуратностью. Все эти юнцы склонны подражать ее мужу, стоит ему сказать, что будет дождь, так они предрекают по меньшей мере торнадо.

Едва она перевернула страницу, как поиски подходящей картинки с граблями или газонокосилкой прервались. Приглушенный гул грубых голосов, нарушаемый лишь курением трубок, недвусмысленно свидетельствовал, что мужчины благополучно беседуют, хотя слов миссис Рамзи не могла разобрать (она сидела у открытого окна, выходящего на террасу), и вдруг этот звук, длившийся добрых полчаса и перекрывавший все прочие, вроде ударов крикетных бит по мячу, пронзительных детских криков «Ну как? Ну как?», внезапно стих, и монотонный прибой, задававший ровный, спокойный темп ее мыслям, пока она сидела с детьми, утешительно повторявший слова старой колыбельной, которую, казалось, шепчет сама природа: «Я тебя сберегу, я беду отведу», в иные моменты внезапно и совершенно неожиданно, в особенности когда она отвлекалась от повседневных забот, утрачивал всю благостность, грохотал призрачной барабанной дробью и безжалостно отмерял ход жизни, навевал мысли о гибели острова в морской пу-

чине, предупреждал ее, чьи дни стремительно пролетали, об эфемерности всего сущего — этот звук, который до недавнего времени скрывался иными звуками, гулко прогремел в ее ушах и заставил в ужасе поднять взгляд.

Разговор прервался — вот в чем дело. Словно в отместку за ненужный расход эмоций, миссис Рамзи вмиг перешла от чрезвычайного напряжения в другую крайность — ей стало спокойно, весело, и она даже позволила себе толику злорадства: судя по всему, Чарли Тэнсли ретировался. Ее это ничуть не встревожило. Если мужу надобна жертва, пусть берет Чарли Тэнсли, который так третирует ее маленького сына!

Еще мгновение она прислушивалась, подняв голову, в ожидании привычного шума, ровного механического звука; затем из сада донеслась ритмичная фраза — то ли стих, то ли песня, — муж расхаживал по террасе взад-вперед, хрипло напевая себе под нос, и миссис Рамзи утешилась вновь, уверившись, что все в порядке, опустила взгляд на каталог и сразу обнаружила подходящую картинку — перочинный нож с шестью лезвиями, который Джеймс сможет вырезать, только если очень постарается.

Внезапно раздался громкий крик, напоминаю-

щий вопль разбуженного лунатика, что-то вроде

Под шквалом шрапнели и снарядов[4]

резануло по ушам, заставив миссис Рамзи испуганно оглянуться — не услышали бы посторонние! К счастью, кроме Лили Бриско, поблизости не было никого, а она не в счет. При виде мольберта на краю лужайки миссис Рамзи вспомнила, что должна позировать с опущенной головой для картины Лили. Картина Лили! Миссис Рамзи улыбнулась. С узкими китайскими глазками и мелкой мордашкой ей никогда не выйти замуж, да и художества ее принимать всерьез не стоит, впрочем, миссис Рамзи нравилась независимая девушка, и она опустила голову, помня свое обещание.

4

На самом деле он едва не опрокинул мольберт, выскочив прямо на нее, размахивая руками и вопя во все горло: «Храбро мы мчались вперед!», но,

---

[4] Сноски: 4

Здесь и далее мистер Рамзи декламирует стихотворение Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии», посвященное битве при Балаклаве во время Русско-турецкой войны 1854 года. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

к счастью, вовремя осадил и поскакал дальше, как поняла Лили, чтобы пасть смертью храбрых на высотах Балаклавы. До чего смешон и в то же время страшен! И все же, пока мистер Рамзи ведет себя подобным образом, мечется и кричит, ей ничего не угрожает — он не остановится и не будет смотреть на картину. Лили Бриско этого не выносила. Разглядывая композицию, линии, цвета, миссис Рамзи, сидящую у открытого окна с Джеймсом, девушка настороженно наблюдала за окрестностями, чтобы никто не подкрался незамеченным и не подсмотрел. Чувства ее обострились до предела, от стены и клематиса Жакманна рябило в глазах, и тут она почуяла, что кто-то выходит из-за дома и приближается к ней; по походке угадала Уильяма Бэнкса, и, хотя кисть в руке дрогнула, Лили не стала переворачивать холст, как сделала бы при появлении мистера Тэнсли, Пола Рэйли, Минты Дойл или любого другого. Позади нее остановился Уильям Бэнкс.

Оба снимали жилье в деревне и, входя и выходя, расставаясь вечером у дверей, иногда обменивались замечаниями о супе, о детях, о том о сем, что сделало их союзниками, и теперь он стоял позади нее с бесстрастным видом (по возрасту он

годился ей в отцы — ботаник, вдовец, благоухает мылом, крайне щепетильный и опрятный), и она осталась на месте. Он отметил, что туфли у нее превосходные, широкие, движений пальцев не стесняют. Проживая с ней в одном доме, он также обратил внимание, как регулярно она занимается живописью — встает задолго до завтрака и пишет картины в одиночестве; вероятно, бедна, и ни миловидность, ни обаяние мисс Дойл ей несвойственны, зато она весьма проницательна, что намного предпочтительнее. К примеру, когда Рамзи обрушился на них, крича и размахивая руками, мисс Бриско наверняка все поняла.

Допущена фатальная ошибка!

Мистер Рамзи смотрел на них пристально. Он смотрел на них, не видя. Почему-то обоим стало неуютно. Они увидели то, что не предназначалось для чужих глаз, вторглись в чужую жизнь. Вероятно, подумала Лили, поэтому мистер Бэнкс почти сразу и решил покинуть пределы слышимости, воспользовавшись первым подходящим предлогом: сказал, что стало прохладно, и пригласил ее немного пройтись. Да, она пойдет. Но взгляд от картины Лили оторвала с большим трудом.

Клематис пылал лиловым, стена была ослепительно-белой. Лили не решилась бы нарушать оригинальные цвета, потому что видела их именно такими, хотя в свете новейших веяний, особенно после визита мистера Понсфорта, полагалось видеть все в бледных, изысканных, полупрозрачных оттенках. А ведь кроме цвета, есть еще и форма… Она видела все так четко, так уверенно, однако стоило взять в руки кисть, как все менялось. Именно в тот миг, когда она переводила взгляд с натуры на холст, ее охватывали сомнения, порой доводя до слез и делая переход от замысла к творению устрашающим, как темный коридор для ребенка. Ей часто приходилось бороться изо всех сил, чтобы сохранить самообладание, сказать себе: «Но я ведь так вижу, я вижу именно так» и тем самым прижать жалкие остатки своего видения к груди, борясь с неисчислимым воинством, норовящим вырвать его прямо из рук. Ощущая гнетущее чувство тревоги, она начинала писать, и на нее разом обрушивалось все — и собственная никчемность, и бесталанность, и необходимость заботиться об отце, живущем на задворках Бромптон-роуд, и так и тянуло броситься (слава небесам, до сих пор ей удавалось сдержать порыв) перед миссис

Рамзи на колени и воскликнуть — но что она могла сказать? Я влюблена в вас? Нет, неправда. Я влюблена в это все! — и обвести рукой зеленую изгородь, дом, детей. Нелепо, немыслимо!..

Лили аккуратно сложила кисти в ящичек и сказала Уильяму Бэнксу:

— Холодает теперь быстро. Видимо, солнце дает меньше тепла, — проговорила она, оглянувшись по сторонам. Хотя было еще достаточно светло, трава росла мягкая и пышная, дом утопал в зелени и лиловых страстоцветах, грачи роняли спокойные крики из высокой синевы, в воздухе что-то чувствовалось — сверкнуло, промелькнуло серебристым крылом. Уже сентябрь, середина сентября, и седьмой час вечера. И они отправились по саду привычным маршрутом, мимо площадки для игры в теннис, мимо пампасной травы к прогалу в густой изгороди, по бокам которого часовыми стояли книпхофии, пламенея, словно горящие угли, и сквозь них синие воды залива казались необычайно яркими.

Они исправно приходили туда каждый вечер, влекомые непонятной нуждой. Как будто в морской воде их застывшие на берегу мысли оживали и отправлялись в свободное плаванье, и тела испытывали буквально физическое

облегчение. Синева пульсировала, сердце расширялось с ней вместе, и тело пускалось вплавь, через миг врезалось в колючую черноту мятущихся волн и замирало. Изредка из-за огромной черной скалы вырывался белый фонтан воды; ждать его приходилось долго, а видеть было радостно, и в томительном ожидании на бледном полукруглом берегу они наблюдали, как гладкая волна набегает на волну, затягивая залив перламутровой пленкой.

Стоя там, они улыбались. Оба чувствовали общее оживление, радуясь бегу волн и плавным движениям парусника, который заложил вираж и остановился, дрогнул, и паруса опали; повинуясь естественному стремлению завершить картину, оба перевели взгляд на дюны вдалеке и внезапно ощутили печаль, отчасти потому, что картина приобрела законченный вид, отчасти потому, что дальние виды переживут любого наблюдателя на миллион лет (подумала Лили) и уже соединились с небом, созерцающим погруженную в покой землю.

Глядя на далекие песчаные холмы, Уильям Бэнкс подумал о Рамзи посреди Вестморленда, представил, как тот бредет по сельской дороге, окруженный столь типичным для него ореолом

одиночества. Внезапно Бэнксу вспомнился реальный случай: курица растопырила крылья, защищая выводок цыплят, и Рамзи остановился, ткнул тростью и проговорил: «Мило, очень мило!», явив себя с совершенно неожиданной стороны — показав свою простоту и добродушие, но именно после этого, мнилось Бэнксу, их дружба сошла на нет. Вскоре Рамзи женился. То одно, то другое, и дружба измельчала. Он не мог бы сказать, чья в том вина, просто через некоторое время новизна сменилась однообразием. При встречах они лишь повторяли уже сказанное. Тем не менее в безмолвном диалоге с песчаными дюнами он осознал, что привязанность к Рамзи ничуть не угасла, и, как тело юноши, пролежавшее в торфяных болотах целое столетие, сохранило алость губ, так и дружба, погребенная в дюнах возле залива, не утратила ни остроты, ни истинности.

Во имя этой дружбы и, вероятно, желания убедить себя, что вовсе не очерствел и не скукожился — ведь Рамзи живет с выводком детей, в то время как Бэнкс бездетный вдовец, — ему не хотелось, чтобы Лили Бриско недооценивала Рамзи (человека по-своему великого) и все же поняла, что стоит между ними. Начавшись много лет

назад, их дружба исчерпала себя на сельской дороге в Вестморленде, где курица растопырила крылья, защищая своих цыплят. Рамзи женился, пути их разошлись, в чем нет ничьей вины, и при встречах оба стали повторяться.

Вот, собственно, и все. Он закончил, повернулся к заливу спиной. Собравшись идти обратно другим путем, по подъездной дорожке, мистер Бэнкс внезапно осознал то, чего не понял бы без откровения песчаных холмов, без тела с алыми губами, погребенного в торфяных болотах — к примеру, сейчас малышка Кэм, младшая дочь Рамзи, рвала на берегу душистую резеду. Взбалмошная вредина! Отказалась «дать джентльмену цветочек», как велит няня. Нет-нет-нет! Ни за что! Сжала кулачок, затопала ножками. Мистер Бэнкс почувствовал себя старым, загрустил и понял, что дружба ни при чем. Пожалуй, он все-таки очерствел и скукожился.

Рамзи небогаты, и просто удивительно, как им удается сводить концы с концами. Восемь отпрысков! Содержать восьмерых детей за счет философии! Вот и еще один прошел мимо, на этот раз Джаспер, собрался птиц пострелять, беззаботно сообщил он, покачав руку Лили, словно рычаг насоса, и мистер Бэнкс с горечью заметил: она-то

пользуется у них успехом. К тому же всех следует выучить (правда, у миссис Рамзи могут быть и свои средства), не говоря о постоянных расходах на ботинки и чулки для этих славных ребят — рослых, задиристых, бессердечных юнцов. Он особо не различал, кто из них кто, кто за кем идет, поэтому про себя окрестил их в честь английских королей и королев: Кэм Злая, Джеймс Бесщадный, Эндрю Разумный, Прю Красивая — ведь Прю наверняка вырастет красавицей, тут уж ничего не поделаешь, а Эндрю — умницей. Поднимаясь по дорожке, Лили Бриско отвечала «да» и «нет», отметала критические замечания в их адрес (она любила всех Рамзи поголовно, любила весь свет), а мистер Бэнкс тем временем размышлял о положении Рамзи, то сочувствовал ему, то завидовал, ведь все происходило у него на глазах — тот добровольно отказался от ореола уединения и аскетизма, венчавшего его в юности, обременил себя многочисленным семейством, над которым теперь кудахтал, расправив крылышки. Следует признать, подобная жизнь не лишена кое-каких радостей — к примеру, приятно, когда малютка Кэм продевает цветок тебе в петличку или залезает на плечи, как к отцу, чтобы посмотреть на картину извер-

жения Везувия, но старые друзья видят: дети в нем что-то сломали. Интересно, что думают посторонние? Что думает Лили Бриско? Разве никто не замечает его странных повадок? Чудачеств, даже слабостей? Поразительно, насколько человек подобного ума низко пал — нет, пожалуй, слишком сильно сказано — падок на похвалу.

— Да, но подумайте о его работе! — воскликнула Лили.

Всякий раз, «думая о его работе», она представляла большой кухонный стол. Так вышло с легкой руки Эндрю. Однажды Лили спросила, о чем книги его отца. «Субъект, объект и природа реальности», — ответил Эндрю. И она воскликнула: «Господи, да я понятия не имею, что это значит!», на что Эндрю заметил: «Представьте кухонный стол, когда вас нет на кухне».

И теперь, думая про работу мистера Рамзи, она всегда видела кухонный стол. Сейчас он застрял в развилке груши, поскольку они уже добрались до сада. Мучительным усилием Лили сосредоточилась не на бугристой коре дерева или похожих на рыбок серебристых листьях, а на воображаемом кухонном столе — одном из тех выскобленных дочиста деревянных столов, щербатых и узорчатых, чьи достоинства обнажаются

с годами безупречной прочности, который торчал вверх тормашками, задрав все четыре ноги. Разумеется, если все твои дни проходят за созерцанием угловатых сущностей, если ты лишаешь себя прелестных вечеров с розовыми, как фламинго, облачками, небесной синевой и серебром, променяв их на белый стол с четырьмя ножками (ведь так поступают все лучшие умы), разумеется, тебя нельзя судить как обычного человека.

Мистеру Бэнксу понравился ее совет «подумать о его работе». Он и думал, причем часто. Много раз говорил, что Рамзи — из тех умов, что создают свои лучшие работы до сорока. В двадцать пять лет он внес значимый вклад в философию, написав маленькую книжечку, остальное — лишь дополнение к сказанному, повторение. Тем не менее число тех, кто вносит значимый вклад хоть куда-нибудь, очень мало, заметил он, останавливаясь возле груши — такой опрятный, безупречно точный, изысканно рассудительный. Внезапно, словно повинуясь движению его руки, весь запас накопленных Лили впечатлений о нем опрокинулся и хлынул мощным оползнем. Это было первое ощущение. Потом в клубах пыли проступила его истинная сущность. Это было второе. Лили поразилась

остроте своего восприятия — взыскательности, нравственному величию мистера Бэнкса. Я вас уважаю (обратилась она к нему без слов) до последнего атома, вы ничуть не тщеславны, вы совершенно объективны, вы гораздо лучше мистера Рамзи — вы самый лучший из всех, кого я знаю, у вас ни жены, ни детей (не испытывая сексуального влечения, она все же рвалась скрасить его одиночество), вы живете ради науки (ее взгляд невольно обозрел картофельные грядки), похвалы только оскорбят вас, такого щедрого, такого чистого сердцем, такого незаурядного! И в то же время ей вспомнилось, как он привез сюда лакея, как гонял с кресел собак, как нудно разглагольствовал (пока мистер Рамзи не выбежал из комнаты, хлопнув дверью) о содержании минеральных солей в овощах и о бездарности английских кухарок.

Что же получается? Как можно судить других, думать про них? Как можно складывать первое со вторым и заключать, испытываешь ты к человеку симпатию или неприязнь? И какой в итоге смысл нам вкладывать в эти слова? Лили Бриско застыла у груши, изнемогая под потоками впечатлений об этих двух мужчинах, и уследить за ее мыслью было все равно что пытаться записывать

слишком быструю речь карандашом, а голос ее изрекал без подсказок извне неоспоримые, вечные, противоречивые истины, от которых даже складки и бугорки на коре груши неподвижно застывали навеки. Вам присуще подлинное величие, продолжала она, у мистера Рамзи его нет. Он мелок, самолюбив, тщеславен, эгоистичен, жена его избаловала, он — домашний тиран, он замучает миссис Рамзи до смерти; и все же у него есть то, чего нет у вас (обратилась она к мистеру Бэнксу) — пламенная отрешенность, он не разменивается по мелочам, он любит собак и детей. У него их восемь, у мистера Бэнкса — ни одного. А как он сидел вечером в двух халатах и миссис Рамзи стригла его на скорую руку, надев на голову форму для пудинга и обрезая волосы по кругу? Мысли Лили исполняли причудливый танец, словно рой мошек — каждая сама по себе, при этом оставаясь связанными невидимой эластичной сетью — метались в ее сознании, вились вокруг ветвей груши, где все еще висел образ выскобленного кухонного стола, символа ее глубокого уважения к уму мистера Рамзи, пока мысль, вращавшаяся все быстрее и быстрее, не разорвалась от собственной полноты, и Лили полегчало; неподалеку раздался выстрел и прочь

метнулась испуганная, суетливая, шумная стая грачей.

— Джаспер! — воскликнул мистер Бэнкс. Они повернули в сторону, куда полетели грачи, — к террасе. Следуя за стайкой стремительных птиц, они прошли через прогал в изгороди и столкнулись с мистером Рамзи, который проревел скорбным, звучным голосом:

— Допущена фатальная ошибка!

На миг его глаза, остекленевшие от накала страстей, встретились с их глазами и дрогнули, узнавая; он судорожно поднес руку к лицу, снедаемый желчным стыдом, словно желая прикрыться, отмахнуться от их обыденных взглядов, умоляя отдалить неизбежное, внушая им свое детское возмущение, что его так грубо прервали, но даже в момент разоблачения не спасовал, намереваясь держаться до конца, растянуть восхитительное переживание, непристойную рапсодию, пробуждающую одновременно стыд и наслаждение, — мистер Рамзи резко отвернулся, словно захлопнул у них перед носом дверь, Лили Бриско с мистером Бэнксом смущенно поглядели в небо и заметили, что стая грачей, которую спугнул своим выстрелом Джаспер, устроилась на верхушках вязов.

5

— Если завтра погода будет плохая, поедем в другой день, — утешила сына миссис Рамзи, бросив взгляд на Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, проходивших мимо. — А теперь, — сказала она, думая, что все очарование Лили — в китайских раскосых глазках на маленьком личике, но оценить его способен лишь умный мужчина, — а теперь встань и дай померить твою ножку, — ведь на маяк они могут и поехать, и тогда нужно посмотреть, не довязать ли чулок еще на пару дюймов.

Внезапно ее осенила восхитительная идея — Уильям с Лили должны пожениться! Миссис Рамзи с улыбкой взяла пестрый чулок с четырьмя перекрещенными спицами у незаконченного конца и приложила к ноге Джеймса.

— Милый, постой смирно, — попросила она, потому что ревнивый Джеймс не желал быть манекеном для сынишки смотрителя и нарочно вертелся, а как иначе увидеть, короткий чулок или длинный?

Она подняла взгляд — что за бес вселился в ее младшенького, в ее любимца? — посмотрела

на комнату, на кресла и сочла их ужасно потрепанными. Как выразился на днях Эндрю, из них потроха вываливаются, но какой смысл покупать хорошую мебель, чтобы она портилась тут всю зиму, если дом остается под присмотром одной старухи и буквально сочится влагой? Зато аренда мизерная, детям здесь нравится, мужу идет на пользу удалиться на три тысячи — если уж быть точной, то на три сотни миль от библиотек, лекций и учеников, да и гостям место найдется. Коврики, складные кровати, разваливающиеся кресла и колченогие столы — изгои, отслужившие в Лондоне свой срок, — здесь вполне годились, и пара фотографий, и книги. Их становится слишком много, думала она, не успеваешь читать. Увы, даже те, что подарили и подписали поэты — «Для той, чьи желания должны исполняться», «Счастливой Елене наших дней», — стыдно сказать, так и остались непрочитанными. Ни «Разум» Крума, ни «Обычаи дикарей Полинезии» Бэйтса (милый, постой спокойно, повторила она) на маяк не отправишь. Рано или поздно, полагала миссис Рамзи, дом настолько обветшает, что придется им заняться. Научить бы их вытирать ноги и не тащить песок с пляжа — уже хорошо. Крабов запрещать

нельзя, раз Эндрю действительно так хочется их препарировать, и морские водоросли тоже, раз Джаспер полагает, что из них можно сварить суп, да и ракушки, камешки, тростинки Роуз; дети все такие одаренные, и каждый совершенно на свой лад. В результате, вздохнула миссис Рамзи, оглядывая комнату от пола до потолка, пока прикладывала чулок к ножке Джеймса, дом ветшает с каждым летом. Ковер выгорел, обои отстали от стен, уже и не видно, что на них за цветы. Если двери постоянно настежь и ни один мастер во всей Шотландии не может починить засов, вещи неизбежно придут в негодность. Какой смысл драпировать картинную раму зеленой кашемировой шалью? Через пару недель она выгорит до цвета горохового супа. Особенно миссис Рамзи раздражали двери — вечно нараспашку. Она прислушалась. Дверь в гостиную открыта, дверь в холл тоже; судя по звуку, и двери в спальни и, конечно, окно на лестничной клетке — она сама его растворила. Неужели так трудно запомнить, что окна надо держать открытыми, а двери — затворять? По вечерам она обходит спальни горничных, и везде окна запечатаны, как печные заслонки, кроме комнатки Мари, девушки из Швейцарии; та скорее готова

обойтись без купания, чем без свежего воздуха, но ведь дома у нее горы красивые. Так и сказала вчера, глядя из окна со слезами на глазах. «Горы дома такие красивые». Там умирает ее отец, миссис Рамзи знала. Скоро они осиротеют. Девушка тихо заговорила, и миссис Рамзи внезапно утратила желание упрекать и широкими жестами показывать, как надо стелить постель, как открывать окно — изящные руки тихо сложились, словно крылья птицы, что влетела с солнечного света в тень, и синева перьев из ярко-стальной потускнела до темно-фиолетовой. Миссис Рамзи стояла молча, что тут скажешь? У отца Мари рак горла. Вспомнив свою растерянность, слова девушки про горы и ощущение полной безнадежности, она рассердилась и резко одернула Джеймс:

— Стой смирно. Хватит ерзать! — И тот сразу понял, что шутки кончились, выпрямил ногу и дал себя померить.

Чулок коротковат по меньшей мере на полдюйма, даже с учетом того, что мальчишка Сорли мельче Джеймса.

— Коротко, — вздохнула она, — слишком коротко.

Печальней ее нет никого на свете! В темных

глубинах, вдали от света родилась горькая и черная слеза, родилась и упала в колодец; воды качнулись, принимая ее, и успокоились. Печальней ее нет никого на свете!

Неужели все дело во внешности, удивлялись люди. Что скрывается за блеском ее красоты? Неужели он действительно вышиб себе мозги за неделю до того, как они поженились, — тот, другой, о котором ходили слухи? Или ничего не было? Ничего, кроме бесподобной и совершенно безмятежной красоты? Миссис Рамзи с легкостью могла бы признаться в момент откровения, когда рассказывают истории о великой страсти, о несчастной любви, о рухнувших надеждах, что и ей это знакомо и на ее долю тоже выпало, — но нет, ничего подобного она не говорила, всегда хранила молчание. Она все понимала, все знала, ничему не учась. Простота позволяла ей постигнуть то, в чем люди умные заблуждались, прямодушие заставляло падать камнем и взмывать птицей, набрасываться на истину словно коршун, что, конечно, радовало, облегчало душу, обнадеживало — даже если и незаслуженно.

(«Немного у природы той глины, — однажды заметил про себя мистер Бэнкс, изрядно тронутый

ее голосом по телефону, хотя она всего лишь сообщила время отправления поезда, — из которой она вас сотворила». Он представлял ее на другом конце провода — синеглазая, с греческим профилем. До чего неуместно разговаривать с такой женщиной по телефону! Казалось, все три грации собрались вместе на лугах асфоделей, создавая ее лицо. Да, он успеет на юстонский поезд в десять тридцать.

«Осознает свою красоту не больше, чем дитя», — добавил мистер Бэнкс, положив трубку и подходя к окну взглянуть, каких успехов добились строители, возводившие отель на заднем дворе дома. Наблюдая за суетой у незаконченных стен, он думал о миссис Рамзи. Вечно гармонию ее лица нарушает какая-нибудь несуразица! То нахлобучит на голову охотничью кепку с двойным козырьком, то помчится по лужайке в галошах на босу ногу выручать попавшего в беду ребенка… Поэтому, если думать лишь о ее красоте, придется учитывать и трепетность, живость (рабочие понесли кирпичи наверх, поднимаясь по тонкой доске), включая в общую картину; если думать о ее женских качествах, придется мириться и со странностями характера (всеобщее восхищение ей претит) или же

с подспудным желанием избавиться от своей поразительной красоты, словно та ей наскучила и она хочет стать незаметной, как все обычные люди. Он не знал, не знал. Пора вернуться к работе.)

На фоне шедевра Микеланджело в золоченой раме, слегка задрапированной зеленой шалью, миссис Рамзи с мохнатым красно-коричневым чулком смотрелась совершенно нелепо. Смягчив минутную резкость, она подняла голову и поцеловала сынишку в лоб.

— Давай-ка поищем другую картинку, которую можно вырезать, — сказала она.

6

Что же случилось?

Допущена фатальная ошибка.

Очнувшись от задумчивости, миссис Рамзи придала смысл словам, которые долго крутились у нее в голове, ни о чем не говоря. «Допущена фатальная ошибка»... Устремив близорукий взгляд на приближающегося мужа, она пристально смотрела до тех пор, пока его близость не открыла ей (в голове прозвучал звоночек): что-то

произошло, кто-то ошибся. Она и не представляла, что именно могло случиться.

Он вздрогнул, его затрясло. Все тщеславие, все великолепие, с которым он, подобный молнии, свирепому ястребу, мчался вскачь во главе своих людей по долине смерти, — все разбилось вдребезги, сошло на нет. Под шквалом шрапнели и воем снарядов отважно скакала вперед вся бригада, долиною смерти, бряцая и сверкая саблями, — прямо в Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он вздрогнул, его затрясло.

Она не заговорила бы с ним ни за что на свете, угадав по знакомым признакам — смотрит в сторону, лицо поджато, словно ушел в себя и нуждается в уединении, пытаясь восстановить душевное равновесие, — что муж возмущен и страдает. Она погладила Джеймса по голове, передала ему то, что чувствовала к мужу, и, наблюдая, как он обводит желтым мелком белую сорочку джентльмена из каталога, подумала: как было бы приятно, если бы младший сын стал великим художником. Почему бы и нет? У него красивый лоб. Подняв взгляд на мужа, который прошел мимо еще раз, она с облегчением отметила, что горе утихло, привязанность к семье восторжествовала, заведенный порядок вновь

вполголоса напевает утешительную мелодию, поэтому, когда мистер Рамзи, завершив очередной круг, остановился у окна, насмешливо склонился к Джеймсу и пощекотал голую ножку веточкой, она упрекнула его за то, что он отослал прочь «бедного юношу», Чарльза Тэнсли. Мистер Рамзи ответил, что Тэнсли засел за диссертацию.

— Джеймсу тоже придется засесть за *свою* диссертацию, — добавил он с иронией, слегка пощекотав.

Ненавидя отца, Джеймс отмахнулся от веточки, которой мистер Рамзи в свойственной ему манере, сочетающей жестокость и юмор, дразнил младшего сына.

Надо закончить канитель с чулками, чтобы завтра передать их малышу Сорли, сказала миссис Рамзи.

Нет ни единого шанса, что они смогут поехать на маяк завтра, оборвал ее мистер Рамзи.

Откуда ему знать? — спросила она. Ветер меняется часто.

Несусветная бестолковость ее замечания и женская глупость вывели мистера Рамзи из себя. Он промчался вскачь по долине смерти, он уничтожен и разбит вдребезги, а теперь она смеет перед лицом фактов заставлять его детей надеять-

ся на то, о чем не может быть и речи — по сути, говорит неправду. Он топнул по каменной ступеньке. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул он. А что такого она сказала? Завтра ведь может и распогодиться. Вполне.

Не может, ведь барометр падает и ветер восточный!

Добиваться правды с поразительным пренебрежением к чувствам других людей, срывать тонкий покров цивилизованности так безудержно, так грубо — миссис Рамзи ужаснулась столь кошмарному оскорблению человеческого достоинства и промолчала, сбитая с толку и ослепленная, без единого упрека склонила голову, словно под ударами хлестких градин, мутных дождевых струй. Что тут скажешь?

Мистер Рамзи остановился подле нее. Помолчав, пообещал пойти и разузнать насчет погоды у береговой охраны, если ей так угодно.

Она уважает мужа больше всех на свете!

Миссис Рамзи сказала, что готова принять его слова на веру. Тогда бутерброды не понадобятся, вот и все. Вечно все у нее что-нибудь спрашивают, ведь она женщина, с утра до ночи то одному помоги, то другому, дети подрастают; часто она чувствует себя просто губкой, пропитанной чело-

веческими эмоциями. Потом он говорит: черт бы тебя побрал! Пойдет дождь. Или говорит: дождя не будет, и сразу небо становится безоблачным. Она уважает мужа больше всех на свете. Да она шнурки недостойна ему завязывать!

Устыдившись своего дурного настроения и бурной жестикуляции во время атаки легкой кавалерии, мистер Рамзи смущенно пощекотал босые ноги сынишки еще раз и, словно с ее позволения, до странного уподобившись огромному морскому льву в зоопарке, когда тот кувыркается назад, получив свою рыбу, и вода в аквариуме качается так, что перехлестывает через край, нырнул в вечерние сумерки, крадущие цвет с листьев деревьев и живой изгороди, зато придающие розам и гвоздикам небывалый блеск, не свойственный им при свете дня.

— Допущена фатальная ошибка, — проговорил он вновь, расхаживая взад-вперед по террасе.

Как разительно изменился его голос! Уподобившись кукушке, что в июне мелодию меняет, а в июле улетает, он пытался найти осторожным перебором какую-нибудь фразу для нового настроения и за неимением другой использовал эту, пусть и такую надтреснутую. Звучит крайне нелепо, почти вопросительно, без всякой

убежденности, зато мелодично. Миссис Рамзи невольно улыбнулась, и вскоре, конечно, он пропел свою фразу на ходу и умолк.

Опасность миновала, уединение восстановлено. Раскурив трубку, мистер Рамзи посмотрел на жену с сыном в открытом окне — так пассажир экспресса поднимает глаза от книги и скользит взглядом по ферме, дереву, домам, воспринимая их скорее как иллюстрацию, как подтверждение прочитанному на печатной странице, к которой возвращается укрепленный духом и растроганный; так и он, не разглядев хорошенько ни жены, ни сына, укрепился духом и растрогался; их мирный вид освятил его усилия: добиться полного и четкого понимания проблемы, требовавшей сейчас напряжения всех сил его блестящего ума.

Умом он обладал поистине блестящим. Будь мысль подобна клавиатуре рояля, разделенной на множество нот, или английскому алфавиту, где двадцать шесть букв идут строго по порядку, тогда его блестящий ум мог без малейших усилий пробежать эти буквы одну за другой уверенно и точно и добраться, скажем, до Q. Он достиг Q, что в Англии удалось немногим. Помедлив у каменного вазона с геранью, он увидел

далеко-далеко — как дети, что собирают ракушки, божественно невинны и поглощены всякой ерундой под ногами, совершенно беззащитны перед участью, которую он давно осознал, — жену и сына, сидящих у окна. Им нужна защита, он дает им защиту. Но что же после Q? Что дальше? За Q есть много букв, и последняя едва видна взору смертных — сияет вдали красным. Z суждено достичь лишь одному из целого поколения. И все же, если он доберется до R, это будет серьезным достижением. По крайней мере, Q уже есть. Он уперся в нее руками и ногами. В Q он уверен. Q он доказал делом. Если Q — это Q, тогда R… Он выбил трубку, два-три раза звучно стукнув по ручке вазона, и продолжил. Тогда R… Мистер Рамзи собрался с духом, напружинился.

Качества, которые спасли бы команду корабля, очутившуюся в бушующем море с шестью галетами и бутылкой воды, — стойкость и справедливость, дальновидность, самоотверженность, ловкость пришли ему на выручку. Значит, R — а что такое R?

Шторка, похожая на кожистое веко ящерицы, заслонила его пронзительный взор и скрыла букву R. Во время секундного помрачения он услышал, что говорят люди: он неудачник,

R — вне предела его досягаемости, ему никогда не достичь R. Вперед же, к R, еще разок! R…

Качества, которые в безлюдных полярных просторах сделали бы его главой экспедиции, проводником, советником, что преисполнен оптимизма, ничуть не унывает и невозмутимо смотрит в лицо неизбежному, снова пришли ему на выручку. R…

Глаз ящерицы сверкнул. Вены на лбу мистера Рамзи вздулись. Герань в вазоне стала отчетливо видна, и среди листьев он приметил, сам того не желая, давнее, очевидное различие между двумя типами людей: одни — упорные, энергичные, неутомимые, обладающие сверхчеловеческими качествами, занимаются своим делом кропотливо и усердно, проходят весь алфавит по порядку, все двадцать шесть букв, от начала до конца; другие — талантливые, вдохновенные, чудесным образом смешивают все буквы воедино — вот путь гения! Он на гениальность не претендует, зато у него есть или могут быть силы пройти каждую букву от A до Z по порядку. Пока же он застрял на Q. Значит, пора перейти к R!

Чувства, не опозорившие бы главу экспедиции, когда валит снег и вершина горы скрылась в тумане, и он знает, что ночью придется лечь

на землю и умереть, овладели им, обесцветили радужку, превратив мистера Рамзи всего за пару минут, проведенных на террасе, в иссохшего, поблекшего старца. И все же он не умрет лежа, он отыщет выступ скалы и там, не сводя глаз с метели, до самого конца будет пронзать взглядом тьму и умрет стоя, так и не добравшись до R.

Он стоял неподвижно у вазона с геранью. В конце концов, сколько человек из ста миллионов, спросил он себя, достигают Z? Главе безнадежного предприятия позволительно задаваться подобным вопросом, не предавая участников своей экспедиции. Пожалуй, один — один из всего поколения. Виноват ли он, если это не про него, учитывая, что он буквально рвал жилы, старался из последних сил, пока те не иссякли? Долго ли проживет его слава? Даже герою позволительно перед смертью задуматься о том, сколько о нем будут помнить. Вероятно, слава протянет пару тысяч лет. Что такое пара тысяч лет? (иронично вопросил мистер Рамзи, уставившись на живую изгородь). Ничто, если глядишь с вершины горы на пространные пустоши веков! Даже камень, который он сейчас пнул, продержится дольше Шекспира. Его собственный огонек погорит год-два и сольется с огнем побольше, и так да-

лее. (Он вгляделся в кусты, в хитросплетение веточек.) Кто станет винить главу безнадежной экспедиции, которая все же умудрилась вскарабкаться достаточно высоко, увидела пустоши веков и гибель звезд, если перед тем, как смерть обездвижит члены, он поднимет онемевшие пальцы ко лбу и расправит плечи, чтобы поисковая экспедиция нашла его замерзшим на посту, как настоящего солдата? Мистер Рамзи расправил плечи.

Кто его осудит, если он задумается о славе, о поисковых отрядах, о пирамидах из камней, воздвигнутых над костями героя благодарными последователями? Наконец, кто осудит главу обреченной экспедиции, если, отправившись в величайшее приключение, растратив все силы до капли и уснув, не заботясь о том, проснется или нет, он теперь ощущает покалывание в пальцах ног и понимает, что жив и вдобавок нуждается в сочувствии, виски и слушателе, которому тотчас поведает о своих страданиях? Кто его осудит? Кто втайне не порадуется, когда герой снимет доспехи, встанет у окна и посмотрит на жену и сына, медленно подойдет ближе, еще ближе, пока губы, книга и голова не окажутся прямо перед ним, прелестные и незнакомые

после глубокой отрешенности, пустоши веков и гибели звезд, и он наконец положит трубку в карман и склонит голову с пышной шевелюрой — кто его осудит, если он отдаст должное мирской красоте?

7

Сын его ненавидел. Ненавидел за то, что отец останавливается и смотрит сверху вниз, ненавидел за то, что мешает им читать, ненавидел за экзальтированность и величавость жестов, за пышную шевелюру, за взыскательность к другим и зацикленность на себе (вот он стоит, требуя внимания), но больше всего Джеймс ненавидел звон и трепет эмоций своего отца, которые дребезжали вокруг, нарушая приятную простоту и гармонию его отношений с матерью. Пристально глядя на страницу, мальчик надеялся, что он уйдет; сердито указывая пальцем на слово, надеялся вернуть внимание матери, ослабевшее, едва отец остановился. Увы, ничто не могло сдвинуть мистера Рамзи с места. Он стоял и ждал, требуя внимания.

Миссис Рамзи, которая сидела, расслабленно обнимая сына, подобралась и, изогнувшись

вполоборота, с видимым усилием привстала и выдала фонтан энергии — брызги полетели во все стороны; она выглядела необычайно воодушевленной и живой, словно в сверкающий фонтан хлынула вся ее энергия (хотя сама миссис Рамзи осталась сидеть, продолжая вязать чулок), и в эту восхитительную плодовитость, в эту жизненную струю вонзилось его гибельное мужское бесплодие, словно медный клюв, бесплодный и убогий. Мистеру Рамзи хотелось сочувствия. Я неудачник, сказал он. Миссис Рамзи сверкнула спицами. Мистер Рамзи повторил, не сводя глаз с ее лица, что он неудачник. Жена тут же отмела его сомнения. «Вот Чарльз Тэнсли…», — начала она, но этого было мало. Ему хотелось, чтобы она его утешила — сперва заверила в гениальности, потом включила в свой круговорот жизни, согрела и приголубила, вернула способность чувствовать, превратила бесплодие в изобилие, и в доме забурлила бы жизнь — в гостиной, кухне, спальнях, детских — пусть тоже оживут, пусть наполнятся жизнью!

Чарльз Тэнсли считает его величайшим философом своего времени, сказала миссис Рамзи. Этого недостаточно — ему нужно сочувствие, он должен быть уверен, что находится на пике

славы, что востребован не только здесь — во всем мире! Решительно сверкая спицами, она создала из ничего гостиную и кухню, наполнила их светом; велела мужу расслабиться и походить туда-сюда в свое удовольствие. Она смеялась, она вязала. Между коленями матери неподвижно застыл Джеймс, чувствуя, как всю ее бушующую силу высасывает медный клюв, бесплодный ятаган, бьющий, не зная пощады, снова и снова, требующий сочувствия.

Я неудачник, повторил он. Лучше взгляни кругом, прочувствуй! Сверкая спицами, миссис Рамзи обвела глазами гостиную и сына, посмотрела в окно и своим смехом, своим самообладанием, своей уверенностью убедила мужа (так нянька, входя со свечой в темную комнату, убеждает капризное дитя), что все это — настоящее, дом — полная чаша, сад утопает в цветах. Пусть поверит ей безоговорочно, и ему ничего не страшно — в какие бы глубины он ни погружался, в какие бы выси ни устремлялся — она будет с ним каждый миг. Похваляясь способностью окружать заботой и защищать, мать выложилась без остатка и уже себя не помнила; и Джеймс, застывший между ее коленями, ощущал, как она высится над ним фруктовым деревцем в розовых цветах, листьях

и дрожащих ветвях, в которые снова и снова вонзается медный клюв, безжалостный ятаган его отца-эгоиста, требующего сочувствия.

Наполнившись ее словами, будто младенец, который насытился и отворачивается от груди, мистер Рамзи посмотрел на жену со смиренной благодарностью — подкрепленный, обновленный — и сказал, что немного прогуляется, понаблюдает, как дети играют в крикет. Он ушел.

И миссис Рамзи тотчас сникла, закрыла свои лепестки один за другим, в изнеможении опала, едва в силах водить пальцем по строкам сказки братьев Гримм, в то время как внутри ее пульсировал, словно в пружине, что растянулась до предела и теперь медленно сжимается, восторг успешного акта созидания.

Каждый удар этого пульса, казалось, окружал ее и удаляющегося прочь мужа, даруя обоим то утешение, которое дают две ноты, высокая и низкая, сливающиеся в унисон. Однако, едва последний отзвук погас и она вернулась к сказке, миссис Рамзи почувствовала не только физическую усталость (так всегда бывало немного погодя), но и слегка неприятное ощущение иного рода. Она и сама не понимала, читая вслух про рыбака и его жену, откуда оно взялось; не позволяла

себе выразить недовольство словами и вдруг осознала, перевернув страницу и услышав глухой, зловещий шум опадающей волны: ей не нравилось, даже на миг, чувствовать себя выше мужа; более того, она не могла вынести, что не вполне верит в истинность своих слов. Миссис Рамзи ничуть не сомневалась, что университетам и публике он просто необходим, что его лекции и книги чрезвычайно важны, но ее тревожили их взаимоотношения и то, как открыто, у всех на виду он обращается к ней за поддержкой — люди скажут, что он от нее зависим, в то время как им следовало бы знать, насколько он бесконечно важнее, чем она, и то, что она дает миру, по сравнению с его достижениями просто ничтожно. Впрочем, сюда примешивалось и другое огорчение: она боялась говорить ему правду, к примеру, про крышу теплицы и расходы на починку — фунтов пятьдесят, наверное, или про его книги, и опасалась, как бы муж не догадался о том, что она смутно подозревала (вследствие разговора с Уильямом Бэнксом): последняя книга не вполне ему удалась; еще приходилось скрывать от него всякие повседневные мелочи, и дети это видели, несли бремя — и так сходила на нет вся радость, чистая радость двух нот, звучащих

в унисон, и те отдавались в ее ушах с удручающей прозаичностью.

На страницу упала тень, миссис Рамзи подняла взгляд. Мимо прошлепал Август Кармайкл — именно сейчас, когда ей так неприятно вспоминать о несовершенстве человеческих взаимоотношений, ведь даже самые лучшие из них не без изъяна и не выдерживают проверки, которую она, при всей своей любви к мужу и стремлению к правде, им устроила; когда ей так неприятно уличить себя в недостойности и неисполнении своих прямых обязанностей — вся эта ложь, все эти преувеличения — именно сейчас, когда она растравила себе душу после самозабвенного восторга, мимо прошлепал мистер Кармайкл в желтых тапочках, и черт дернул ее осведомиться:

— Нагулялись, мистер Кармайкл?

8

Он не ответил. Он принимал опиум. Дети заметили, что у него борода перепачкана желтой настойкой. Похоже на то. Ей было очевидно, что бедняга несчастен, приезжает к ним каждый год в поисках спасения, и все же каждый

год повторялось одно и то же: он ей не доверял. Миссис Рамзи говорила: «Я собираюсь в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» и чувствовала, как его коробит. Он ей не доверял. Наверное, из-за жены, которая обращалась с ним столь несправедливо, что миссис Рамзи буквально окаменела, когда в убогой комнатке в Сент-Джонс-Вуд своими глазами увидела, как злобно та выставляет его из дома. Он был неопрятный, неприкаянный старик, вечно роняющий еду на пиджак, а она выгоняла его из комнаты, заявив самым мерзким тоном: «Ну же, мы с миссис Рамзи хотим кое-что обсудить», и миссис Рамзи воочию представила бедственность его положения. Хватает ли ему денег на табак? Приходится ли выпрашивать у жены? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Нет, думать о всех унижениях, которым его подвергает жена, просто невыносимо! И теперь он всегда (непонятно почему, разве что из-за жены) ее избегает, ничего ей не рассказывает. Но что еще она могла для него сделать? Ему выделили солнечную комнату, дети обращаются с ним хорошо. Ни разу миссис Рамзи не заставила его почувствовать себя нежеланным гостем и изо всех сил старалась с ним подружиться. Хотите марок, хотите табака? Вот книга, которая может

вам понравиться, и все в таком духе. В конце концов… В конце концов (и тут она взяла себя в руки, внезапно осознав свою красоту, что случалось так редко) — в конце концов, обычно ей легко удавалось понравиться людям; к примеру, Джордж Мэннинг или мистер Уоллес, хотя и знаменитости, а приходят к ней без лишнего шума по вечерам, посидеть у камина и побеседовать наедине. Повсюду она несет светоч своей красоты, входит с ним в любую комнату; и в конце концов, как бы она ни старалась ее задрапировать или уклониться от опостылевшего бремени налагаемых ею обязательств, красота сразу бросалась в глаза. Миссис Рамзи восхищались. Ее любили. Она приходила к скорбящим, и те проливали доселе сдерживаемые слезы. В ее присутствии мужчины, да и женщины тоже, смирялись с очень многим, позволяли себе облегченно расслабиться. Миссис Рамзи ранило, что он ее избегает. Ей было обидно. И все же дело не совсем в этом, не совсем. Помимо недовольства мужем ее угнетало — особенно ярко она ощутила это в тот миг, когда мистер Кармайкл прошлепал мимо с книгой под мышкой и в ответ на вопрос лишь кивнул, — что он подозревает: все ее желание отдавать и помогать ближне-

му проистекает из тщеславия. Разве не ради собственного удовольствия она бросалась на помощь, чтобы люди говорили: «О, миссис Рамзи! Славная миссис Рамзи… Миссис Рамзи, ну конечно!» и нуждались в ней, звали в трудную минуту и восхищались ею? Разве не этого она втайне желала, и не потому ли, когда мистер Кармайкл ее избегал, вот как сейчас, устроившись в уголке и без конца повторяя акростихи, она не просто чувствовала, что ее с пренебрежением отвергли, а осознавала мелочность — и свою, и человеческих взаимоотношений, ведь даже лучшие из них не без изъяна, презренны и эгоистичны. Видимо, постаревшая и усталая (щеки впалые, волосы седые), она больше не радует глаз; пора сосредоточиться на сказке про рыбака и утешить этот комок нервов (из восьмерых он самый чувствительный), в который обратился ее сынишка Джеймс.

— На сердце у рыбака стало тяжело, — прочла она вслух, — идти ему не хотелось. Он сказал самому себе: «По-моему, так делать не следует», и все же отправился на берег. Пришел рыбак к морю, а оно потемнело, стало темно-синим и хмурым, уж не таким светлым и зеленоватым, как прежде, хотя еще и не волновалось. И позвал

он рыбку…

Миссис Рамзи предпочла бы, чтобы муж не прерывал их на этом месте. Почему он не идет смотреть, как дети играют в крикет, хотя собирался? Но он ничего не сказал — просто окинул ее взглядом, одобрительно кивнул и пошел дальше. Видя перед собой все ту же зеленую изгородь, которая неоднократно обрамляла паузы, соотносилась с его умозаключениями, видя жену с сыном и все те же вазоны с геранью, которая так часто украшала поток его мыслей и чьи листья хранили их, как клочки бумаги хранят записи, сделанные в разгар чтения — видя все это, он плавно переключился на размышления о толпах американцев, ежегодно посещающих дом Шекспира, навеянные статьей в «Таймс». Если бы Шекспир никогда не существовал, подумал он, насколько мир был бы другим? Зависит ли развитие цивилизации от великих людей? Улучшилось ли положение среднего человека со времен фараонов? Можно ли считать его тем мерилом, по которому мы судим об успехах цивилизации? Пожалуй, нельзя. Пожалуй, величайшее благо невозможно без существования класса рабов. Лифтер в лондонской подземке — неизбежная необходимость. Неприятная

мысль! Мистер Рамзи вскинул голову. Следует как-нибудь принизить превалирующее значение искусства. Он докажет, что мир существует для средних людей, что искусство — всего лишь украшение, венчающее жизнь человека, а не выражающее ее. Шекспир для этого вовсе не нужен. Не зная наверняка, почему так хочет принизить Шекспира и прийти на выручку человеку, вечно стоящему у дверей лифта, он ожесточенно сорвал с живой изгороди листок. Все это можно преподнести через месяц юношам Кардиффского университета, подумал мистер Рамзи; здесь же, на своей лужайке, он просто роется в поисках пищи и устраивает пикники на траве (он отбросил сорванный в дурном настроении листок), словно всадник, который свешивается с лошади, чтобы нарвать роз, или путник, который набивает карманы орехами, гуляя в свое удовольствие по краю, знакомому с детства. Все здесь привычно — и поворот, и тропинка через луга. Так он и бродит туда-сюда часами, по вечерам, размышляя над трубкой, по старым дорожкам и выгонам, буквально загроможденным историями военных походов и биографиями государственных мужей, стихами и случаями из жизни, памятью о разных деятелях, философах и воинах — все очень

явственно и четко, но в конце концов дорога, поле, выгон, усыпанный орехами куст и цветущая изгородь выводят его к дальнему повороту, где он всегда спешивается, привязывает лошадь к дереву и идет пешком. Он достиг края лужайки и посмотрел вниз на залив.

Такова его судьба, особенность его натуры, хочет он того или нет, приходить на полоску суши, медленно поглощаемую морем, и стоять в одиночестве, словно унылая морская птица. Таков его дар — мгновенно избавиться от всего лишнего, замкнуться в себе, утратив размах и стать, при этом сохранив остроту мысли, и очутиться на узком уступе один на один с тьмой человеческого неведения — ведь мы не знаем ничего, а море тем временем подтачивает полоску суши под ногами — такова его судьба, его дар. Спешившись, он отбрасывает все условности и мишуру, все трофеи вроде орехов и роз, уходит в себя, забывая и свою славу, и собственное имя, но сохраняет зоркость, столь нетерпимую к иллюзиям и праздным мечтам, и в таком обличье вдохновляет Уильяма Бэнкса (эпизодически) и Чарльза Тэнсли (неизменно), а теперь и жену (она поднимает взгляд и видит его на краю лужайки), вызывая в них глубокое почтение, жалость и еще

благодарность, подобно тому, как засиженный чайками и терзаемый волнами столб, вбитый в морское дно, вызывает у пассажиров прогулочных лодок чувство благодарности за взятый на себя долг — обозначать глубину во время подъема воды.

— У отца восьмерых детей нет выбора, — пробормотал мистер Рамзи вполголоса, отвернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читающую сказки его ребенку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища человеческого неведения и человеческой участи, от моря, подтачивающего землю, на которой мы стоим; будь он способен созерцать сие зрелище более сосредоточенно, это могло бы принести свои результаты; и он нашел утешение в мелочах столь незначительных по сравнению с возвышенной темой прямо перед ним, что едва не пренебрег этим утешением, едва не отнесся к нему с презрением, словно для человека честного испытывать радость в мире, полном страданий, — наихудшее преступление. Надо признать, он по большей части счастлив, у него есть жена и дети, через шесть недель он поедет в Кардифф, чтобы «нести галиматью» про Локка, Юма, Беркли и предпосылки Французской революции. По сути, он не добил-

ся того, чего мог бы, поэтому и удовольствие, и гордость за собственные слова, за восхищение юных почитателей, за красоту жены, за высокие оценки университетов Кардиффа и Суонси, Эксетера, Саутгемптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа приходилось отвергать, скрывая за выражением «нести галиматью». Своего рода маскировка, утешение человека, который страшится своих чувств и не может сказать: «Вот что я люблю — вот кто я»; довольно убого и неприглядно, по мнению Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, искренне не понимавших, почему он прибегает к подобным ухищрениям, почему постоянно нуждается в похвалах, почему человек, храбрый в мыслях, настолько боязлив в реальной жизни, и как странно, что ум столь блистательный одновременно столь смешон.

Учить и проповедовать — выше человеческих сил, рассуждала Лили, складывая свои принадлежности. Если вознесешься слишком высоко, непременно сломаешь себе шею. Миссис Рамзи чересчур ему потакает, сказала Лили, а потом он отрывается от книг и видит, что мы тут развлекаемся и болтаем всякую ерунду. Какой резкий контраст по сравнению с тем, что занимает его ум!

Мистер Рамзи двинулся к ним, резко замер, постоял, молча глядя на море, и снова отвернулся.

9

Да, сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. Очень жаль. (Лили призналась, что он ее пугает — перемены его настроения слишком внезапны.) Да, повторил мистер Бэнкс, очень жаль, что мистер Рамзи не может вести себя чуточку приличнее, как другие люди. (Лили Бриско ему нравилась, и он мог обсуждать с ней мистера Рамзи вполне откровенно.) Вот поэтому, заметил он, молодежь и не читает Карлейля. Сварливый старый хрыч, который распаляется из-за остывшей каши, какое право он имеет нас поучать? Так рассуждает сейчас молодежь, по мнению мистера Бэнкса. Очень жаль, повторил он, ведь Карлейль — один из величайших учителей человечества. К стыду Лили, она читала Карлейля только в школе. Лично ей мистер Рамзи тем более симпатичен, что для него больной мизинец — просто конец света. Ее возмущает иное. Кого он обманывает? Неприкрыто требует лести, восхищения, его мелкие уловки довольно прозрачны. Что ей не нравится, так это его ограниченность, даже слепота, сказала она,

глядя ему вслед.

— По-вашему, он ломает комедию? — осведомился мистер Бэнкс, тоже посмотрев на спину мистера Рамзи и думая об их дружбе, о том, что Кэм пожадничала дать ему цветок, о всех этих мальчиках и девочках, о своем собственном доме, таком уютном и таком тихом после смерти жены. Конечно, у него осталась работа… И все же ему хотелось, чтобы Лили с ним согласилась, признала, что мистер Рамзи ломает комедию.

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая, то опуская глаза. Подняв взгляд, она увидела мистера Рамзи — он направлялся к ним вразвалочку, небрежный, ничего не замечающий, рассеянный. Ломает комедию? — повторила она. — Нет-нет, он самый искренний, самый правдивый, самый лучший; но, опустив взгляд, подумала: слишком углублен в себя, деспотичен, несправедлив; Лили нарочно продолжала смотреть вниз, ведь только так умела сохранять спокойствие в гостях у Рамзи. Стоит поднять взгляд и увидеть кого-нибудь из них, как тут же нахлынет непреодолимая «влюбленность», как она это называла, и ты станешь частью ирреальной, но такой проникновенной и восхитительной вселенной Рамзи — мира

сквозь призму любви. Небо к ним так и льнет, птицы поют только для них. И еще более увлекательно, считала Лили, наблюдая, как появляется и исчезает мистер Рамзи, как миссис Рамзи сидит с Джеймсом у окна, как движется облако и качается дерево, что жизнь, слагающаяся из разрозненных эпизодов, которые проживаешь один за другим, закручивается в спираль, сливается в единую волну, подхватывает тебя и швыряет с размаху прямо на берег.

Мистер Бэнкс ждал ответа. Лили едва не сказала что-нибудь осуждающее про миссис Рамзи, про ее суетливость и излишнюю бесцеремонность или что-то в этом духе, и вдруг заметила, с каким восторгом мистер Бэнкс смотрит на хозяйку дома. С учетом преклонного возраста (ему исполнилось шестьдесят), чистоты, беспристрастности ученого в незримом белом халате, приросшем к нему навеки, это был именно восторг. Такой взгляд, заключила Лили, стоит любви десятков юношей (вряд ли миссис Рамзи довелось сразить столь многих). Это любовь, подумала она, делая вид, что поправляет холст, только дистиллированная и процеженная; любовь, ничуть не стремящаяся вцепиться в свой предмет; она подобна той любви, которую мате-

матики выражают символами, а поэты словами, и должна распространиться по миру, став достижением человечества. Так оно и есть. И мир бы ее разделил, если бы мистер Бэнкс смог внятно объяснить, чем эта женщина его прельщает, почему, наблюдая за тем, как она читает сказку сыну, он испытывает ровно те же чувства, что ощутил при удачном решении научной проблемы, когда сказал последнее слово о пищеварительной системе у растений, тем самым одержав победу над варварством и обуздав хаос.

Подобный восторг — как иначе это назвать? — заставил Лили совершенно позабыть, что она собиралась сказать. Ничего важного, что-то про миссис Рамзи. Все поблекло перед его чувством, перед молчаливым взглядом, за который она была ему признательна, ведь ничто не утешает больше, не избавляет от жизненных невзгод лучше, не облегчает самым чудесным образом твое бремя, чем эта высшая сила, дар небес, и прерывать ее — все равно что заслонить полосу солнечного света, падающую на пол комнаты.

Отрадно видеть, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс испытывает к миссис Рамзи подобные чувства (она покосилась на задумчивого старика). Нарочито небрежно Лили

поочередно вытерла кисти о старую тряпку, прячась от благоговения, простиравшегося на всех женщин, — она чувствовала себя причастной. Пусть смотрит, а она потихоньку взглянет на картину.

Лили едва не заплакала. Все плохо, плохо, бесконечно плохо! Она могла бы сделать совершенно иначе — цвета более тонкие и блеклые, контуры более размытые — сделать так, как увидел бы Понсфорт. Но она-то видит все по-другому! Цвет буквально пылал на стальной раме — цвет крылышек бабочки на сводах собора. На холсте от этого впечатления сохранилось лишь несколько случайных мазков. И никто на него не посмотрит, никто не повесит на стену, а в ушах звучит навязчивый шепот мистера Тэнсли: «Женщины не способны рисовать, не способны писать…»

Теперь она вспомнила, что собиралась сказать про миссис Рамзи. Точные слова позабылись, но явно что-то осуждающее. Прошлым вечером ее рассердила какая-то бесцеремонность. Проследив за взглядом мистера Бэнкса, она поняла, что ни одна женщина не способна восхищаться другой женщиной так же, как он; они могут лишь вместе укрыться под пологом, который распростер над ними мистер Бэнкс. К его лучу

она добавила свой лучик, подумав, что миссис Рамзи, безусловно, прелестнейшая из людей (сидит, склонившись над книгой), пожалуй, лучшая из всех; и в то же время отличается от идеала, который в ней видят. В чем же отличие, насколько оно сильно, гадала Лили, очищая палитру от бугорков синей и зеленой краски, теперь казавшихся ей безжизненными комками, и поклялась себе, что завтра вдохнет в них жизнь, заставит двигаться, течь, выполнять ее приказы. В чем же отличие? Какая у миссис Рамзи душа — то главное, по чему без тени сомнения можно определить, что перчатка с перекрученным пальцем, забытая в углу дивана, принадлежит именно ей? Она проворна, как птица, прямолинейна, как стрела. Она своенравная, властная (конечно, напомнила себе Лили, только по отношению к женщинам, к тому же я гораздо младше, ничего из себя не представляю, живу на Бромптон-роуд). Она открывает окна в спальнях, а двери закрывает. (Лили попыталась напеть мелодию миссис Рамзи, звучавшую в голове.) Поздно вечером стучится в спальни, закутанная в старую шубку (всегда драпирует свою красоту небрежно, зато уместно), и изображает что угодно — как Чарльз Тэнсли потерял зонтик, как мистер Кармайкл

шаркает тапочками и шмыгает носом, как мистер Бэнкс говорит: «Соли в овощах утрачены». Копирует она искусно, даже ехидно передергивает, а потом отходит к окну, делая вид, что ей пора — уже рассвет, солнце поднимается — стоит вполоборота, по-свойски, и все равно насмехается, твердит, что и Лили, и Мина — все должны выйти замуж, ведь какие бы лавры вы ни снискали (хотя миссис Рамзи плевать на ее живопись) и какие бы победы ни одержали (вероятно, на долю миссис Рамзи их выпало немало), и вдруг погрустнела, помрачнела, подошла к ее креслу, ведь бесспорно одно: незамужняя женщина (она легонько взяла Лили за руку), незамужняя женщина лишает себя самого лучшего в жизни! Казалось, дом полон спящих детей и хранящей их сон миссис Рамзи, приглушенного света и мерного дыхания.

Лили могла бы возразить: у нее есть отец, есть дом, и даже, с позволения сказать, живопись. Но все это казалось таким мелким, таким наивным. Тем не менее, пока ночь сходила на нет и за шторами разгорался белый свет, в саду время от времени начинали щебетать птицы, она набиралась отчаянной храбрости, чтобы объявить себя исключением из всемирного за-

кона, убеждать миссис Рамзи, что ей нравится быть одной, нравится быть собой; она не создана для другого; готовилась выдержать пристальный взгляд бесподобной глубины и столкнуться с простодушной уверенностью миссис Рамзи (иногда она вылитое дитя), что ее милая Лили Бриско — просто дурочка. Затем, вспомнила Лили, она положила голову миссис Рамзи на колени и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти в истерике при мысли о том, что миссис Рамзи с величавым спокойствием вершит судьбы тех, кого совершенно не понимает. Так она и сидела — простая, серьезная. Вернулось прежнее ощущение от миссис Рамзи — перекрученный палец перчатки. Ну-с, и на какую святыню мы посягаем? Лили Бриско наконец осмелилась поднять взгляд — миссис Рамзи совершенно не понимала, что вызвало ее смех, все такая же величавая, но уже без тени сумасбродства, вместо которого проступило нечто ясное, как просвет в облаках — кусочек неба, спящего подле луны.

То ли мудрость, то ли осознание? Или вновь обманчивость красоты, благодаря которой сбиваешься с мысли на полпути к истине, запутавшись в золотой сетке? Или миссис Рамзи замкнулась в себе, храня некую тайну, ведь без людских тайн,

полагала Лили Бриско, мир просто рухнет. Не могут же все жить, как она, перебиваясь чем попало. Если знают, почему бы не сказать? Сидя на полу и обнимая колени миссис Рамзи, прижавшись близко-близко, улыбаясь при мысли о том, что миссис Рамзи никогда не узнает причину этого напора, Лили представляла, что в чертогах разума и сердца женщины, которая ее касалась, словно сокровища в королевской гробнице, хранятся скрижали со священными заповедями; если сможешь их прочесть, то научишься всему, но их никогда не предлагают открыто, никогда не предают огласке. Каким образом, с помощью любви или обмана, можно проникнуть в те тайные чертоги? Каким устройством воспользоваться, чтобы подобно воде в сосуд проникнуть в предмет своего обожания? Способно ли тело или разум незаметно смешаться с запутанными извилинами мозга? Или изгибами сердца? Способна ли любовь, как люди это называют, сделать ее и мистера Рамзи одним целым? Сама Лили желала не знания, а единения, не заповедей на скрижалях, ничего, что можно написать на любом из известных человечеству языков, — она желала той близости, которая и есть знание, думала она, положив голову на колени миссис

Рамзи.

Пока Лили так сидела, не происходило ничего — ровным счетом ничего! И все же она понимала, что в сердце миссис Рамзи хранятся знание и мудрость. Как, вопрошала она себя, узнать о людях хоть что-нибудь, если они такие закрытые? Разве только подобно пчеле, влекомой сладостью или остротой, разлитой в воздухе, неуловимой ни на вкус, ни на ощупь, человек устремится в куполообразный улей, потом полетает в одиночку над разными странами и вновь вернется к ульям с их гулом и оживленностью; к ульям, которые и есть люди. Миссис Рамзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рамзи ушла. И еще долго вокруг нее витал легкий гул, едва уловимый, словно перемена в человеке, который тебе приснился, гораздо более отчетливый, чем все ее слова, когда она сидела у окна гостиной в плетеном кресле, сохраняя величественную форму — форму купола.

Этот луч прошел вровень с лучом мистера Бэнкса прямо к миссис Рамзи, которая сидела и читала Джеймсу, устроившемуся на ее коленях. Пока Лили смотрела, мистер Бэнкс закончил. Он надел очки. Отошел назад, поднял руку. Он слегка прищурил ясные голубые глаза, Лили запоздало

очнулась, поняла, к чему идет дело, и сжалась, словно собака при виде руки, занесенной для удара. Можно было схватить картину и спрятать, но она сказала себе: я должна. И приготовилась выдержать ужасное испытание. Я должна, сказала она, я должна. Если уж показывать картину, пусть это будет мистер Бэнкс. Демонстрировать чужим глазам сухой остаток своих тридцати трех лет, залежи прожитых дней, смешанные с чем-то очень сокровенным, о чем она не отваживалась заговорить, не позволяла себе проявить открыто, невыносимо и в то же время необычайно волнительно.

Все произошло спокойно и весьма буднично. Достав перочинный нож, мистер Бэнкс постучал по холсту костяной рукояткой. Что она намеревалась отобразить фиолетовым треугольником «вот здесь?», поинтересовался он.

Лили пояснила, что это миссис Рамзи читает Джеймсу. Она предвидела его возражение: на человеческую фигуру совершенно не похоже. Но к сходству она и не стремится. Тогда зачем они там? Действительно, зачем? Разве что в другом углу слишком светло, и ей понадобилось добавить сюда тени. Как говорится, просто, очевидно, банально, однако мистер Бэнкс заинтересовался.

Мать и дитя — предметы всеобщего почитания, в этом же случае мать известна своей красотой, значит, рассудил он, ее можно свести к фиолетовой тени, ничуть не принизив.

Картина не про них, возразила Лили. Или не в том смысле, что вкладывает он. Есть и другие средства, которыми их можно превознести. С помощью тени и света, к примеру. Такую вот форму приняла дань ее уважения, поскольку она смутно чувствовала, что картина должна быть данью уважения. Мать и дитя нужно свести к тени, что их ничуть не принижает. Свет в одном месте требует тени в другом. Мистер Бэнкс задумался. Ему было интересно. Он добросовестно воспринял объяснение с научной точки зрения. По правде говоря, все его пристрастия — на стороне другого направления в живописи. У него в гостиной висит большая картина, которую художники превозносят и ценят гораздо выше, чем он за нее отдал, вишни в цвету на берегах Кеннета. Там он провел медовый месяц, пояснил мистер Бэнкс. Ей стоит прийти и взглянуть на полотно, сказал он. А теперь… Он повернулся к холсту, подняв очки на лоб, и приступил к научному изучению. Поскольку весь вопрос в том, как соотносятся скопления света и тени, о чем он,

честно говоря, никогда не задумывался, ему хотелось бы выслушать ее объяснение: что она намерена делать вот с этим? И он обозначил место на картине. Лили смотрела. Она не могла показать, что намерена делать, даже сама не понимала этого без кисти в руке и приняла привычную позу художника с тусклым взглядом и небрежными манерами, направив все свои чисто женские впечатления в гораздо более общее русло, снова оказавшись во власти того образа, который восприняла очень ярко, а теперь вынуждена отыскивать среди живой изгороди, домов, матерей и детей — своей картины. Вопрос в том, как связать скопление цвета справа с тем, что слева. Она могла бы провести линию-ветку через весь холст или разбить пустоту заднего плана каким-нибудь предметом (возможно, изобразив Джеймса). Опасность в том, что тогда нарушится единство замысла. Лили умолкла, не желая больше его утомлять, и сняла холст с мольберта.

Теперь картину увидели, забрали у нее. Посторонний человек разделил с ней нечто глубоко личное. И, благодаря за это мистера и миссис Рамзи, поскольку была обязана им временем и местом, поскольку они наделяли мир силой,

о которой она даже не подозревала (оказывается, можно идти по длинной галерее жизни не в одиночестве, а рука об руку с кем-нибудь — самое странное и пьянящее чувство на свете), Лили защелкнула замочек на этюднике чуть более решительно, чем необходимо, и этим звуком навеки замкнула в кольцо этюдник, лужайку, мистера Бэнкса и отчаянную негодницу Кэм, пронесшуюся мимо.

10

Кэм едва разминулась с мольбертом; ее не остановила ни Лили Бриско, ни протянувший руку мистер Бэнкс, ведь он был не прочь иметь такую дочку, ее не остановил ни отец, в которого она тоже едва не врезалась, ни мать, крикнувшая: «Кэм, подойди на минутку!». Она летела как птица, как пуля, как стрела, движимая неизвестно каким желанием, пущенная неизвестно кем и в какую цель. Что, ну что с ней такое? — гадала миссис Рамзи. Может быть, ее влекла неведомая мечта — ракушка, садовая тележка, сказочное королевство по другую сторону живой изгороди или просто упоение скоростью — кто знает? Но когда миссис Рамзи окликнула Кэм во второй

раз, снаряд свернул с курса, и Кэм нехотя направилась к матери, сорвав по пути листочек.

О чем она мечтает, гадала миссис Рамзи, глядя на погруженную в раздумья дочь, так что даже пришлось повторить просьбу: спроси у Милдред, вернулись ли Эндрю, мисс Дойл и мистер Рэйли. Слова точно падали в колодец, и даже если вода там была прозрачной, то искажала их до неузнаваемости — Бог знает, что за рисунок останется на дне детского разума. Какое послание доставит Кэм кухарке? Миссис Рамзи не знала. И в самом деле, оставалось лишь терпеливо ждать и слушать про то, как на кухне пьет из миски суп старушка с очень красными щеками, а потом миссис Рамзи удалось пробудить в ней подражательный рефлекс, благодаря которому девочка уловила слова Милдред довольно точно и смогла воспроизвести, монотонно пробубнив. Переминаясь с ноги на ногу, Кэм повторила: «Нет еще; я велела Эллен убирать со стола чай».

Видимо, Минта Дойла с Полом Рэйли не вернулись. Это может означать, подумала миссис Рамзи, только одно: придется принять его либо отказать ему от дома. Прогулка после ланча, даже в компании Эндрю — что еще это может означать? — все я рассудила правильно, поняла

миссис Рамзи (Минта ей очень, очень нравилась), и остается лишь принять славного юношу, пусть он и не слишком умен, но ведь ей, подумала миссис Рамзи (Джеймс потеребил ее за подол, желая услышать продолжение сказки про рыбака и его жену), лично ей гораздо более по сердцу такие вот балбесы, нежели умники, которые пишут диссертации, — Чарльз Тэнсли, к примеру. Так или иначе, наверное, все уже случилось.

И миссис Рамзи прочла: «На следующее утро жена проснулась на рассвете и увидела благодатную страну, которая простиралась кругом замка. Ее муж еще спал…»

Разве Минта сможет ему отказать? Ведь она бродила с ним по окрестностям целыми днями — Эндрю наверняка ушел за крабами, — но с ними могла отправиться и Нэнси. Миссис Рамзи пыталась вспомнить, как они стояли в дверях после ланча. Смотрели на небо, сомневались насчет погоды, и она сказала, отчасти желая помочь им справиться со смущением, отчасти чтобы подбодрить (симпатии миссис Рамзи были на стороне Пола): «На небе — ни облачка», и Чарльз Тэнсли, вышедший следом, хихикнул. Она сделала это нарочно. Неизвестно, увязалась Нэнси за ними или нет, думала миссис Рамзи, переводя мыслен-

ный взор с Минты на Пола.

Она продолжила читать: «Эх, жена, — вздохнул рыбак, — зачем тебе быть королевой? Ну какой из меня король?! Не хочешь — не надо, — ответила жена, — а я буду! Ступай к камбале и сделай меня королевой!»

— Либо входи, либо выходи, Кэм, — велела она, зная, что Кэм привлекло слово «камбала» и через миг она начнет ерзать и ссориться с Джеймсом. Кэм унеслась прочь. Миссис Рамзи облегченно продолжила читать, ведь вкусы у них с Джеймсом совпадали и им было хорошо вдвоем.

— И когда пришел он к морю, море стало темно-серым, волны вздымались высоко и пахли гнилью. Встал он на берегу и сказал:

Ка́мбала, ка́мбала, рыба морская,
Выйди на берег, тебя умоляю,

Вновь Изабель, жена моя,
Против воли шлет меня.

«Ну, и чего она хочет теперь?» — спросила камбала. Где же они теперь? — гадала миссис Рамзи, без всякого труда читая и размышляя одновременно, потому что история рыбака и его жены была для нее словно басовая партия,

которая нежно вплеталась в мелодию и время от времени обретала неожиданно громкое звучание. И когда расскажут ей? Если ничего не произошло, придется поговорить с Минтой серьезно, потому что нельзя разгуливать повсюду с Полом, даже в присутствии Нэнси (она снова безуспешно попыталась представить, как они удаляются по тропинке, и пересчитать силуэты). Она отвечает за Минту перед ее родителями — перед Совой и Кочергой. Придуманные ею самой прозвища неожиданно вспыхнули в памяти. Сова и Кочерга — вот разозлятся, когда узнают! — а они наверняка узнают — что Минту, гостившую у Рамзи, видели в компании — и так далее и тому подобное. «Он носит парик в палате общин, а она успешно помогает ему с карьерой, устраивая званые приемы», — повторила миссис Рамзи вспомнившуюся фразу, которой вздумала развлечь мужа, вернувшись с очередного приема. Господи, как их угораздило произвести на свет столь нелепое создание? Девицу-сорванца в дырявых чулках? Как она умудрилась выжить в столь напыщенной атмосфере, где горничная беспрестанно выносит совок с песком, рассыпанным попугаем, и беседа вечно сводится к проделкам — может, порой интересным,

но весьма однообразным — этой птицы? Как же было не пригласить ее на ланч, на чай, на обед, наконец, погостить здесь, в Финли, что неизбежно привело к трениям с Совой, ее матерью, и последовало еще больше визитов, больше разговоров, больше песка — на самом деле миссис Рамзи в жизни столько не лгала, восхищаясь попугаями (как она призналась мужу в тот вечер, когда вернулась с приема). Зато Минта приехала… Да, приехала, думала миссис Рамзи, нащупав занозу в спутанном клубке своих мыслей, потянула за ниточку и добралась до истины: когда-то одна женщина ей заявила, что миссис Рамзи «лишает ее привязанности собственной дочери», и слова миссис Дойл напомнили ей то давнее обвинение. Желание властвовать, вмешиваться, заставлять других подчиняться — вот в чем ее обвиняли, причем совершенно несправедливо. Разве она виновата, что красива? Миссис Рамзи ничуть не стремилась произвести впечатление, часто стыдилась своей неряшливости. И вовсе она не властная и не деспотичная! Впрочем, если дело касалось больниц, водостоков и молочных продуктов, то она давала себе волю — к подобным вещам невозможно относиться равнодушно и, представься такая возможность, она с удо-

вольствием хватала бы людей за шиворот и заставляла узреть все эти безобразия. На целый остров — ни одной больницы! Какой позор! В Лондоне молоко доставляют прямо к порогу, и оно буквально коричневое от грязи. Это следует пресечь! Ей хотелось устроить здесь образцовый молочный магазин и больницу, но где найти время? У нее дети, пока все не подрастут, не пойдут в школу, времени совершенно не хватит.

Как же ей не хотелось, чтобы Джеймс повзрослел хотя бы на день! Да и Кэм тоже. Двоих младших она с удовольствием сохранила бы именно такими, как сейчас — озорными бесенятами, прелестными ангелочками, — и не видела, как они вырастают в длинноногих чудовищ. Утрата поистине невосполнимая! Читая Джеймсу про солдат с литаврами и трубами, глядя, как темнеют его глаза, миссис Рамзи думала: почему они взрослеют и все это утрачивают? Джеймс — самый одаренный, самый чуткий из ее детей. Впрочем, все они подают большие надежды. Прю — чистый ангел по сравнению с остальными, такая красивая, что просто дух захватывает, особенно по вечерам. Эндрю… Даже муж признает, что у него выдающиеся способности к математике. Нэнси с Роджером — те еще непоседы,

носятся на приволье целыми днями. Что же касается Роуз, то она не смолчит, зато руки золотые. Какие шьет платья для домашних спектаклей, как искусно накрывает на стол, какие составляет букеты — да все, что угодно! Миссис Рамзи не нравилось, что Джаспер стреляет по птицам, но у него просто этап такой, все дети проходят через определенные этапы. Почему, спрашивала она себя, прижавшись подбородком к головке Джеймса, почему они растут так быстро? Зачем им ходить в школу? Ей всегда хотелось иметь детей. Какое счастье держать на руках младенца! Пусть люди считают ее властной и деспотичной, если угодно, — ей все равно. Касаясь волос ребенка губами, она подумала: больше никогда ему не быть таким счастливым, и тут же оборвала себя, вспомнив, как рассердился муж, услышав подобные слова. И все же это правда. Сейчас у детей золотая пора, больше так не будет. Кукольный сервиз за десять пенсов мог сделать Кэм счастливой на много дней. Едва они просыпались, над головой раздавался топот ног и радостные крики. Дети гурьбой неслись по коридору, дверь распахивалась, и они влетали в столовую — свежие как огурчики, с горящими глазами, вполне очнувшись от сна, словно прийти на завтрак,

как они делали каждый божий день, — настоящее событие; и так далее, одно за другим, целый день напролет, пока миссис Рамзи не поднималась наверх пожелать им доброй ночи и не обнаруживала их под москитными сетками: уютно устроились в кроватках, словно птички среди зарослей вишни и малины, обсуждают всякую чепуху — что услышали за день, что сорвали в саду. И все свои маленькие сокровища… Она спустилась вниз и сказала мужу: зачем им вырастать и лишаться всего этого? Сейчас у них самая счастливая пора, больше так не будет. А он разозлился. К чему смотреть на жизнь столь мрачно? Он сказал, что это неразумно. Как ни странно, при всей своей мрачности и безысходности, в целом муж был гораздо счастливее и оптимистичнее, чем она. Меньше подвластен человеческим заботам — пожалуй, в том-то и дело. Его всегда поддерживала наука. Миссис Рамзи вовсе не считала себя пессимисткой, как обозвал ее муж. Просто думала, что жизнь — тонкая полоска времени перед глазами, ее пятьдесят прожитых лет… Жизнь лежит передо мной, подумала миссис Рамзи, жизнь… Но не довела мысль до конца. Она смотрела на жизнь, ощущая ее как нечто зримое, реальное, глубоко лич-

ное, чем не делилась ни с детьми, ни с мужем. Миссис Рамзи заключила с ней сделку и всегда стремилась получить больше, чем ей полагалось; порой они вступали в переговоры (когда она сидела в одиночестве), за которыми следовали сцены великих примирений, но по большей части, как ни удивительно, следует признать, что жизнь казалась ей ужасной, враждебной силой, готовой обрушиться на нее в любой момент. Есть извечные проблемы — страдание, смерть, бедность. Постоянно какая-нибудь женщина умирает от рака — даже здесь, в Финли. И все же она говорила своим детям: вы должны через это пройти. Она непрестанно повторяла это всем восьмерым (не забывая напоминать про пятьдесят фунтов за починку теплицы). Именно поэтому, зная, что их ждет — любовь и честолюбивые замыслы, безотрадное одиночество в самых унылых краях, — она часто думала: зачем им вырастать и лишаться всего этого? И тогда говорила себе, потрясая перед жизнью мечом: вздор! Мои дети будут счастливы! И вот опять миссис Рамзи задумалась о своей нелегкой судьбе и все же вынуждает Минту выйти замуж за Пола Рэйли, ведь как бы сама ни относилась к сделке с жизнью, какие бы испытания ни выпа-

ли на ее долю (к чему вдаваться в подробности?), она продолжала настаивать — пожалуй, слишком рьяно, словно видела в том спасение и для себя лично, — что люди должны жениться, должны заводить детей.

Неужели я неправа, задавалась она вопросом, критически оценивая свое поведение за последнюю неделю или две, и думала, не слишком ли давит на Минту, которой всего двадцать четыре, заставляя решиться? Миссис Рамзи засомневалась. Не зря же она сама смеялась над собой! Неужели опять забыла, как сильно ее влияние на людей? Для брака требуется столько всего — столько всяких качеств (починка теплицы обойдется в пятьдесят фунтов), и самое главное (об этом и говорить нечего) — то, что есть между ними с мужем. Есть ли оно у Пола с Минтой?

— И тогда он надел штаны и бросился прочь как безумный, — прочитала она. — Снаружи бушевала страшная буря, ветер сбивал с ног, сметал дома, вырывал деревья с корнями, горы дрожали, скалы падали в море, небо почернело и дрожало от грома и молний, по морю бежали увенчанные белой пеной черные валы высотой с колокольни и горы…

Миссис Рамзи перевернула страницу — оста-

валось всего несколько строк, значит, сказку они закончат сегодня, хотя давно пора ложиться спать. Уже поздно, поняла она по сумеречному саду, побелевшим цветам и посеревшим листьям и ощутила смутную тревогу, причин для которой вроде бы не было. Потом вспомнилось: Пол с Минтой и Эндрю не вернулись. Перед ее мысленным взором вновь предстала вся компания на пороге — стоят и смотрят в небо. У Эндрю — сеть и корзинка. Значит, собрался ловить крабов и прочую живность. Значит, собрался лазать по скалам, и его отрежет прилив. Или они пойдут обратно по узкой тропинке гуськом, и кто-нибудь поскользнется прямо на вершине утеса — покатится вниз кубарем и разобьется! Между тем стремительно темнело.

Однако голос ее ничуть не дрогнул, когда она дочитала сказку, закрыла книгу и проговорила последнюю фразу так, словно сочинила ее сама, глядя Джеймсу в глаза: «Там они и живут себе по сей день».

— Конец, — добавила миссис Рамзи, наблюдая, как в глазах ребенка гаснет интерес к сказке и вспыхивает нечто иное — смутное восхищение, похожее на отблеск света. Обернувшись, она посмотрела на залив и, конечно же, увидела

над волнами две короткие вспышки и одну долгую — маяк уже зажгли.

Сейчас сын спросит: «Мы поедем на маяк?» И придется ответить: «Завтра не поедем, папа говорит, что нет». К счастью, за ними пришла Милдред, и Джеймс отвлекся, хотя и продолжал поглядывать через плечо, когда его уносили из комнаты. Миссис Рамзи знала наверняка, о чем он думает («на маяк завтра не поедем»), и боялась, что он не забудет об этом всю жизнь.

11

Нет, размышляла миссис Рамзи, складывая вырезанные сыном картинки — холодильник, газонокосилка, джентльмен в вечернем костюме, — дети ничего не забывают. Вот почему так важно все, что говоришь и делаешь. Хорошо хоть, спать легли, ведь теперь ни о ком думать не надо. Она могла побыть собой, лишь оставшись одной. Ей так часто этого не хватало — подумать, точнее, даже не подумать, нет. Просто помолчать, оставшись одной. Исчезает необходимость жить и делать, общаться, блистать, и ты с ликованием уменьшаешься в несколько раз, становишься прежней — клиновидным сгуст-

ком мрака, невидимым для посторонних глаз. Продолжая вязать и сидеть прямо, именно так она себя и ощущала, избавившись от всех привязанностей и открывшись самым удивительным переживаниям. Когда жизнь ненадолго замирает, границы бытия расширяются до бесконечности. И у всех, полагала миссис Рамзи, есть это ощущение неисчерпаемости ресурсов — и сама она, и Лили, и Август Кармайкл наверняка осознают, что наши внешние проявления — то, по чему нас узнают другие, — глупое ребячество, за которым расстилается темнота, непроницаемая и бездонная, но время от времени мы поднимаемся на поверхность и становимся видны другим. Жизненный горизонт казался ей бесконечным. Он включал все места, где она не бывала, — просторы Индии, сень римского храма. Сгусток мрака мог проникнуть куда угодно, потому что его не видел никто. Им его не остановить, ликовала она. В нем — свобода, в нем — мир и, наконец, самое желанное — возможность собрать себя воедино, опереться на внутренние устои. По ее опыту, никому не найти покоя нигде (миссис Рамзи ловко исполнила спицами какой-то фортель), кроме как в этом клинышке мрака. Утрачивая индивидуальность, вместе с ней забываешь

и про тревоги, суету, заботы; в такие моменты с губ ее рвался крик торжества над жизнью, когда сходятся воедино мир, покой, вечность; сделав передышку, она встретилась взглядом с лучом маяка — длинной вспышкой света, последней из трех, которая принадлежала ей, ведь наблюдая за чем-нибудь в подобном настроении, в подобное время, поневоле привязываешься к тому, что видишь, а она видела долгий, ровный луч, значит, луч принадлежал ей. Часто она ловила себя на том, что сидит и смотрит, сидит и смотрит с рукоделием в руках, пока не превратится в то, на что смотрит, — к примеру, в свет маяка. И это поднимало из глубин сознания ту или иную фразу (Дети ничего не забывают, дети ничего не забывают), которую она начинала твердить, добавляя к ней что-нибудь еще: пройдет, все пройдет, говорила она, случится, это случится, и вдруг неожиданно для себя произнесла: «Все в руках Божьих».

И тут же на себя рассердилась. При чем здесь это? Она вовсе не имела в виду ничего подобного! Миссис Рамзи отвлеклась от вязания, встретила взглядом третью вспышку маяка и словно посмотрела в глаза самой себе, проникла в свою душу и сердце, очистившись от *лжи*, от любой *лжи*.

Она вознесла себе хвалу, превознося свет, вознесла без тени тщеславия, ведь и сама она такая же неумолимая, взыскующая и прекрасная. Странно, подумала миссис Рамзи, как в одиночестве нас тянет к предметам неодушевленным — к деревьям, ручьям, цветам, — как они отображают тебя, становятся тобой; как чувствуешь, что в той или иной мере вы едины, и вместе с тем ощущаешь необъяснимую нежность (она смотрела на длинный, ровный луч) как к себе самой. Она смотрела и смотрела, позабыв про спицы, а со дна сознания, со дна озера ее души, поднимался легкий туман, словно невеста навстречу любимому.

Она гадала, что заставило ее сказать: «Все в руках Божьих»? Меж истин проскользнула ложь, и это раздражало. Миссис Рамзи вернулась к вязанию. Разве мог сотворить этот мир какой-нибудь бог? Умом она всегда понимала, что в мире нет ни смысла, ни порядка, ни справедливости — лишь страдания, смерть, нищета. Она знала, что мир не гнушается никакой низостью. Она знала, что любое счастье недолговечно. Она вязала с твердым самообладанием, слегка поджав губы и, сама того не замечая, сделала такое суровое и строгое лицо, что проходивший

мимо муж, хотя и усмехнулся при мысли о том, как философ-просветитель Юм невероятно растолстел и однажды застрял в болоте, и все же мистер Рамзи не мог не отметить, что в основе ее красоты лежит суровость. Это его опечалило, а ее холодность больно ранила, и он почувствовал, проходя мимо, что не может ее защитить, и, подойдя к живой изгороди, загрустил. Он ничем не в силах ей помочь, вынужден стоять в стороне и наблюдать. Несомненная, проклятая правда в том, что с ним ей только хуже! Он несдержанный, обидчивый — вспылил из-за маяка… Мистер Рамзи вгляделся в переплетение ветвей, черневших в темноте.

Всегда, чувствовала она, человек помогает себе справиться с одиночеством, скрепя сердце хватаясь за какую-нибудь мелочь — звук или образ. Миссис Рамзи прислушалась, но было очень тихо — крикет закончился, дети ушли мыться, остался лишь шум моря.

Она перестала вязать, опустила длинный красно-коричневый чулок. Она вновь увидела свет. С долей иронии, ведь стоит наконец очнуться, и все воспринимается иначе, смотрела на ровный свет, безжалостный и бесцеремонный, так похожий и не похожий на нее саму,

который всегда держал ее на побегушках (она просыпалась посреди ночи и видела, как луч изгибается над кроватью, скользит по полу), и, несмотря на все, что думала, наблюдая за ним с восхищением, как зачарованная, словно тот водил серебристыми пальцами по запечатанному сосуду в мозгу, разрыв которого вот-вот затопит ее восторгом, она познала счастье, острое и насыщенное, и в свете гаснущего дня бурные волны серебрились чуть ярче, море утрачивало синеву и становилось лимонно-желтым, накатывало валами и обрушивалось на берег, а в глазах вспыхивало наслаждение, волны блаженства бежали по дну ее сознания, и она чувствовала: этого достаточно! Достаточно!

Мистер Рамзи обернулся и увидел ее. До чего прелестна — прелестнее, чем ему помнилось. Заговорить он не решался. Ни к чему ее тревожить. Ему хотелось с ней поговорить, ведь Джеймс ушел спать и она наконец осталась одна. И все же он не стал бы ее тревожить.

Так недостижима, отгородилась своей красотой, своей печалью. Он прошел бы мимо без единого слова, хотя ему и больно было видеть ее такой отстраненной — ни дотянуться, ни помочь.

И снова прошел бы мимо, не сказав ни слова, если бы в тот самый миг жена по собственной воле не дала ему то, о чем, как она знала, он никогда не попросит, и не окликнула его, и не сняла зеленую шаль с картины, и не подошла сама. Она знала, что ему хочется ее защитить.

12

Миссис Рамзи набросила на плечи зеленую шаль, взяла мужа за руку. До чего красив, внезапно сказала она, имея в виду Кеннеди, садовника, настолько неотразим, что и увольнять жалко. К стене была приставлена лестница, вокруг прилипли комочки замазки — к починке теплицы все-таки приступили. Прогуливаясь туда-сюда с мужем, миссис Рамзи чувствовала: хотя бы один источник беспокойства иссяк. На языке вертелась фраза: «Это обойдется нам в пятьдесят фунтов», но как всегда, если речь заходила о деньгах, у нее не хватило духу, и она пожаловалась, что Джаспер стреляет по птицам, и мистер Рамзи тут же ее заверил, что для мальчишки это вполне естественно и вскоре он наверняка найдет себе более достойное развлечение. Ее муж — человек разумный и справедливый. «Да, все дети про-

ходят определенные этапы», — согласилась она и начала рассматривать георгины на большой клумбе, размышляя, что посадить на следующий год, и спросила, знает ли он, каким прозвищем дети наградили Чарльза Тэнсли. Атеист, они называют его мелким атеистом. «Сам заслужил своими манерами», — заметил мистер Рамзи. «Вот именно», — поддакнула миссис Рамзи.

Наверное, лучше оставить его в покое, сказала миссис Рамзи, размышляя, стоит ли выписывать луковичные — их вообще посадят? «Ему нужно заниматься диссертацией», — напомнил мистер Рамзи. Про его диссертацию она знает буквально все, заявила миссис Рамзи. Он только о ней и говорит. Пишет про влияние кого-то на что-то. «Больше ему рассчитывать не на что», — кивнул мистер Рамзи. «Молись небесам, чтобы он не влюбился в Прю!» — предупредила миссис Рамзи. Тогда он лишит ее наследства, пообещал мистер Рамзи. Он смотрел не на цветы, которые разглядывала жена, а на добрый фут выше, уставившись в одну точку. Вреда от Тэнсли не будет, добавил он и как раз собирался отметить, что это единственный молодой человек в Англии, который восхищается… и подавил порыв. Он больше не станет тревожить ее своими книгами. Цветы

вполне достойны похвалы, проговорил мистер Рамзи, опустив взгляд и обратив внимание на что-то красное, что-то коричневое. Да, ведь она сажала их своими руками, сообщила миссис Рамзи. Вопрос в том, что произойдет, если она выпишет луковичные — Кеннеди посадит их или нет? Неисправимый лентяй, прибавила она, двинувшись дальше. Если стоять у него над душой целый день, может, и ударит палец о палец. И они неспешно направились к зарослям огненно-красной книпхофии. «Ты и дочерей учишь преувеличивать», — неодобрительно отозвался мистер Рамзи. Миссис Рамзи заметила, что ее тетушка Камилла была гораздо хуже. «Насколько мне известно, ни у кого бы язык не повернулся назвать твою тетушку Камиллу образцом добродетели», — заявил мистер Рамзи. «Женщин красивее я не встречала», — призналась миссис Рамзи. «Зато я встречал», — отрезал мистер Рамзи. Прю вырастет гораздо красивее меня, произнесла миссис Рамзи. Пока на это ничто не указывает, возразил мистер Рамзи. «Сам взгляни сегодня», — посоветовала миссис Рамзи. Помолчали. Ему хотелось, чтобы Эндрю учился усерднее. Если не возьмется за ум, рискует остаться без стипендии. «Ох уж эти

стипендии!» — воскликнула она. Мистер Рамзи счел замечание откровенной глупостью, ведь стипендия — вещь серьезная. Если Эндрю ее получит, то он будет очень гордиться сыном. А если не получит, возразила миссис Рамзи, то она будет гордиться сыном ничуть не меньше. Они вечно об этом спорили, но ей нравилось, что муж верит в стипендию, а ему нравилось, что она гордится Эндрю, несмотря ни на что. Внезапно ей вспомнились узкие тропки на краю скал.

Не поздновато ли? — спросила она. До сих пор они не вернулись. Мистер Рамзи небрежно раскрыл часы. Только половина восьмого. Он подержал часы, раздумывая, сказать ли ей, что почувствовал на террасе. Прежде всего, ни к чему так нервничать. Эндрю способен о себе позаботиться. К тому же ему хотелось сказать ей, что на террасе… И он ощутил неловкость, словно вторгся в ее уединение, нарушил ее отрешенность… Но она настаивала. Так что же он хотел сказать, спросила миссис Рамзи, думая про поездку на маяк, надеясь услышать извинения. И ошиблась. Ему не нравится видеть ее такой печальной, признался мистер Рамзи. Просто витала в облаках, возразила она, чуть покраснев. Обоим стало неловко, словно они не знали, идти даль-

ше или вернуться. Она читала Джеймсу сказки, пояснила миссис Рамзи. Нет, разделить этого они не могли, как и обсуждать вслух.

Они дошли до прогала в зарослях книпкофии и снова увидели свет маяка, но миссис Рамзи не стала на него смотреть. Знала бы, что муж наблюдает, ни за что не позволила бы себе сидеть, задумавшись! Ее раздражало все, что напоминало о былой задумчивости. Она оглянулась на город. Огни дрожали и перемещались, словно серебристые капли воды на ветру. Вот где вся нужда, все страдания, подумала миссис Рамзи. Огни города, гавани и судов казались призрачной плавучей сетью, обозначавшей место, где что-то ушло на дно. Если мне не суждено разделить ее мысли, сказал себе мистер Рамзи, лучше уйти. Ему хотелось размышлять о своем, вспоминать анекдот про Юма, застрявшего в болоте, ему хотелось смеяться. Зачем так тревожиться об Эндрю — что за глупость?! В его годы мистер Рамзи целыми днями гулял по окрестностям налегке, с галетой в кармане, и никто о нем не тревожился и не думал, что он свалится со скалы. Вслух же заметил, что отправится на дневную прогулку, если погода позволит. Хватит с него Бэнкса и Кармайкла! Ему захотелось уединения. Хорошо,

ответила она. Его рассердило, что она не стала возражать. Миссис Рамзи знала, что никуда он не пойдет. Слишком стар, чтобы гулять весь день с галетой в кармане. Она переживала за мальчиков, но не за него. Стоя у прогала в зарослях книпкофии и глядя на залив, он вспомнил, как много лет назад, еще до женитьбы, гулял целыми днями. Питался в трактире хлебом с сыром. Работал по десять часов без перерыва, а старуха иногда заглядывала в комнату, присматривая за камином. Ему очень нравилось среди дюн, уходящих во тьму. Можно было бродить целыми днями и никого не встретить. Ни дома, ни деревни на мили вокруг. Можно было разобраться во всем в одиночку. На мелкие песчаные пляжи испокон веков не ступала нога человека. Морские котики садились и смотрели на него, ничуть не боясь. Иногда ему казалось, что там, в домишке, совсем один… Он оборвал себя и вздохнул. Отец восьмерых детей не имеет на это права, напомнил себе мистер Рамзи. Надо быть последней скотиной, чтобы желать хоть что-нибудь изменить. Эндрю вырастет гораздо лучшим человеком, чем он сам. Прю станет красавицей, как говорит ее мать. Они немного сдержат хаос. В общем и целом, все его восемь детей удались.

Судя по ним, не так уж он и подвел сей бедный мирок, особенно в столь дивный вечер, подумал мистер Рамзи, глядя на тающую вдали землю, и островок суши показался ему прискорбно крохотным, наполовину поглощенным морем.

— Бедный, несчастный островок, — прошептал он, вздохнув.

Жена услышала. Он говорил ужасно тоскливые вещи, но она заметила, что стоит ему высказаться, как он становится гораздо жизнерадостнее, чем обычно. Твое фразерство — просто игра, подумала миссис Рамзи, ведь если бы подобные мысли озвучила она, то давно бы застрелилась.

Пустое фразерство ее раздражало, и она сказала, как ни в чем не бывало, что вечер прелестный. Вздыхать совершенно не о чем, воскликнула она со смехом и с огорчением, потому что догадалась, о чем муж подумал: он написал бы гораздо лучшие книги, если бы не женился.

Вовсе он не жалуется, заявил мистер Рамзи. Она сама знает, жаловаться ему совершенно не на что. И он поднес ее руку к губам и поцеловал с таким пылом, что она прослезилась, и тут же выпустил.

Они отвернулись от залива и побрели по дорожке через заросли серебристо-зеленых расте-

ний, чьи листья похожи на копья. Рука у него почти как у юноши, подумала миссис Рамзи, тонкая и крепкая, и восхитилась, какой он сильный в свои шестьдесят с небольшим, какой неукротимый и оптимистичный, и до чего странно, что при всей уверенности в том, что жизнь полна ужасов, муж вовсе не падает духом и даже бодрится. Разве не странно? — размышляла она. Иногда ей казалось, что он устроен иначе, чем другие люди, родился слепым, глухим и немым для обычных вещей, зато все необычное улавливает зорко, словно орел. Порой прозорливость мужа ее поражала. Но замечает ли он цветы? Нет. Замечает ли вид со скалы? Нет. Замечает ли красоту собственной дочери, знает ли, что на тарелке лежит пудинг или ростбиф? Сидит за столом с отсутствующим взглядом, словно грезит наяву. Вдобавок взял за обыкновение разговаривать вслух или декламировать стихи, чем дальше, тем больше, опасалась она, ведь порой бывает довольно неловко…

Лучшие умы и таланты – прочь![5]

У бедняги мисс Гиддингс, когда он это прокри-

---

[5] Сноски: 5
П. Б. Шелли. «Приглашение» (1811).

чал, душа ушла в пятки. Впрочем, подумала миссис Рамзи, — мгновенно принимая его сторону против всех скудоумных Гиддингс мира и легким пожатием руки дав мужу понять, что не поспевает за ним в гору и хочет остановиться, чтобы поглядеть, не появились ли на берегу свежие кротовины, — впрочем, подумала она, сходя с дорожки, столь великий ум и должен отличаться во всех отношениях. Таковы все великие люди, кого ей довелось узнать, думала она, гадая, не завелся ли там кролик, и молодежи полезно (хотя самой миссис Рамзи атмосфера лекционных залов казалась душной и поистине невыносимой) послушать, даже просто на него посмотреть. Если кроликов не стрелять, как от них избавиться? Может, кролик, может, крот. В любом случае какой-то зверек уничтожает вечерние примулы! Посмотрев вверх, миссис Рамзи увидела среди тонких ветвей первый проблеск звезды и хотела показать мужу, потому что это зрелище доставило ей огромное удовольствие, но вовремя опомнилась. Все равно не увидит, а если и увидит, скажет что-нибудь вроде «бедный, несчастный мирок», да еще вздохнет!

И тогда он сказал: «Очень красивые», чтобы сделать ей приятно, притворившись, что восхи-

щается цветами. И все же она прекрасно поняла: он ничуть ими не восхищается и даже не видит. Просто хочет сделать ей приятно… Неужели Лили Бриско прогуливается с Уильямом Бэнксом? Миссис Рамзи прищурила близорукие глаза, разглядывая удаляющуюся парочку. Так и есть. Не означает ли это, что они поженятся? Замечательная идея! Они должны пожениться!

13

Он ездил в Амстердам, рассказывал мистер Бэнкс Лили Бриско, прогуливаясь по лужайке. И в Мадрид. К сожалению, была Страстная пятница и музей Прадо не работал. Мисс Бриско не довелось посетить Рим? Стоило бы — прекрасный опыт для нее — Сикстинская капелла, Микеланджело, да и в Падую тоже можно — взглянуть на фрески Джотто. Жена мистера Бэнкса часто хворала, поэтому осмотром достопримечательностей они занимались мало.

Лили бывала в Брюсселе и в Париже, но недолго — навещала заболевшую тетю. И в Дрездене тоже, там много картин, которых она не видела; впрочем, полагала Лили, смотреть на картины не стоит — только расстраиваться из-за несо-

вершенства своих работ. Мистер Бэнкс считал, что так можно зайти слишком далеко. Не всем же быть Тицианами и Дарвинами, заметил он, и в то же время разве Тициан и Дарвин не потерялись бы на общем фоне, не обладай мы скромными способностями? Лили захотелось сделать ему комплимент: ваши способности вовсе не скромные, мистер Бэнкс, могла бы она сказать. Но он в комплиментах не нуждался (в отличие от большинства мужчин), поэтому она устыдилась своего порыва и промолчала, он же добавил, что к картинам это, пожалуй, вряд ли относится. В любом случае, призналась Лили, отбросив лицемерие, она продолжит занятия живописью, потому что ей интересно. Да, согласился мистер Бэнкс, он в этом уверен, и, дойдя до края лужайки, спросил, не трудно ли ей находить сюжеты для картин в Лондоне, и тут они повернули обратно и увидели чету Рамзи. Вот что такое брак, подумала Лили, мужчина и женщина смотрят, как девочка бросает мяч. Вот что миссис Рамзи пыталась сказать прошлой ночью, подумала она. Миссис Рамзи в зеленой шали и Лили стояли рядом, наблюдая, как Прю с Джаспером играют в мяч. И внезапно, без всякой причины, как бывает, когда люди выходят из подземки или звонят

в дверь, они обретают символическое значение, олицетворяют собой некий тип, так и они, стоя в сумерках на краю обрыва, стали символами брака, мужем и женой. Мгновение спустя символический ореол, облекавший их фигуры, развеялся и они снова стали собой, мистером и миссис Рамзи, которые наблюдают за играющими в мяч детьми. И все же на миг, хотя миссис Рамзи встретила их с привычной улыбкой (небось думает, что мы поженимся, поняла Лили) и сказала: «Сегодня я победила», имея в виду, что мистер Бэнкс в кои-то веки согласился поужинать с ними и не убежал к себе домой, где слуга готовит овощи правильно; и все же на миг у Лили возникло ощущение, что все разлетается на части, ощущение простора и беззаботности — мяч взлетел высоко, они проследили за ним взглядами и потеряли, отвлекшись на одинокую звезду среди ветвей. В гаснущем свете дня силуэты казались резко очерченными, призрачными и разделенными огромными расстояниями. Метнувшись через бескрайнюю лужайку (пространство стало иллюзорно бесплотным), Прю вылетела прямо на них, мастерски поймала мяч левой рукой, и мать у нее спросила: «Еще не вернулись?» Чары развеялись. Мистер Рамзи громко расхохотался, вспомнив

про Юма, увязшего в болоте, и как старуха его вытащила, поставив условие, что он должен прочесть молитву; усмехаясь, он удалился к себе в кабинет. Миссис Рамзи, возвращая Прю к отработке подачи, от которой та удрала, спросила:

— Нэнси с ними?

14

(Конечно, Нэнси с ними, ведь Минта Дойл, как назло, протянула ей руку, едва Нэнси собралась удрать после ланча к себе на чердак, спасаясь от ужасов семейного быта. Она поняла, что не отвертится. Идти не хотелось — зачем втягивать ее в эту историю? Всю дорогу до скал Минта держала ее за руку, потом отпустила, снова взяла. И чего ей надо? — гадала про себя Нэнси. Понятно, людям всегда чего-то надо, и стоило Минте взять ее за руку, как Нэнси поневоле увидела весь мир у своих ног, словно проступающий в дымке Константинополь, и как бы ни устали глаза, нужно непременно спросить: «Это Святая София?», «Это Золотой Рог?» И Нэнси спросила, когда Минта взяла ее за руку. «Чего же ей надо? Неужели этого?» Кое-где дымку пронзал (когда Нэнси смотрела вниз на жизнь, расстилавшу-

юся у ног) то шпиль, то купол — безымянные достопримечательности. Но стоило Минте выпустить ее руку и помчаться вниз по склону горы, все это — купол, шпиль, что бы там ни проглядывало — кануло в дымке. Минта, заметил Эндрю, довольно вынослива. Одевается гораздо практичнее, чем большинство женщин — в очень короткие юбки и черные бриджи до колен. Смело прыгает в ручей и идет вброд. Ему нравилась ее порывистость, хотя он и понимал, что так не годится — когда-нибудь непременно свернет себе шею самым нелепым образом. Минта не боялась ничего, кроме быков. При виде быка на лугу она вскидывала руки и с визгом удирала, что, конечно, приводило животное в ярость. К ее чести, она ничуть не отрицала своего страха. Она и сама признавала, что ужасно боится быков. Вероятно, в младенчестве ее слишком сильно трясли, укачивая в коляске. Она не стеснялась ни своих слов, ни поступков. Внезапно она спустилась на край обрыва и затянула песенку:

Будь прокляты ваши глаза, будь прокляты ваши глаза.

Всем следовало к ней присоединиться и прокричать припев вместе:

Будь прокляты ваши глаза, будь прокляты ваши глаза,

но позволить приливу накрыть лучшие охотничьи угодья до того, как они спустятся на пляж, было бы фатальной ошибкой.

— Конечно, — согласился Пол, бросившись вниз, и весь спуск цитировал путеводитель про то, как «эти острова по праву славятся своими парковыми пейзажами, а также изобилием и разнообразием морских диковинок». Нет уж, так не пойдет, к чему эти вопли и проклятия, думал Эндрю, осторожно спускаясь по склону, похлопыванья по спине, обращение «старина» и все в таком духе, так не пойдет. Брать женщин на прогулку — последнее дело! На пляже они сразу разделились; он ушел на Папский нос, снял ботинки и сунул носки внутрь, решив, что эти двое сами о себе позаботятся; Нэнси побрела вброд к своим излюбленным скалам и принялась осматривать заводи, решив, что эти двое сами о себе позаботятся. Она присела на корточки и потрогала гладкие как резина анемоны, липшие к скале комочками желе. Глубоко задумавшись, она превратила заводь в море, миног сделала акулами и китами, затянула крошечный мирок тучами, заслонив рукой солнце, чем принесла

мрак и опустошение, словно сам Господь, миллионам невежественных и невинных существ, потом резко убрала руку и затопила все ярким светом. По исчерченному волнами песку прошествовало, высоко вскидывая лапы, причудливое морское чудовище в броне и латных перчатках (Нэнси расширила границы заводи), и затерялось среди трещин в скале. И тогда, скользнув взглядом по поверхности заводи, уставившись на дрожащую границу моря и неба, на контуры стволов деревьев, дрожащих в дыму пароходов на горизонте, под действием неукротимой стихии, то грозно наступающей, то неминуемо отступающей, она впала в состояние гипнотического транса; сочетание необозримого простора и крохотности, процветающей внутри ее (заводь вновь уменьшилась), буквально обездвижили Нэнси, она поняла, что уже не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой из-за яркости ощущений, которые навеки обратили ее тело, ее жизнь и жизни всех людей на свете в ничто. Так она и сидела, скрючившись над заводью, слушала шум волн и грезила наяву.

Эндрю закричал, что вода прибывает, и она бросилась на берег, разбрызгивая мелкие волны, промчалась по пляжу, влекомая нахлынув-

шей радостью бега, порывисто обогнула скалу, а там — ах ты, Господи! — Пол с Минтой в объятиях друг друга, наверное, целовались. Нэнси возмутилась до глубины души. Они с Эндрю надели чулки и ботинки в гробовом молчании. Более того, оба вели себя довольно резко. Могла бы и позвать, когда увидела лангуста или что там ей попалось, проворчал Эндрю. Впрочем, оба понимали, что ничуть не виноваты. Никому не хотелось, чтобы произошло подобное безобразие. И все же Эндрю раздражало, что Нэнси станет женщиной, а ее — что Эндрю станет мужчиной, и они зашнуровали ботинки очень аккуратно, слишком туго завязав шнурки.

Едва они взобрались на вершину утеса, как Минта вскричала, что потеряла бабушкину брошь — бабушкину брошь, свое единственное украшение — плакучую иву (они наверняка ее помнят!), всю в жемчужинках. Наверняка помните, говорила она, заливаясь слезами, моя бабушка этой брошкой чепчик закалывала до конца своих дней. Вот ее-то она и потеряла! Только не брошка! Нужно вернуться и поискать. И все пошли обратно. Они обшарили все, посмотрели везде, склонившись к земле и обмениваясь отрывистыми репликами. Пол Рэйли рыскал

вокруг скалы, где они сидели, как сумасшедший. Пустая суета, подумал Эндрю, когда Пол велел ему: «хорошенько ищи отсюда и вон дотуда». Вода прибывает слишком быстро. Море закроет место, где они сидели, через минуту. Ни единого шанса отыскать потерю. «Нас отрежет от берега!» — завопила Минта, внезапно испугавшись. Нашла чего пугаться! То же самое, что и с быками — никакого контроля над своими эмоциями, подумал Эндрю. Женщины к этому просто не способны. Несчастному Полу пришлось ее утешать. Мужчины (Эндрю с Полом сразу возмужали, стали на себя не похожи) коротко посовещались и решили, что воткнут трость Рэйли, где сидели Пол с Минтой, а потом вернутся во время отлива. Они сделали все, что могли. Если брошка там, то утром непременно найдется, заверили они девушку, но Минта продолжала всхлипывать всю дорогу до вершины утеса. Только не бабушкина брошка, причитала она, и Нэнси казалось, что ее расстроила не столько потеря, сколько что-то другое. Брошка тут ни при чем. Прямо хоть садись и плачь хором, думала девочка, хотя и не знала, из-за чего.

Пол с Минтой ушли вперед, он утешал ее и заверял, что умеет отыскивать потерянные

вещи. К примеру, в детстве нашел золотые часы. Завтра встанет с рассветом и обязательно найдет. Конечно, идти на пляж в утренних сумерках и в полном одиночестве довольно опасно. И все же он бросился уверять девушку, что наверняка отыщет брошку, а она и слышать не желала, что он встанет на рассвете; ведь брошка утрачена навеки, у нее было предчувствие, когда надевала ее сегодня. И Пол решил, что потихоньку выскользнет из дома на рассвете, когда все спят, и, если не отыщет старую брошку, отправится в Эдинбург и купит другую, точь-в-точь такую же, только еще красивее. Докажет, на что способен. Поднявшись на гору и увидев внизу огни города, возникающие в темноте один за другим, как события, происходящие в жизни — женитьба, дети, свой дом; и потом, выйдя на широкую дорогу, окруженную высокими кустами, Пол подумал, что они уединятся ото всех, пойдут по жизни рука об руку, и он всегда будет ее вести, а она прижиматься к нему (вот как сейчас).

Когда свернули на перекрестке, он вспомнил, какое ужасное испытание выпало сегодня на его долю, и захотел с кем-нибудь поделиться — конечно, с миссис Рамзи, ведь при мысли о том, что он сделал, у него захватывало дух. Бе-

зусловно, самый страшный момент в его жизни позади — он попросил Минту стать его женой! По возвращении он пойдет прямо к миссис Рамзи, поскольку ему казалось, что именно она заставила его решиться, вселила в него уверенность, что он способен на все. Больше никто не принимает его всерьез. А она помогла поверить, что он волен поступать, как ему вздумается. Сегодня он весь день чувствовал ее взгляд, ощущал ее присутствие (хотя вслух она не сказала ничего), словно говорила: «Да, ты сможешь. Я в тебя верю. Я жду». Миссис Рамзи заставила его все это прочувствовать и, как только они вернутся (Пол поискал взглядом огни дома над заливом), он тут же пойдет к ней и скажет: «Я решился, миссис Рамзи, — благодаря вам!». Свернув на дорожку, ведущую к дому, он увидел, как движутся огни в верхних окнах. Похоже, они изрядно припоздились. Уже садятся ужинать. Весь дом был освещен, и после темноты зарябило в глазах. Огни-огни-огни, зачарованно твердил Пол Рэйли, идя по дорожке, огни-огни-огни, повторял он, входя в дом с застывшим лицом и растерянно оглядываясь. Но Боже упаси, сказал он себе, коснувшись галстука, выставить себя дураком!

15

— Да, — по обыкновению задумчиво проговорила Прю, отвечая на вопрос матери, — думаю, Нэнси с ними.

16

Значит, Нэнси с ними, заключила миссис Рамзи. Она отложила щетку, взялась за расческу и ответила: «Войдите» на стук в дверь (вошли Джаспер и Роуз), гадая, снижает ли присутствие Нэнси вероятность того, что случится непоправимое; почему-то ей казалось, что снижает, ведь массовая гибель такого масштаба весьма маловероятна. Не могут же все утонуть! И вновь она осталась наедине со своим старым противником — жизнью.

Джаспер и Роуз передали, что Милдред спрашивает, следует ли подождать с ужином.

— Нет, даже ради королевы Англии! — с чувством воскликнула миссис Рамзи. — Нет, даже ради императрицы Мексики! — добавила она со смехом, глядя на Джаспера, который унаследо-

вал ее склонность к преувеличению.

Пока Джаспер передавал указания, Роуз разрешили выбрать, какие драгоценности матери надеть к ужину. Когда к столу садятся пятнадцать человек, нельзя заставлять их ждать вечно. Миссис Рамзи начинала сердиться, что они до такой степени не считаются с остальными, к тому же позволили себе задержаться именно сегодня, когда Уильям Бэнкс наконец согласился к ним присоединиться и Милдред приготовила свой шедевр — *boeuf en daube*[6]. Тут все зависит от своевременной подачи. Говядину, лавровый лист и вино нужно тушить ровно столько, сколько положено. Блюдо ни в коем случае нельзя передерживать! И все же именно сегодня они ушли на прогулку, задержались допоздна, и теперь блюдо приходится вынимать из духовки, подогревать; *boeuf en daube* будет совершенно испорчена!

Джаспер предложил опаловое ожерелье, Роуз — золотую цепочку. Что больше идет к черному платью? И в самом деле — что? — рассеянно проговорила миссис Рамзи, оглядывая шею и плечи (но избегая своего лица) в зеркале. Пока дети

---

[6] Сноски: 6

Говядина, тушенная в вине *(фр.)*. Она же говядина по-прански.

рылись в украшениях, она посмотрела в окно и увидела нечто забавное — грачи выбирали подходящее дерево, чтобы устроиться на ночь. Едва усевшись, они взлетали вновь, потому что старый грач, отец семейства, Иосиф-старший, как прозвала его миссис Рамзи, был птицей тревожной с очень тяжелым характером и пользовался дурной славой, не зря у него в крыльях не хватало половины перьев. Вылитый пожилой джентльмен-пропойца в цилиндре, который играет на трубе возле пивной.

— Смотрите! — воскликнула она со смехом. Птицы затеяли драку — Иосиф с Марией подрались! Все грачи переполошились, и черные крылья рассекали воздух, нарезая на изящные ломти в форме ятагана. Взмахи крыльев, бьющихся быстро-быстро, — ей никогда не удавалось облечь это дивное зрелище в словесную оболочку. Смотри, велела она Роуз, надеясь, что та разберется лучше, ведь довольно часто собственные дети могут подтолкнуть твое восприятие в нужную сторону.

Что же выбрать? Они открыли все коробочки с украшениями. Золотую цепочку из Италии или опаловое ожерелье, привезенное дядей Джеймсом из Индии, или лучше аметисты?

— Выбирайте, милые, выбирайте, — проговорила миссис Рамзи, надеясь, что они поторопятся.

Тем не менее она позволила им выбирать без спешки, особенно Роуз, рассматривать то одно, то другое украшение, прикладывать к платью, поскольку знала, что эта маленькая ежевечерняя церемония нравилась девочке больше всего. Почему-то она придавала выбору драгоценностей огромное значение. Какова же тайная причина, гадала миссис Рамзи, стоя неподвижно, пока Роуз застегивала ожерелье, отыскивая ответ в глубинах своего прошлого — потаенное, совершенно невыразимое чувство, которое сама испытывала к матери в детстве. Навевает грусть, подумала миссис Рамзи, как и все чувства, питаемые к тебе другими людьми. Сколь мало могла она предложить взамен, ведь чувства Роуз совершенно несопоставимы с тем, что она из себя представляет. Роуз тоже вырастет и будет страдать, полагала она, от излишней глубины чувств, и объявила, что теперь готова, пора спускаться, и Джаспер, как джентльмен, должен подать ей руку, а Роуз, как леди, должна нести платок (мать протянула ей платок) и что там еще? Ах да, может быть прохладно, понадобится шаль. Выбери мне шаль, предложила миссис Рамзи, чтобы сделать

приятно Роуз, которую ждет столько страданий. «Ну вот, — заметила она, остановившись у окна на лестничной площадке, — вот и они!» Иосиф уселся на верхушке другого дерева. «Как думаешь, — обратилась она к Джасперу, — подбитые крылья им не мешают?» Зачем стрелять в бедных Иосифа с Марией? Он замешкался на ступеньках и слегка усовестился, но не сильно, потому что мать не понимает, как весело стрелять по птицам, ведь они совсем ничего не чувствуют, потому что мать живет далеко-далеко, в другой части света. Впрочем, истории про Марию с Иосифом ему нравились — они его забавляли. Откуда ей известно, как их зовут? Неужели она думает, что на одни и те же деревья каждую ночь садятся одни и те же птицы? Внезапно, как и все взрослые, мать перестала обращать на него внимание. Она прислушалась к невнятному шуму в холле.

— Вернулись! — воскликнула миссис Рамзи и мигом рассердилась на опоздавших больше, чем обрадовалась. Потом задумалась, случилось или нет? Скорее вниз, и они сами все расскажут — нет, рассказать не получится, слишком много посторонних. Значит, придется начинать ужин и ждать. Как королева, которая смотрит сверху на собравшихся в холле придворных,

смотрит и спускается, молча принимая почести, выражения любви и поклоны (Пол даже не шевельнулся, глядя прямо перед собой, пока она проходила), миссис Рамзи спустилась по лестнице, прошла по холлу и слегка кивнула, принимая то, что они не могли выразить словами — дань уважения ее красоте.

И вдруг остановилась.

Запахло горелым. Неужели *boeuf en daube* передержали?! — испугалась она. Господи, только не это! И тут громкий удар гонга возвестил торжественно, властно, что все те, кто разбрелся по дому, по чердакам и спальням, по маленьким жердочкам, кто дочитывает, дописывает, приглаживает выбившийся локон или застегивает пуговку, должны все бросить — мелочи и безделушки на умывальниках и туалетных столиках, книжки и дорогие сердцу тайные дневники — и незамедлительно явиться в столовую к ужину.

17

Чего же я достигла в жизни? — думала миссис Рамзи, занимая место во главе стола и глядя на белые круги тарелок. «Уильям, садитесь со мной», — предложила она. «Лили, — устало

проговорила она, — вон туда». В отличие от Пола Рэйли с Минтой, у нее есть лишь бесконечно длинный стол, тарелки и ножи. В дальнем конце сидел ее муж, сгорбленный и надувшийся. Что не так? Она не знала. Ей было все равно. Она не понимала, как могла испытывать к нему хоть какую-то привязанность. Разливая суп, она чувствовала, что все прошло, все кончено, все миновало, словно мимо несется вихрь — вон там! — и находиться можно либо внутри, либо снаружи, и она вне его. Все кончено, думала она, когда в гостиную входили один за другим и садились Чарльз Тэнсли («Вон туда, пожалуйста») и Август Кармайкл, и в то же время безучастно ждала, когда кто-нибудь ей ответит, что-нибудь произойдет. О таких вещах, думала она, разливая суп, вслух не говорят.

Изумленно подняв брови из-за несоответствия того, что думает, тому, что делает, миссис Рамзи продолжала разливать суп, все больше ощущая себя вне вихря или даже в тени, которая упала неожиданно, погасила цвета, и открылся истинный облик вещей. Гостиная выглядела весьма обшарпанной. Никакой красоты. Смотреть на Чарльза Тэнсли она не рискнула. Кажется, ничего не склеивается. Все сидят порознь. И все

усилия по склеиванию, слиянию и возникновению чего-то нового лежат на ней! И вновь она ощутила, причем без тени неприязни, бесплодность мужчин: если не сделает она, то и никто не сделает, и слегка встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы, и раздается старое, знакомое биение, часы начинают тикать — раз-два-три, раз-два-три. И так далее и тому подобное, повторила миссис Рамзи, прислушиваясь к слабому биению, заботливо укрывая его и ухаживая за ним, как за слабым пламенем. И тогда, заключила она, с молчаливым кивком склонившись к Уильяму Бэнксу — бедняга, ни жены, ни детей, ужинает в одиночестве в съемных комнатах! — из жалости к нему, уже достаточно окрепнув, чтобы вернуться к жизни, она вновь взялась за дело, как усталый моряк, который видит, что ветер наполняет парус, но едва ли хочет отчалить и думает: если корабль затонет, стихия меня закружит, закружит и упокоит на дне морском.

— Нашли свои письма? Я велела оставить их в холле, — сообщила она Уильяму Бэнксу.

Лили Бриско наблюдала, как миссис Рамзи уносит в странные ничейные земли, куда невозможно последовать за человеком, и все же его уход вызывает у тех, кто за ним наблюдает, такой

холод, что они пытаются проводить его хотя бы взглядом, как провожают уходящий корабль, пока парус не исчезнет за горизонтом.

Она выглядит такой старой, такой измученной, подумала Лили, такой безучастной. А потом, когда хозяйка повернулась к Уильяму Бэнксу с улыбкой, словно корабль сменил курс и солнце вновь ударило в паруса, Лили вздохнула с облегчением и принялась насмешливо гадать: «Почему же она его жалеет?» Такое у нее создалось впечатление, стоило миссис Рамзи сказать, что письма лежат в холле. Бедняга Уильям Бэнкс, говорила она всем видом, будто ее собственная усталость отчасти вызвана состраданием к людям, и жизненные силы, решимость жить дальше пробудились только благодаря состраданию. А ведь это неправда, думала Лили, очередное заблуждение, проистекающее скорее из собственной потребности, нежели из потребностей других людей. В сострадании мистер Бэнкс не нуждается. У него есть дело, напомнила себе Лили. Внезапно, словно найдя клад, она вспомнила: у нее тоже есть дело! Мгновенно перед внутренним взором возникла недописанная картина, и она поняла: да, дерево я подвину к центру, и тогда с пустым пространством удастся совладать. Так и сделаю!

Она переставила солонку, закрыв цветок на скатерти, чтобы не забыть про дерево.

— Странно, до чего редко по почте приходит что-нибудь стоящее, и все же мы неизменно ждем писем, — заметил мистер Бэнкс.

Что за дурацкую чушь они несут, подумал Чарльз Тэнсли, кладя ложку ровно по центру вылизанной дочиста тарелки, словно и тут, подумала Лили (он сидел напротив нее спиной к окну), стремится выгадать максимум пользы. Вот и во всем-то ему свойственно столь же убогое постоянство, явная неприглядность. Тем не менее факт остается фактом: невозможно чувствовать неприязнь к тому, на кого смотришь. Ей нравились его глаза — синие, глубоко посаженные, пугающие.

— Много писем пишете, мистер Тэнсли? — поинтересовалась миссис Рамзи, жалея и его тоже, предположила Лили, потому что миссис Рамзи всегда жалела мужчин, словно им чего-то не хватает, а женщин — никогда, словно у них что-то есть. Только матери, кратко ответил мистер Тэнсли, и не больше одного письма в месяц.

Лично он не собирался нести чушь, как они. Он не собирался унижаться перед этими глупыми женщинами. Он читал у себя в комнате и вот

спустился, а здесь все такое глупое, несерьезное, посредственное. Зачем они наряжаются? Сам он пришел в повседневной одежде. «Редко по почте приходит что-нибудь стоящее» — вот и все, о чем они говорят. Мужчины вынуждены говорить подобные вещи. Да, пожалуй, так и есть, подумал он. Тут никогда не происходит ничего достойного внимания, и так из года в год. Только и делают, что говорят-говорят-говорят, едят-едят-едят. Во всем виноваты женщины! Цивилизация стала невыносимой из-за женских чар, из-за женской глупости.

— Никакого вам маяка завтра, миссис Рамзи, — объявил Тэнсли. Она ему нравилась, даже вызывала восхищение; но при мысли о том, какими глазами на нее смотрел человек в канаве, он ощутил необходимость самоутвердиться.

На самом деле, подумала Лили Бриско, оставим глаза, стоит только поглядеть на его нос, на руки! — никого неприятнее Чарльза Тэнсли она в жизни не встречала. Какое ей дело до его слов? Женщины не способны писать, женщины не способны рисовать — какое это имеет значение, если исходит от него, ведь он и сам так не считает, хотя по каким-то своим соображениям продолжает об этом твердить. Почему же ее гнет, словно

пшеницу на ветру, и так мучительно трудно распрямиться, оправиться после унижения? Надо попробовать еще раз. Веточка на скатерти — моя картина, я должна передвинуть дерево на середину, вот что важно, остальное — нет. Разве мне этого недостаточно, разве нельзя держать себя в руках и не спорить, а если так хочется отомстить, почему бы над ним не посмеяться?

— Ах, мистер Тэнсли, — протянула она, — возьмите меня с собой на маяк! Только об этом и мечтаю!

Он видел, что Лили говорит неправду. Ни на какой маяк ей не надо, просто хочет над ним посмеяться. Он был в старых фланелевых брюках, они же единственные. Ему стало очень плохо и одиноко. Почему-то она пытается его дразнить, наверное, презирает, как Прю Рамзи, как они все. Он не позволит женщинам выставлять себя дураком! Тэнсли демонстративно отвернулся, посмотрел в окно и резко выпалил, весьма грубо, что завтра не выйдет — ее наверняка укачает и стошнит.

Досадно, что он позволил спровоцировать себя на подобную грубость в присутствии миссис Рамзи. Лучше бы сейчас работал наверху, среди книг. Только там он не чувствовал себя неловко.

За всю жизнь он никому не задолжал ни пенни, с пятнадцати лет не брал у отца ни пенни, напротив, делился своими сбережениями с родными, оплачивал учебу сестры. И все же ему хотелось ответить мисс Бриско достойно, а не резко. Ему хотелось что-нибудь сказать миссис Рамзи, чтобы та поняла: он вовсе не такой зануда, каким его считают. Он повернулся к хозяйке, но та беседовала с Уильямом Бэнксом про людей, о которых он даже не слышал.

— Да, уносите, — велела она горничной, прервав разговор с Уильямом Бэнксом. — С тех пор как мы виделись в последний раз, прошло лет пятнадцать — нет, двадцать, — сообщила она, вновь повернувшись к нему, словно не могла упустить ни секунды беседы, всецело поглощенная тем, что они обсуждали. Значит, он получил от нее весточку прямо сегодня! Неужели Кэрри еще живет в Марлоу и все у нее по-прежнему? Ах, она помнит все как вчера — они отправились на реку, стоял жуткий холод. Если уж Мэннинги что решили, от своего не отступят. Никогда ей не забыть, как на берегу Герберт убил осу чайной ложкой! Так там все и идет, полагала миссис Рамзи, скользя точно призрак между столами и стульями по гостиной на берегах Темзы, где жутко

замерзла двадцать лет назад, и теперь ходит среди них призраком, теперь она уже другая, а там ровным счетом ничего не изменилось — тот самый день, застывший на двадцать лет, такой же красивый и тихий — разве не удивительно?.. Кэрри сама ему написала? — уточнила она.

— Сама. Пишет, что строят себе новую бильярдную, — сообщил он.

Нет, нет! Не может быть! Подумать только, новую бильярдную! Мистер Бэнкс не видел в этом ничего необычного. Теперь они весьма богаты. Передать Кэрри привет?

Миссис Рамзи едва заметно вздрогнула и вежливо отказалась, сообразив, что совсем не знакома с той Кэрри Мэннинг, которая строит себе новую бильярдную. До чего странно, повторила она, позабавив мистера Бэнкса, что они по-прежнему там. Просто удивительно, как они умудрились прожить столько лет, пока она и думать про них забыла. Какими насыщенными выдались для нее минувшие годы! Впрочем, возможно, Кэрри Мэннинг тоже о ней не вспоминала. Мысль была странная и неприятная.

— Люди быстро отдаляются друг от друга, — заметил мистер Бэнкс, впрочем, не без удовольствия, ведь в конце концов ему довелось

узнать и Мэннингов, и Рамзи. Я-то ни от кого не отдалился, подумал он, откладывая ложку и аккуратно утирая чисто выбритые губы. Вероятно, он довольно оригинален, раз не позволяет себе погрязнуть в рутине. У него друзья во всех кругах… Здесь миссис Рамзи пришлось отвлечься, чтобы дать горничной указания насчет горячего. Вот почему он предпочитает ужинать один! Подобные заминки изрядно раздражают. Что ж, подумал Уильям Бэнкс, сохраняя чрезвычайно учтивый вид и расправляя на скатерти пальцы левой руки, словно механик, изучающий на досуге начищенный, готовый к использованию инструмент, таковы жертвы, коих требуют друзья. Отказ ее расстроил, но оно того не стоило. Ужиная в одиночестве, он давно бы управился и мог вернуться к работе. Эх, подумал он, разглядывая руку, столько времени впустую! Дети продолжали собираться к столу. «Сбегайте кто-нибудь в комнату Роджера», — попросила миссис Рамзи. Какие это пустяки, думал он, какая скука по сравнению с работой! Сидит тут, барабаня пальцами по столу, хотя мог бы… Он мельком обозрел свою книгу в перспективе. И в самом деле, он теряет время зря! Впрочем, подумал мистер Бэнкс, она моя старинная подруга, даже чуть

больше, чем подруга. Впрочем, в данный момент ее присутствие не значило ровным счетом ничего — его не трогала ни ее красота, ни то, как она сидела с сынишкой у окна. Ему было неловко, он казался себе предателем. Скорее бы его оставили в покое и дали заняться книгой! Честно говоря, семейная жизнь мистера Бэнкса не привлекала. В таком настроении задаешься вопросом: зачем жить на свете? Зачем, спрашивал он себя, прилагать для продолжения рода столько усилий? Неужели это обязательно? Неужели мы настолько привлекательны как вид? Не особо, думал он, глядя на неопрятных мальчиков. Кэм, его любимица, наверное, в постели. Глупые, суетные вопросы, которыми не задаешься, пока занят делом. Неужели это и есть человеческая жизнь? Редко кому выпадает время задуматься, но ему повезло, потому что миссис Рамзи отвлекалась на приказы слугам; и еще, когда миссис Рамзи удивилась, что Кэрри Мэннинг все еще существует, он внезапно понял: дружба, даже самая крепкая, весьма непрочна. Люди отдаляются друг от друга… Он снова принялся себя корить: сидит рядом и двух слов сказать не может!

— Прошу прощения, — извинилась миссис Рамзи, наконец повернувшись к нему. Он чув-

ствовал себя задубелым и пустым, как промокшие насквозь ботинки, которые засохли и теперь не лезут на ноги. И все же их придется надеть — придется поддержать разговор. Стоит допустить малейшую оплошность, и она распознает предательство, сразу поймет, что ему плевать, и это будет весьма неприятно, подумал мистер Бэнкс и учтиво склонил голову.

— Представляю, сколь невыносимо для вас ужинать в таком бедламе, — непринужденно заметила она, переходя на светский тон, как поступала всегда, пребывая в расстроенных чувствах. Так председатель многоязычного сборища, желая достичь согласия, предлагает перейти на французский. Возможно, не все присутствующие владеют им в должной мере или в нем не хватает слов, способных выразить мысли говорящего, однако переход на французский вносит порядок, единообразие. Отвечая на том же языке, мистер Бэнкс проговорил: «Что вы, ничуть», и Тэнсли, который языком светских манер не владел даже на уровне односложных слов, вмиг заподозрил неискренность. Что за чушь они несут, эти Рамзи, подумал он и с радостью ухватился за очередной яркий эпизод, воображая, как зачитает очередную сценку приятелю-другому. Там, среди своих,

где можно говорить что угодно, он язвительно распишет, как гостил у Рамзи и какую чушь они несли. Разок наведаться к ним стоит, скажет он, но больше — ни-ни! С этими женщинами такая скука. Несомненно, Рамзи себя погубил, женившись на красивой женщине и заведя восьмерых детей. Так он и выразится впоследствии, пока же, изнывая рядом с пустым стулом, ничего не мог облечь в слова — все распадалось на осколки и ошметки. Он чувствовал себя крайне неловко, буквально физически жаждал самоутвердиться. Тэнсли ерзал, бросая взгляды то на одного, то на другого собеседника, пытался влезть в разговор, открывал и снова закрывал рот. Речь зашла о рыбном промысле. Почему не спросили его мнения? Да что они вообще понимают в рыболовстве?

Лили Бриско все это знала. Сидя напротив, она видела насквозь, словно на рентгеновском снимке, ребра и берцовые кости молодого человека, жаждущего самоутвердиться, темневшие в дымке плоти — той тонкой дымке, которую условности налагали на жгучее желание вклиниться в беседу. Почему, думала она, щуря свои китайские глазки и вспоминая, как он насмехался над женщинами («не способны ни писать,

ни рисовать»), почему я должна облегчать его муки?

Она знала, что существует негласный кодекс поведения, в седьмой статье которого, возможно, написано: при подобных обстоятельствах долг женщины — бросить все дела и прийти на помощь сидящему напротив молодому человеку, дабы он мог себя проявить и избавить берцовые кости, ребра от тщеславия, от настоятельного желания самоутвердиться; а долг мужчин, размышляла она с подобающей старой деве тягой к справедливости, помогать женщинам, скажем, если загорится подземка. Тогда, подумала она, я вправе ожидать, что мистер Тэнсли поможет мне выбраться. Но что, если ни один из нас не сделает ни того, ни другого? Поэтому она просто сидела и улыбалась.

— Лили, вы ведь не собираетесь на маяк? — спросила миссис Рамзи. — Вспомните беднягу мистера Лэнгли, который объездил весь мир, но ни разу не страдал так, как во время поездки на маяк с моим мужем. А вы хорошо переносите качку, мистер Тэнсли? — поинтересовалась она.

Мистер Тэнсли поднял молоток, замахнулся, однако понял, что подобное орудие для бабочки явно не годится и заметил лишь, что его в жизни

не тошнило. В эту фразу он вложил, словно заряд пороха, и деда-рыбака, и отца-аптекаря, и свою полную финансовую самостоятельность, и свою гордость, ведь он — Чарльз Тэнсли, чего, похоже, не сознает никто из присутствующих, но очень скоро о нем услышат все. Он хмуро глядел перед собой. Ему почти жаль этих слабых, рафинированных людишек, которые в один прекрасный день взлетят на воздух, словно тюки с шерстью и бочки с яблоками, взорванные тем порохом, что находится в нем.

— Возьмете меня с собой, мистер Тэнсли? — спросила Лили быстро и ласково, как если бы миссис Рамзи сказала ей: «Милая, я тону в море огня. Пролей немного бальзама на сей мучительный час и скажи этому молодому человеку что-нибудь приятное, иначе жизнь пойдет прахом — я буквально слышу скрежет и рев. Мои нервы натянуты, как скрипичные струны, прикоснись — и порвутся»; когда миссис Рамзи все это проговорила (точнее, это читалось в ее глазах), Лили Бриско в сто пятидесятый раз пришлось отказаться от эксперимента (что произойдет, если не быть милой с молодыми людьми) и стать милой.

Правильно оценив перемену в ее настроении —

теперь она обратилась к нему по-дружески — он обуздал свой эгоизм и рассказал, как в детстве отец выбрасывал его из лодки, как выуживал багром — так он и выучился плавать. Его дядюшка смотрел за маяком на островке у побережья Шотландии, и однажды, когда Тэнсли гостил там, разбушевался шторм. Повисла пауза, и он объявил об этом во всеуслышание. Всем пришлось выслушать, как он побывал на маяке в шторм. Ну вот, подумала Лили Бриско, когда беседа приняла благоприятный оборот, и ощутила благодарность миссис Рамзи (теперь миссис Рамзи могла и сама вставить словечко), ну вот, подумала она, разве я не готова ради вас на все? И покривила душой.

Она прибегла к привычной уловке — стала милой. По-настоящему узнать друг друга им не дано. Таковы все человеческие связи, считала Лили, и хуже всех (исключая мистера Бэнкса) — отношения между мужчинами и женщинами. В них нет искренности. Потом она заметила солонку, которую поставила в качестве напоминания, вспомнила, что утром передвинет дерево ближе к центру картины, и при мысли о живописи так приободрилась, что громко захохотала над фразой Тэнсли. Пусть болтает хоть всю ночь, если

угодно.

— И долго смотрители находятся на маяке? — спросила Лили. Он ответил. Потрясающая осведомленность! И поскольку он благодарен, и поскольку она ему нравится, и поскольку он начал получать удовольствие от общения, подумала миссис Рамзи, пора наконец вернуться в страну грез, в то призрачное, чарующее место — в гостиную Мэннингов двадцатилетней давности, где можно бродить без лишней суеты, ведь тревожиться о будущем не нужно — его просто нет. Она знала, что случится с ними, с ней самой. Словно перечитываешь хорошую книгу, зная, чем все закончится, ведь все произошло двадцать лет назад и жизнь, которая здесь низвергается каскадами бог весть куда прямо с обеденного стола, там запечатана надежно и лежит, словно озеро, безмятежно раскинувшееся между берегами. Значит, они построили бильярдную — да неужели? Продолжит ли Уильям разговор про Мэннингов? Ей бы хотелось. Увы, по непонятной причине он свернул тему. Она попыталась его навести, но он промолчал. Не заставлять же! Миссис Рамзи ощутила разочарование.

— Дети ведут себя возмутительно, — вздох-

нула она. Мистер Бэнкс ответил, что пунктуальность — из тех черт характера, что люди обретают не сразу.

— И то не все, — сказала миссис Рамзи для поддержания разговора, думая о том, что Уильям начинает рассуждать как старая дева. Сознавая свое предательство, сознавая ее желание поговорить о чем-нибудь более душевном и все же будучи не в настроении для подобных бесед, он впал в уныние, ему надоело сидеть и ждать. Может, другие обсуждают что-нибудь интересное? Что там они говорят?

Что рыболовный сезон был неудачным, что жители уезжают. Они говорили о зарплатах и безработице. Молодой человек ругал правительство. Услышав фразу «один из самых постыдных законов, принятых нашим правительством», Уильям Бэнкс подумал о том, какое, должно быть, облегчение — ухватиться за что-нибудь в этом роде, если личная жизнь не задалась. Лили слушала, миссис Рамзи слушала — слушали все. Но Лили уже заскучала, чувствуя: чего-то недостает, и мистер Бэнкс тоже это почувствовал. Завернувшись в шаль, и миссис Рамзи почувствовала: чего-то недостает. Все они, подавшись вперед, думали: «Господи, лишь бы никто не прочел моих мыс-

лей!», потому что каждый полагал: «Другие-то по-настоящему переживают! Они возмущаются и негодуют на правительство из-за бедных рыбаков, в то время как я не чувствую вообще ничего». Пожалуй, подумал мистер Бэнкс, взглянув на Тэнсли, он-то нам и нужен. Мы всегда ждем подходящего человека. Шансы велики. Лидер может явиться в любой момент — настоящий гений, хоть в политике, хоть в чем угодно. Скорее всего, нам, замшелым ретроградам, он не придется по душе, думал мистер Бэнкс, изо всех сил стараясь проявить снисходительность, — буквально физически ощутив, как дрожат натянутые нервы, он понял, что завидует отчасти самому Тэнсли, отчасти его работе, его точке зрения, его науке и, следовательно, не вполне беспристрастен и справедлив, ведь Тэнсли, казалось, говорил: «Вы растратили свои жизни попусту. Все вы неправы. Бедные старикашки, вы безнадежно отстали…». Молодой человек держался довольно самоуверенно, и манеры у него оставляли желать лучшего. Но мистер Бэнкс не мог не отметить в нем мужества и блестящих способностей, да и с фактами тот управлялся превосходно. Вероятно, думал мистер Бэнкс, пока Тэнсли ругал правительство, в его словах есть доля истины.

— Скажите мне… — проговорил он. И они заспорили о политике, а Лили уставилась на листок на скатерти, и миссис Рамзи, предоставив мужчин самим себе, удивлялась, почему ей так наскучил этот разговор, и хотела, глядя на мужа на другом конце стола, чтобы он сказал свое слово. Одно слово изменит все. Он проникал в самую суть вещей. Его заботили рыбаки и их заработная плата. Он не мог уснуть, думая о них. Если бы муж заговорил, это изменило бы все — тогда никто не догадался бы, насколько ей все равно, ведь ему не все равно. Миссис Рамзи захотелось услышать его мнение, потому что она им восхищалась, и у нее возникло ощущение, что кто-то похвалил и ее мужа, и их брак, и она просияла, не осознавая, что похвалила себя сама. Она подняла взгляд, желая прочесть все это у него на лице — наверняка сейчас он смотрится великолепно… Ничего подобного! Он скривился, наморщил лоб, насупил брови и пылал от ярости. Да что с ним такое? — удивилась миссис Рамзи. Что могло произойти? Разве только бедняга Август попросил еще супа — вот и все! Немыслимо, отвратительно (говорил он ей взглядом через стол), что Август снова примется за суп! Мистер Рамзи ненавидел людей, которые едят, когда он уже закончил.

Злость металась в его глазах словно стая гончих, лоб того и гляди взорвется, и вдруг — слава тебе, Господи! — взял себя в руки, ударил по тормозам, и с него будто посыпались искры, но не слова. Он сидел, надувшись, и молчал — пусть видит! Пусть оценит его усилия! Почему, собственно, бедняге Августу не попросить добавки? Он всего лишь коснулся руки Эллен и сказал:

— Эллен, еще тарелочку, пожалуйста, — и мистера Рамзи перекосило.

Почему бы и нет? — требовательно спросила миссис Рамзи. Разумеется, Август может взять добавки, если пожелает. Терпеть не могу, когда люди предаются обжорству, скривился мистер Рамзи. Он терпеть не мог все, что тянется часами, как этот ужин. Но сдержался, подчеркнул мистер Рамзи, каким бы ни было зрелище отвратительным. Зачем же демонстрировать свои чувства столь явно, упрекнула миссис Рамзи (они смотрели друг на друга через длинный стол, обмениваясь вопросами и ответами, прекрасно зная, что чувствует другой). Все заметили, думала миссис Рамзи. Роуз уставилась на отца, Роджер уставился на отца — вот-вот скорчатся от смеха, знала она, и быстро велела (самое время):

— Зажгите свечи, — и они мигом вскочили,

бросились к буфету и стали искать свечи.

Почему он никогда не скрывает своих чувств? — удивлялась миссис Рамзи и гадала, заметил ли Август Кармайкл. Возможно, да, возможно, нет. Она не могла не уважать того спокойствия, с которым он сидел, прихлебывая суп. Если ему хотелось супа, он просил супа. Смеются над ним или злятся на него, он оставался все тем же. Она ему не нравится, знала миссис Рамзи, но отчасти за это и уважала и, глядя, как старик, такой массивный и спокойный в гаснущем свете, монументальный и задумчивый, хлебает суп, гадала, что он чувствует, почему всегда доволен и держится с достоинством, и еще думала, что он предан Эндрю, часто зовет его к себе, чтобы «показывать всякие штуки». И лежит целыми днями на лужайке, вероятно, сочиняя стихи, — вылитый кот, наблюдающий за птичками, и хлопает в ладоши, стоит ему отыскать нужное слово, и ее муж говорит: «Бедняга Август — настоящий поэт», что из его уст — высокая похвала.

Дети поставили восемь свечей, и пламя взвилось вверх, выхватило из сумерек длинный стол и блюдо с желтыми и лиловыми фруктами посередине. Как это у Роуз вышло, удивлялась миссис Рамзи, ведь композиция из винограда и груш —

шипастая, очерченная розовым раковина из бананов — навевала мысли о трофеях со дна моря, о пиршестве Нептуна, о грозди над плечом Бахуса, обвитого виноградной лозой (как на картине), среди леопардовых шкур и факелов, пылающих алым и золотым… Выхваченная из тьмы, она казалась поистине необъятной, словно целый мир, в котором можно ходить с посохом по горам, спускаться в долины; к своему удовольствию (ведь между ними мигом вспыхнула симпатия, миссис Рамзи поняла, что Август тоже наслаждается видом фруктов — сорвал кисточку там, цветок здесь и после трапезы вернулся в свой улей. Он воспринимал все иначе, чем она, но то, что они смотрели вместе, их объединило.

Теперь горели все свечи, и лица по обе стороны стола приблизились, стали одной компанией, чего не могло быть в сумерках, и ночь изгнали за стекла, которые вовсе не давали точного представления о внешнем мире, покрывали его причудливой рябью, из-за чего казалось, что здесь, в гостиной, — порядок и суша, там, снаружи, — лишь отражение, в котором все колышется и исчезает, как в воде.

Со всеми произошла внезапная перемена, словно они собрались на званый ужин посреди ост-

ровка и заняты общей борьбой с изменчивостью снаружи. Миссис Рамзи, которая волновалась в ожидании Пола с Минтой и никак не могла успокоиться, почувствовала, что тревога наконец сменилась предвкушением. Сейчас они точно придут, и Лили Бриско, пытавшаяся понять причину внезапного оживления, сравнивала его с тем моментом на теннисной лужайке, когда пространство стало иллюзорно бесплотным, а расстояние между ними — огромным, и теперь тот же эффект получился благодаря множеству свечей в скудно обставленной комнате, незанавешенным окнам и ярким отблескам огня на лицах, похожих на маски. С них свалился незримый груз, чувствовала она. Сейчас точно придут, думала миссис Рамзи, глядя на дверь, и в тот же миг вместе вошли Минта Дойл, Пол Рэйли и горничная с огромным блюдом. Мы ужасно опоздали, кошмарно опоздали, сказала Минта, когда они разошлись по разным концам стола.

— Я потеряла брошку — бабушкину брошку, — пролепетала Минта с сожалением и тоской в больших карих глазах, садясь рядом с мистером Рамзи и глядя то вверх, то вниз; он тут же возомнил себя галантным кавалером и принялся над ней подтрунивать.

Как можно быть такой дурочкой, спросил он, и лазать по скалам в драгоценностях?

Поначалу мистер Рамзи ее пугал — он был ужасно умным! — и в первый вечер, когда она сидела с ним рядом, он рассуждал про Джордж Элиот, и Минта перепугалась не на шутку, потому что оставила третью часть романа «Мидлмарч» в поезде и не узнала, чем все закончилось; зато потом прекрасно справилась — стала изображать из себя еще большую невежу, чем была на самом деле, потому что ему нравилось называть ее дурочкой. И сегодня, когда он открыто над ней потешался, она уже не боялась. К тому же Минта поняла, едва войдя в комнату, что произошло чудо: она вновь окутана золотистой дымкой. Иногда дымка появлялась, иногда нет. Она не знала, почему это происходит, не знала, есть на ней дымка или нет, пока не входила в комнату и не ловила на себе пристальный мужской взгляд. Да, сегодня получилось — эффект сокрушительный, судя по тому, что мистер Рамзи назвал ее дурочкой. Она сидела с ним рядом и улыбалась.

Значит, случилось, подумала миссис Рамзи, они обручены. И ощутила укол ревности, чего никак не ожидала. Ведь ее муж тоже почувствовал — Минта буквально светится; ему нравились

такие девушки — золотисто-рыжие, порывистые, немного дикие и безрассудные, не прилизанные, не плюгавенькие, как он обозвал бедняжку Лили Бриско. Было в Минте нечто, чего недоставало самой миссис Рамзи — то ли блеск, то ли яркость, которые его влекли, забавляли и заставляли выбирать в любимицы именно таких девушек. И те подстригали ему волосы, плели цепочки для часов или отрывали от работы, окликая (миссис Рамзи сама слышала): «Идемте, мистер Рамзи! Теперь мы им точно покажем!», и он выходил поиграть в теннис.

На самом деле она не ревновала, только время от времени, когда заставляла себя взглянуть в зеркало, слегка досадовала, что постарела, пожалуй, по собственной вине. (Счет за починку теплицы и все остальное.) Она была им признательна, что они над ним подшучивают. «Сколько трубок вы сегодня выкурили, мистер Рамзи?» и тому подобное, и он уже казался молодым, привлекательным мужчиной, ничуть не обремененным, не отягощенным ни величием трудов своих и мировой скорбью, ни славой или неудачами — именно таким, как в начале их знакомства, слегка угрюмым, но галантным, когда помог ей выбраться из лодки, вспоминала она, чрезвычай-

но приятным, вот как сейчас (он удивительно помолодел, поддразнивая Минту). Что же касается ее самой («Поставьте сюда», — велела она, помогая швейцарской девушке аккуратно опустить на стол большой коричневый горшок с *boeuf en daube*), то ей нравились балбесы. Пол должен сесть с ней рядом — она приберегла для него место. В самом деле, порой миссис Рамзи думала, что ей симпатичнее балбесы, которых не волнуют никакие диссертации. Сколько всего упускают умники! Честно говоря, усыхают они изрядно. Пол просто очарователен, подумала она, когда юноша уселся подле нее. Приятные манеры, четко очерченный нос, ярко-синие глаза. А какой предупредительный! Не расскажет ли он — раз уж беседа возобновилась, — что же все-таки произошло?

— Мы вернулись поискать брошь Минты, — пояснил он, присаживаясь рядом. «Мы» — и уже все ясно. Судя по усилию и неуверенности в голосе, к новому для него слову Пол еще не привык. «Мы сделали то, мы сделали се». Они будут говорить так всю жизнь, подумала миссис Рамзи, вдыхая восхитительный аромат маслин и сочного мяса, когда Марта эффектным жестом подняла крышку с огромного коричневого горшка. Ку-

харка потратила на приготовление блюда целых три дня. И нужно хорошенько постараться, думала миссис Рамзи, погружая ложку в мягкую массу, чтобы выбрать для Уильяма Бэнкса самый нежный кусочек. Она смотрела на содержимое горшка с блестящими стенками, на пикантное ассорти из черного и желтого мяса, тушенного с лавровыми листьями в вине, и думала: «Вот и отпразднуем событие»; и ее охватило странное настроение — взбалмошное и в то же время умилительное, поскольку миссис Рамзи испытывала двойственное чувство: с одной стороны, любовь мужчины к женщине — это очень серьезно, внушительно и впечатляюще, ведь в ее груди заложены семена смерти; с другой — разве можно серьезно взирать на сияющих возлюбленных в плену иллюзии, так и тянет водить вокруг них хороводы и увешивать их гирляндами цветов.

— Настоящий фурор, — одобрил мистер Бэнкс, откладывая нож. Он ел вдумчиво. Блюдо сочное, нежное. Приготовлено превосходно. Как ей удалось сотворить такое посреди захолустья? — поинтересовался он. Удивительная женщина! И вся его любовь, все обожание вернулись, поняла миссис Рамзи.

— Французский рецепт моей бабушки, — не скрывая удовольствия, пояснила она. Разумеется, блюдо французское. Так называемая английская кухня — просто кощунство (оба согласились). Капусту кладут в воду, мясо жарят до тех пор, пока не станет жестким, как подошва. Восхитительную кожицу с овощей срезают. «А ведь в ней-то, — заметил мистер Бэнкс, — заключено самое полезное». И сколько отходов, подхватила миссис Рамзи. Тем, что английская кухарка выбрасывает, можно накормить целую французскую семью. Подстегиваемая ощущением, что ей удалось вновь обрести привязанность Уильяма, что все вернулось на круги своя, что тревожное ожидание окончено и теперь она снова вправе торжествовать и насмешничать, миссис Рамзи принялась хохотать и оживленно жестикулировать, пока Лили не подумала: как по-детски нелепо она себя ведет, сидя во всем блеске своей красоты и рассуждая об овощной кожуре. Иногда эта женщина ее пугает. Сопротивляться ей невозможно. В конце концов она своего добьется, думала Лили. Уже добилась — Пол с Минтой наверняка помолвлены, мистер Бэнкс остался на ужин. Всех околдовала, лишь загадав желание, — так просто, так непосред-

ственно. Лили соотнесла богатство ее натуры с собственной нищетой духа и предположила, что отчасти дело в этой вере (лицо миссис Рамзи просто светится — даже не будучи юной, выглядит она потрясающе), в странной, пугающей силе, которая заставляет Пола Рэйли дрожать и молча сидеть рядом, погрузившись в свои мысли. Рассуждая об овощной кожуре, миссис Рамзи, чувствовала Лили, превозносит эту силу, боготворит — протягивает к ней руки, чтобы согреться, оберегает и все же, вызвав ее к жизни, насмехается над своими жертвами, ведя их к алтарю. Теперь и на Лили нахлынули те же чувства, те же любовные флюиды. Сколь невзрачно она смотрится на фоне Пола! Он — горячий и пылкий, она же — холодная и язвительная, ему предстоит увлекательное приключение, ей суждено остаться пришвартованной к берегу, он беззаботно уносится вдаль, она стоит одинокая и покинутая… Готовая разделить с ним поражение, если таковое случится, Лили робко спросила:

— Когда Минта потеряла брошку?

На его губах заиграла довольная улыбка, затуманенная воспоминанием, подкрашенная мечтами. Он покачал головой.

— На пляже, — ответил Пол. — Завтра встану

пораньше, — добавил он потише, желая сохранить это в тайне от Минты, и повернулся туда, где та сидела рядом с мистером Рамзи и смеялась.

Лили хотелось бурно возражать и бесстыдно напрашиваться в помощники, она представила, как на рассвете отыщет брошку среди камней и тем самым примкнет к морякам и искателям приключений. И что же он ответил на ее непривычно эмоциональное предложение? Услышав «Позвольте пойти с вами», он лишь рассмеялся. То ли да, то ли нет — неясно. Хуже того, он издал странный смешок, словно давая понять: хоть со скал прыгайте, мне все равно. Щеку Лили опалило жаром любви, ее ужасом, ее жестокостью, ее неразборчивостью. Обожженная Лили посмотрела на Минту, любезничавшую с мистером Рамзи на другом конце стола, поморщилась от беззащитности перед ее клыками и возрадовалась. Во всяком случае, сказала она себе, заметив солонку на скатерти, ей не нужно выходить замуж, хвала небесам, не нужно подвергаться унижению. Она избавлена от необходимости распыляться. Она передвинет дерево на середину полотна.

Все очень сложно, потому что происходящее,

особенно пребывание у Рамзи, неизбежно заставляло Лили испытывать сразу две сильных эмоции: ты чувствуешь одно, я — другое, и в сознании они всегда сталкиваются, вот как сейчас. Какая красивая, какая волнительная эта ваша любовь — даже я трепещу и предлагаю то, что мне совершенно несвойственно, — поискать брошку на берегу; вместе с тем любовь — самая глупая, самая варварская из страстей человеческих, и превращает приятного молодого человека с точеным профилем (Пол словно сошел с камеи) в чванливого и наглого забияку с монтировкой посреди Майл-Энд-роуд. И все же, напомнила себе Лили, с начала времен любви поют оды, возлагают венки и розы, и девять из десяти мужчин ответят, что только о ней и мечтают, хотя женщины, судя по ее собственному опыту, постоянно думают: мы мечтали вовсе не об этом, нет ничего более тягомотного, незрелого и бесчеловечного; но она же прекрасна и необходима. Ну и как быть, как быть? — спрашивала она, ожидая продолжения спора, словно сделала все, что в ее силах, и теперь ждет, что другие подхватят. Лили прислушалась к разговору, надеясь, что они прольют свет на вопрос любви.

— А еще напиток, — заметил мистер Бэнкс, —

который англичане называют кофе.

— Ах да, кофе! — воскликнула миссис Рамзи. Но тут вопрос в другом (она порядком раззадорилась, видела Лили, и говорила очень возбужденно). С большой горячностью и красноречием она описала произвол, царящий в английской молочной отрасли, возмутительное качество молока, которое доставляют на дом, и уже была готова доказать свои обвинения, когда по всему столу, начиная с Эндрю в середине, пронесся смех, распространяясь стремительно, как торфяной пожар, — смеялись дети, смеялся муж; над ней открыто потешались, и миссис Рамзи, окруженной огнем со всех сторон, пришлось завесить свой герб, сложить оружие и принять ответные меры, наглядно продемонстрировав мистеру Бэнксу на примере насмешек за столом, какие испытания выпадают тому, кто осмеливается посягать на предрассудки британской общественности.

Тем не менее она сознавала, что Лили помогла ей с мистером Тэнсли и держится в стороне, поэтому нарочно отделила ее от прочих, сказав: «В любом случае Лили со мной согласна», и тем самым привлекла на свою сторону, чем слегка ее обрадовала и удивила. (Лили размышляла о любви). Оба в стороне, думала миссис Рамзи, и Лили,

и Чарльз Тэнсли. Оба страдают от пыла двух других. Совершенно ясно, что его обескураживает холодный прием, ведь в присутствии Пола Рэйли ни одна женщина на него даже не взглянет. Бедняга! Зато у него есть диссертация о влиянии такого-то на что-то там — он способен о себе позаботиться. Другое дело Лили. В сиянии Минты она блекнет, становится еще более незаметной в своем сереньком платьице, с мелкими чертами лица и узкими китайскими глазками. Все в ней такое мелкое! Впрочем, думала миссис Рамзи, сравнивая ее с Минтой и призывая на помощь (Лили подтвердит, что она рассуждает о своих молочных делах не больше, чем мистер Рамзи о своих ботинках — он готов говорить о них часами!), в сорок лет именно Лили будет выглядеть лучше. Есть в ней проблеск, искра, некое своеобразие, которое очень нравилось миссис Рамзи, хотя мужчина вряд ли его оценит. Разве что мужчина в летах, вроде Уильяма Бэнкса. А ведь она ему небезразлична, точнее, миссис Рамзи иногда так казалось, ведь после смерти жены ему одиноко. Конечно, ни о какой влюбленности речи нет, это всего лишь смутное влечение. Что за ерунда, оборвала она себя, Уильям обязан жениться на Лили! У них ведь столько общего: Лили обожа-

ет цветы, оба холодные, отстраненные и вполне самодостаточные. Нужно отправить их на совместную прогулку!

Глупо было сажать их друг напротив друга. Ничего, завтра все исправим. Если погода позволит, устроим пикник. Все легко, казалось ей, все правильно. Прямо сейчас (увы, это не может длиться вечно, подумала она, отвлекаясь от разговора, потому что опять речь зашла о ботинках), прямо сейчас она в безопасности, парит в вышине, как ястреб, развевается на ветру, как флаг, наполняясь радостью бытия, наполняясь без остатка, но радостью не шумной, скорее торжественной, ведь та исходит, думала миссис Рамзи, наблюдая, как они едят, от мужа, детей и друзей; и в этой глубокой тишине (она выискивала кусочек для Уильяма Бэнкса, нырнув в глубины глиняного горшка) ей казалось, что радость совершенно не обязана оставаться здесь надолго, словно столб дыма, поднимающийся к небу, что держит их вместе. Ничего говорить не нужно, да и что тут скажешь? Радость повсюду, окружает со всех сторон. Она становится, чувствовала миссис Рамзи, выбирая для мистера Бэнкса особо нежный кусочек, вечностью; днем ей уже довелось ощутить нечто подобное — некую взаимосвязь,

незыблемость; есть нечто, имела она в виду, что неподвластно переменам и сияет словно рубин (она бросила взгляд в окно, покрытое рябью отраженных огней) наперекор всему текучему, ускользающему, призрачному; и вечером она вновь ощутила то же чувство умиротворения, покоя. Из таких моментов, подумала миссис Рамзи, и слагается то, что длится долго.

— Хватит на всех, — заверила она Уильяма Бэнкса. — Эндрю, держи тарелку пониже, а то опрокину. (*Boeuf en daube* действительно удалась на славу.) Здесь, чувствовала миссис Рамзи, можно работать или отдыхать, можно накладывать еду (добавку получили все) и слушать разговоры, внезапно пикировать с высоты, словно ястреб, сложив крылья, заслышав хохот, опираясь всем весом на то, что на другом конце стола муж говорит про квадратный корень из тысячи двухсот пятидесяти трех. Кажется, такие цифры были у него на часах.

Что это значит? До сего дня она и понятия не имела. Что такое квадратный корень? Ее сыновья наверняка знают. Она прислушалась, о чем говорят теперь — кубы и квадратные корни, Вольтер и мадам де Сталь, характер Наполеона, французская система землевладения, лорд Ро-

узбери, мемуары Криви — она позволила себя захватить этому поистине достойному восхищения полотну мужского интеллекта, которое тянулось назад и вперед, сплеталось в узоры — словно железные валки крутятся, наматывая готовую ткань, вбирая в себя весь мир, и миссис Рамзи могла полностью ему довериться, даже закрыть глаза или прищуриться, как дитя, что щурится с подушки на бесчисленные слои листвы в кроне дерева. Тут она очнулась. Выработка полотна продолжалась. Уильям Бэнкс нахваливал романы Уэверли.

По его словам, он читает их каждые полгода. Отчего же так распалился Чарльз Тэнсли? Он ринулся в бой (все оттого, подумала миссис Рамзи, что Прю с ним не любезна) и одним махом осудил все романы Уэверли, хотя не знает о них ровным счетом ничего, подумала миссис Рамзи, больше наблюдая за ним, чем слушая, что он говорит. Судя по манере поведения, ему хочется самоутвердиться, и так будет до тех пор, пока он не получит должность профессора или не женится, и нужда твердить «Я, я, я» отпадет. Собственно, к этому и сводится вся его критика бедняги сэра Вальтера или Джейн Остин. «Я, я, я». Судя по звучанию голоса, нажиму и взвол-

нованности, Тэнсли думает лишь о себе и о впечатлении, которое производит. Успех пойдет ему на пользу. Во всяком случае, они снова разошлись. Теперь можно не слушать. Надолго это не затянется, понимала миссис Рамзи, но сейчас взор ее прояснился и обвел сидящих за столом, обнажая все их помыслы и чувства без малейшего усилия, словно луч, что пронзает воды, проходя сквозь рябь и камыши, внезапно выхватывает мелких рыбешек и бесшумную форель, те замирают и подрагивают на свету. Она их видела, она их слышала, но воспринимала все сказанное издалека, словно наблюдала за перемещениями форели под водой, когда одновременно видишь рябь на поверхности и гравий, движение справа, движение слева — всю картинку целиком, в то время как в активной жизни она закидывала бы сети и отделяла одно от другого — сказала бы, что любит романы Уэверли или что не читала их вовсе, непременно заставила бы себя включиться в беседу, сейчас же промолчала. На данный момент она зависла в подвешенном состоянии.

— Да, но долго ли это продлится, как думаете? — поинтересовался кто-то. У миссис Рамзи словно сработали антенны, настроенные на определенные фразы — она почуяла опасность

для мужа. За подобным вопросом почти наверняка последует замечание, которое заставит его усомниться в себе. Долго ли его будут читать? Уильям Бэнкс (лишенный всякого тщеславия) засмеялся и добавил, что не придает значения модным тенденциям. Разве можно сказать, что продлится долго — хоть в литературе, хоть еще где?

— Давайте радоваться тому, что есть, — провозгласил он. Миссис Рамзи его цельность восхищала. Казалось, он ни на миг не задумывается: как это отразится на мне? Если же обладаешь другим темпераментом, нуждаешься в похвалах, ободрении, то вполне закономерно начинаешь волноваться (вот как мистер Рамзи сейчас), хочешь, чтобы кто-нибудь заверил: ваши работы переживут свое время, мистер Рамзи, или что-нибудь в таком духе. Он выразил свое беспокойство совершенно открыто, с раздражением бросив, что Скотт (или Шекспир?) уж точно переживет свое время. Он едва сдерживался. Всем, подумала миссис Рамзи, непонятно почему стало немного неловко. И тогда Минта Дойл, которая отличалась прекрасным чутьем, брякнула явную глупость, заявив, что не верит, будто от чтения Шекспира можно получить удоволь-

ствие. Мистер Рамзи мрачно откликнулся (хотя мыслями был уже далеко), что мало кто в этом признается. Тем не менее, добавил он, некоторые пьесы обладают несомненными достоинствами, и миссис Рамзи увидела, что опасность миновала — он смеется над Минтой, и та, понимая его чрезвычайную тревогу за себя, позаботится о нем, вознесет ему хвалу так или иначе. Но ей хотелось, чтобы в этом не было необходимости — вероятно, чувствовала свою вину. В любом случае теперь она могла выслушать Пола Рэйли, пытавшегося рассказать про книги, прочитанные в детстве. Такие книги точно переживут свое время, полагал он. В школе он читал Толстого. Один роман ему особенно запомнился, только название позабыл. У русских — невозможные имена, заметила миссис Рамзи. «Вронский!» — воскликнул Пол. Он вспомнил, потому что для злодея имя очень подходящее. «Вронский, — повторила миссис Рамзи, — ах да, „Анна Каренина“», но дальше разговор не пошел — книги были не по их части. Конечно, Чарльз Тэнсли мог бы в два счета поддержать и развить тему, не будь так озабочен впечатлением, которое производит, и не переходи постоянно на себя, ведь в конечном итоге про Толстого они бы так и не узнали, в то время

как Пол держится предмета разговора и на себя не отвлекается. Как и всем людям недалеким, ему присуща определенная скромность, уважение к чужим чувствам, что порой весьма кстати. Сейчас он думал не о себе и не о Толстом — его заботило, не замерзла ли миссис Рамзи, не сидит ли на сквозняке, не хочется ли ей грушу.

Нет, сказала она, грушу не хочется. Сама того не сознавая, она ревниво охраняла блюдо с фруктами, надеясь, что к ним никто не прикоснется. Взгляд ее блуждал по изгибам и теням плодов, спускался в долину по ярко-лиловым виноградинам, поднимался на зубчатый край раковины, сопоставляя желтое с лиловым, дугу с округлостью, не зная, зачем и почему это так ее успокаивает, пока — о нет, только не надо трогать! — не протянулась чья-то рука, не схватила грушу и не испортила всю композицию. Миссис Рамзи сочувственно посмотрела на Роуз. Она посмотрела на Роуз, сидевшую между Джаспером и Прю. Как странно, что такую красоту создал твой ребенок!

Как странно смотреть на своих детей, сидящих в ряд — Джаспер, Роуз, Прю, Эндрю, — притихли, но, судя по подергиванию губ, над чем-то посмеиваются втихомолку. Задумали что-то свое, совсем

далекое от происходящего здесь, и смеяться будут уже у себя в комнате. Миссис Рамзи надеялась, что не над отцом. Нет, вряд ли. В чем же дело, гадала она не без грусти и чувствовала себя лишней. Застывшие, неподвижные, похожие на маски лица хранили тайну, не желали присоединяться к взрослым — скорее зрители, наблюдатели — и держались немного особняком. И все же, глядя сегодня вечером на Прю, мать видела, что она меняется. Прю понемногу оттаивала, начинала двигаться, снисходить. Лицо ее слегка светилось, словно отражая сияние Минты, ее волнение, предвкушение счастья, словно над столом взошло солнце любви, и она невольно потянулась к нему, радостно приветствуя. Прю не сводила с Минты глаз, рассматривая ее застенчиво и все же с любопытством, и миссис Рамзи, смерив взглядом обеих девушек, мысленно обратилась к Прю: когда-нибудь ты будешь так же счастлива, как и она. И даже еще счастливее, добавила она, ведь ты же моя дочь, имея в виду, что ее дочери положено гораздо больше счастья, чем чужим дочерям. Тем временем ужин подходил к концу. Пора расходиться. Все просто играют с остатками еды, размазывают их по тарелкам. Пусть закончат смеяться над историей,

которую рассказывает муж — что-то насчет пари с Минтой, и тогда она встанет из-за стола.

Чарльз Тэнсли ей нравится, внезапно поняла миссис Рамзи, нравится его смех, нравится его нескладность, нравится, что он так разозлился на Пола с Минтой. Как ни крути, в молодом человеке что-то есть. А Лили, подумала она, кладя салфетку рядом с тарелкой, всегда найдет, над чем посмеяться. За Лили можно не беспокоиться. Подождав, она сунула салфетку под край тарелки. Ну что, закончили? Нет. Одна история перетекла в другую. Сегодня муж был в прекрасном расположении духа и, вероятно, желая сгладить перед стариком Августом неловкость из-за недоразумения с супом, втянул его в разговор — они вспоминали общего знакомого из колледжа. Миссис Рамзи посмотрела в окно — на черных стеклах отражения свечей казались более яркими, и голоса доносились до нее странным эхом, как во время службы в соборе, потому что в слова она не вслушивалась. Внезапные взрывы хохота и женский голос (Минты) напомнили ей о мужском хоре, поющем на латыни во время службы в римско-католическом соборе. Она ждала. Муж говорил, декламируя наизусть, и по ритму, по звенящему ликованию и печали

в голосе она догадалась, что это стихи[7]:

Вверх по садовой дорожке иди,
Луриана, Лурили,
Роза китайская в пышном цвету
От пчелы медовой гудит.

Слова (миссис Рамзи глядела в окно) плыли по воздуху, будто цветы в воде, сами по себе, никем не произнесенные, зародившиеся самопроизвольно.

Все жизни, что мы прожили,
Все жизни, что у нас впереди
Деревьев полны и палой листвы,
Луриана, Лурили.

Миссис Рамзи не знала, что они означают, но, как и музыка, слова говорили ее собственным голосом, внутри ее, говорили легко и непринужденно, выражая то, о чем она думала весь вечер, произнося совсем другое. Она знала, не глядя, что все за столом слушают, как голос произносит:

---

[7] Сноски: 7

Строки из стихотворения «Луриана Лурили» Чарльза Элтона (1839–1900), английского юриста, политика, литератора. Это единственное стихотворение, которое сохранилось, остальные сожгла перед смертью его вдова, заботясь о репутации покойного.

Не знаю, заметишь ли ты,

Луриана, Лурили

с тем же облегчением и радостью, что и она, будто нечто само собой разумеющееся, будто звучит их собственный голос.

Но вот голос умолк. Миссис Рамзи огляделась, заставила себя подняться. Август Кармайкл встал и, держа салфетку так, что она походила на длинное белое одеяние, нараспев произнес:

Смотреть, как едут верхом волхвы

Через заросший ромашками луг,

Ветви кедра и пальмы везут они

Луриана, Лурили.

и, когда она проходила мимо, чуть повернулся к ней и повторил последнюю строчку:

Луриана, Лурили

и поклонился, будто отдал дань уважения. Внезапно она поняла, что нравится ему как никогда прежде, с облегчением и благодарностью поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он заботливо придержал.

Теперь нужно было сделать еще один шаг, закрепить успех. Держа ногу на пороге, миссис

Рамзи помедлила, наслаждаясь ускользающей сценой, взяла Минту за руку и вышла из комнаты, чувствуя, как все меняется, принимает иные очертания, становится, знала она, бросая последний взгляд из-за плеча, точнее, уже стало прошлым.

18

Как обычно, подумала Лили. Вечно миссис Рамзи нужно сделать что-нибудь сию же минуту, руководствуясь собственными резонами, вот как сейчас, когда все стоят, перешучиваясь, и не могут решить, то ли пойти в курительную или в гостиную, то ли разойтись по своим комнатам. А миссис Рамзи стоит посреди всеобщей суматохи, держит Минту за руку, думая: «Да, теперь самое время», и с таинственным видом отбывает восвояси. Стоило ей уйти, как компания распалась — все дрогнули и разбрелись кто куда, мистер Бэнкс взял Чарльза Тэнсли под руку и повел на террасу заканчивать начатую за ужином беседу о политике, тем самым резко сменив курс вечера, сместив чашу весов, думала Лили, глядя им вслед и ловя на слух пару слов о политике партии лейбористов, словно они зашли на мостик

корабля и определяют координаты — резкий переход от поэзии к политике ее поразил; мистер Бэнкс с Чарльзом Тэнсли удалились, остальные же смотрели, как миссис Рамзи в сиянии ламп поднимается по лестнице. Куда же, думала Лили, она так спешит?

Миссис Рамзи вовсе не бежала, не торопилась, шла довольно медленно. После всей этой болтовни ей хотелось немного постоять и кое-что обдумать, кое-что важное, отделить его от прочего, очистить от эмоций и наносной чепухи, подержать перед собой и вынести на суд, на закрытое совещание, где сидят судьи, которых она назначила для решения подобных вопросов. Хорошо ли, плохо ли, правильно или нет? Куда мы все идем? и прочая, прочая. Так она приходила в себя после завершения вечера, безотчетно и несуразно цепляясь взглядом за ветви вязов, пытаясь обрести устойчивость. Ее мир менялся, они же оставались неподвижны. Казалось, ужин ее оживил. Все будет в порядке. Она все уладит, думала миссис Рамзи, бессознательно отдавая дань уважения неподвижности вязов, мерному вздыманию (словно нос корабля на волне) крон на ветру. Поднялся ветер (она остановилась и посмотрела в окно). Листва металась, то и де-

ло проглядывали звезды, дрожали, испускали свет и пытались сиять в просветах. Значит, дело сделано и стало сокровенным, как все свершившееся. Если думать отвлеченно, отрешившись от суеты и лишних эмоций, то казалось, что так было всегда, только сегодня оно сделалось явным и тем самым придало стабильность всему. Вновь и вновь, на протяжении всей жизни они будут возвращаться к этому событию, к этому вечеру, луне, ветру, дому, да и к ней тоже. Мысль о том, что теперь она навеки вплетена в их сердца, ей льстила, ведь к лести миссис Рамзи была особенно восприимчива, и она радовалась, что в них останется это, и это, и это, думала она, поднимаясь по ступеням и смеясь, ласково оглядывая козетку на лестничной площадке (ее матери), кресло-качалку (ее отца), карту Гебридских островов. И это все вернется к жизни в памяти Пола и Минты, супругов Рэйли — она попробовала новое имя и ощутила, коснувшись ручки на двери детской, как общность чувств с другими людьми, которую дают эмоции, делает разделяющие их стены настолько тонкими, что все практически сливается в единый поток (и приносит огромное облегчение и счастье), кресла, столы, карты, принадлежат и ей, и им — неважно кому, и Пол

с Минтой увлекут все это за собой, когда она умрет.

Она решительно повернула ручку, чтобы та не скрипнула, и вошла, поджав губы, словно желая себе напомнить, что шуметь нельзя. Но войдя, сразу поняла, что зря осторожничает. Дети не спали. Весьма досадно! Милдред следует быть построже. Джеймс лежал с открытыми глазами, Кэм сидела в кровати, а Милдред встала с постели босиком, и все разговаривали, хотя время близилось к одиннадцати. Что случилось? Опять этот жуткий череп! Она велела Милдред его убрать, но Милдред, конечно, позабыла, и теперь Кэм не спала, Джеймс спорил, хотя всем давно следовало уснуть. И как только Эдварду пришло в голову прислать им этот отвратительный череп? Глупо было позволять детям вешать его на стену. Прибили крепко, сказала Милдред, и Кэм не могла из-за него уснуть, а Джеймс вопил, стоило к нему прикоснуться.

Кэм должна уснуть (у него большие рога, сказала Кэм), должна уснуть и видеть прекрасные дворцы, проговорила миссис Рамзи, садясь с ней рядом на кровать. Рога видно, сказала Кэм, по всей комнате видно. Действительно, где ни поставишь лампу (а Джеймс спать без света не мог),

всюду тени рогов.

— Кэм, это всего лишь старый кабан, — убеждала миссис Рамзи, — хороший черный кабанчик вроде тех, что на ферме.

Но Кэм считала, что это чудовище, которое тянется к ней отовсюду.

— Ладно, — сказала миссис Рамзи, — мы его прикроем.

И под бдительными детскими взглядами подошла к комоду, порылась в ящиках, не обнаружила ничего подходящего, сняла с плеч шаль и обмотала ею череп в несколько оборотов, потом вернулась к Кэм, положила голову на подушку и сказала, что теперь он выглядит прелестно, феям наверняка понравится, похож на птичье гнездышко, на красивую гору, которую она видела за границей, с долинами и цветами, где звенят колокольчики и поют птицы, а маленькие козочки и антилопы… Она видела, как слова эхом отражаются в сознании Кэм, и девочка ритмично повторяла вслед за ней про красивую гору, птичье гнездышко, садик и маленьких антилоп, все более ритмично и рассеянно, что она должна закрыть глаза и уснуть, видеть сны про горы и долины, падающие звездочки и попугаев, антилоп и садики, про все прелестное, машинально

твердила миссис Рамзи, пока не убедилась, что Кэм спит.

Теперь, прошептала она, подходя к другой кроватке, Джеймс тоже должен уснуть, ведь череп кабана на месте, они к нему даже не притронулись, сделали, как он хотел, с ним ничего не случилось. Мальчик убедился, что череп находится под шалью, однако его волновало и кое-что еще. Поедут ли они на маяк завтра?

Нет, не завтра, но скоро, пообещала мать, в следующий погожий день. Он вел себя очень хорошо, лег на кровать. Она накрыла его одеялом. Увы, мальчик никогда не забудет, думала она и злилась на Чарльза Тэнсли, на мужа и на себя, за то что вселила в него надежду. Потянувшись поправить шаль, миссис Рамзи вспомнила, что обернула ею кабаний череп, встала, прикрыла окно еще чуть-чуть, услышала ветер и ощутила дуновение равнодушного, холодного ночного воздуха, шепотом пожелала Милдред доброй ночи и вышла из комнаты, подождала, пока язычок замка медленно защелкнется, и ушла.

Надеюсь, Чарльз Тэнсли не станет швырять книги на пол у них над головой, думала она, вспоминая, сколь он бывает невыносим. Дети возбудимые и спят плохо, а если он позволяет

себе говорить такие вещи о маяке, то и стопку книг может со стола смахнуть, случайно двинув локтем, как раз когда они засыпают. Миссис Рамзи предположила, что он поднялся наверх поработать. Вид у него унылый — скорее бы уехал, и все же она проследит, чтобы завтра с ним обращались получше, ведь он прекрасно ладит с ее мужем, хотя манеры у него не ахти, зато ей нравилось, как он смеется, — размышляя об этом, она спускалась по ступеням и заметила в окне площадки луну — желтую полную луну накануне равноденствия — повернула, и все увидели, что она стоит над ними на лестнице.

Вот и моя мать, подумала Прю. Да, Минте стоит на нее посмотреть и Полу Рэйли тоже. Все дело в том, поняла она, что ее мать — единственная в целом свете, таких больше нет. И хотя еще миг назад Прю была вполне взрослой и беседовала с остальными, она вновь ощутила себя ребенком, играющим в игру, и задалась вопросом, одобрит ли эту игру мать или осудит. Думая о том, как повезло Минте, Полу, Лили ее узнать, чувствуя, что ей необычайно повезло иметь такую мать, что она никогда не вырастет и не покинет дом, Прю сказала, как ребенок: «Мы хотим сходить на берег и посмотреть на волны».

Мгновенно, без всякой причины миссис Рамзи развеселилась словно двадцатилетняя девушка. Ее потянуло на авантюры. Конечно, идите, конечно, идите, вскричала она со смехом, проворно слетела с последних трех-четырех ступенек и обошла всю компанию, смеясь и кутая плечи Минты в палантин, жалея, что не может пойти с ними, ведь они вернутся очень поздно, и есть ли у них часы?

— Да, у Пола есть, — заверила Минта. Пол вынул из замшевого чехольчика красивые золотые часы и показал миссис Рамзи. Протягивая их на ладони, он чувствовал: «Она все знает. Мне не нужно ничего говорить». Показывая ей золотые часы, он словно говорил: «Я решился, миссис Рамзи. И все благодаря вам!» А миссис Рамзи, глядя на золотые часы в его ладони, думала: Минте невероятно повезло! Она выходит замуж за человека, у которого есть золотые часы в замшевом чехле!

— Как бы я хотела пойти с вами! — вскричала она, но ее удерживало нечто настолько серьезное, что она даже не задумывалась, что именно. Конечно, ей с ними никак нельзя. Ей очень хотелось пойти, если бы не одно обстоятельство, и, позабавившись нелепости собственной мысли

(как удачно выйти замуж за человека, у которого есть золотые часы в замшевом чехле), с улыбкой на губах она вошла в другую комнату, где сидел и читал ее муж.

19

Конечно, сказала себе она, входя в комнату, мне здесь кое-что нужно. Прежде всего — сесть в определенное кресло под определенной лампой. Но ей нужно и нечто большее, хотя и непонятно, что именно. Миссис Рамзи посмотрела на мужа (взяв чулок и начиная вязать) и увидела: тот явно не хочет, чтобы ему мешали. Чтение очень его растрогало. Он чуть улыбался, сдерживая эмоции, перелистывал страницы. Возможно, даже разыгрывал сцену из книги, представляя себя ее персонажем. Интересно, что за книга? Ах да, роман сэра Вальтера, заметила она, поправляя абажур, чтобы свет падал на вязанье. Ведь Чарльз Тэнсли заявил (она посмотрела вверх, словно ожидая услышать грохот книг об пол), что Вальтера Скотта больше никто не читает. И тогда ее муж подумал: «Так и обо мне скажут», поэтому пошел сюда и взялся за книгу. И если он решит, что Чарльз Тэнсли прав, то смирится насчет

Скотта. (Миссис Рамзи видела, как во время чтения он взвешивает, обдумывает, сопоставляет). Но только не насчет себя! Вечно он беспокоится насчет себя, и ее это тревожило. Вечно он переживает из-за своих книг — станут ли их читать, достаточно ли они хороши, что о нем скажут люди? Досадуя, что думает о нем так, тревожась, что за ужином все могли догадаться, почему он внезапно рассердился, стоило заговорить о долговечности славы и книг, гадая, не над этим ли потешались дети, резким движением она подняла чулок на просвет, и на лице ее проступили тени — тонкие, как изящная гравировка, нарисованные стальными спицами вокруг губ и лба, и она застыла неподвижно, словно дерево, которое металось и трепетало на ветру, а теперь постепенно, листок за листком, погружается в состояние покоя.

Неважно, совсем неважно, думала миссис Рамзи. Великий человек, великая книга, слава — кто знает? Ей об этом ничего не известно. Но его манера поведения, его правдивость — к примеру, за ужином она безотчетно думала: только бы заговорил! Она полностью на него уповала. И отбросив это все, словно ныряльщик, минующий водоросли, соломинку, пузырек воздуха, вновь

ощутила, погружаясь глубже, как в холле, когда остальные разговаривали: мне кое-что нужно, я за этим и пришла, и падала глубже и глубже с закрытыми глазами, сама не понимая, что ей нужно. И ждала, вязала и недоумевала, и медленно всплыли слова, сказанные за ужином:

Роза китайская в пышном цвету
От пчелы медовой гудит,

стали ритмично перекатываться в сознании, плескаться, слова складывались в тусклые огоньки — красный, синий, желтый, — горели во тьме сознания, вспархивали с жердочек, летали туда-сюда или кричали, и им вторило эхо; миссис Рамзи повернулась к столику и нащупала книгу.

Все жизни, что мы прожили,
Все жизни, что у нас впереди
Деревьев полны и палой листвы,

пробормотала она, втыкая спицы в чулок. Открыла книгу наугад, начала читать, листая страницы, и ей казалось, что она карабкается задом наперед, наверх, выбираясь из-под лепестков, которые над нею изгибаются, и различала лишь два цвета — белый и красный. Сначала она вообще не понимала, что означают слова.

Плывите сюда, плывите
На всех парусах,
Обессилевшие моряки[8] –

прочла она, раскачиваясь, двигаясь зигзагами вправо-влево, от одной строчки к другой, словно с ветки на ветку, с белого цветка на красный, пока ее не отвлек негромкий звук — муж хлопнул себя по бедрам. На миг их взгляды встретились, но разговаривать они не хотели. Им было нечего сказать, и все же между ними что-то проскользнуло. Миссис Рамзи понимала, что заставило его хлопнуть себя по бедрам — сама жизнь, ее воля, ее безудержный восторг. Он словно говорил: не мешай мне, молчи, просто сиди рядом. И он продолжил чтение, уголки рта подрагивали, оно переполняло его, укрепляло духом. Он начисто позабыл мелкие недоразумения и подначки этого вечера, и как невыносимо скучал, вынужденный сидеть среди жующих и пьющих людей, и как рассердился на жену, как разобиделся на всех, когда его книги обошли молчанием, словно их не существует вовсе. Наплевать, кто там дойдет до Z (если мысль движется в ал-

[8] Сноски: 8
Уильям Броун (1590–1645). Песнь сирены.

фавитном порядке от A до Z). Не он, так другой. Сила и здравомыслие героя, его отношение к простым и понятным вещам, к рыбакам, к бедной сумасшедшей старухе в лачуге Маклбеккитов[9] придали ему такой бодрости, даровали такое чувство освобождения, что он преисполнился ликования и не смог сдержать слез. Прикрыв книгой лицо, мистер Рамзи позволил им пролиться и покачал головой, совершенно позабыв про себя (но не забыв пару мыслей о морали, о французских и английских романах и о том, что у Скотта связаны руки, хотя его взгляды ничуть не менее истинны, чем у других), совершенно позабыв про свои тревоги и неудачи, померкшие перед гибелью юного Стини и горем Маклбеккитов (эта сцена Скотту особенно удалась), и восхищаясь восторгом и ощущением бодрости, которое дарила ему книга.

Что ж, пусть попробуют его превзойти, подумал мистер Рамзи, дочитывая главу. Он словно поспорил с кем-то и одержал верх. Сэра Скотта им не превзойти, что бы ни говорили, и его собственная позиция еще больше упрочилась.

---

[9] Сноски: 9

Персонажи историко-приключенческого романа Вальтера Скотта «Антикварий» (1816), который сам автор считал своим лучшим произведением.

Влюбленные — чепуха, конечно, думал он, мысленно собирая все воедино. Это — чепуха, это — прекрасно, судил он, сравнивая одно с другим. Нужно перечитать еще раз. Он не мог вспомнить общей картины, поэтому пока воздержится от суждений. И мистер Рамзи вернулся к другой мысли — если молодежи нет дела до этого, им нет дела и до него. Сетовать не стоит, подумал он, пытаясь справиться с порывом пожаловаться, что молодежь им не восхищается. Он был полон решимости больше ее не беспокоить. Он наблюдал, как она читает. Вид очень умиротворенный. Ему нравилось думать, что все разошлись и они остались вдвоем. Жизнь вовсе не сводится к тому, чтобы лечь с женщиной в постель, подумал он, возвращаясь к Скотту и Бальзаку, к английскому и французскому роману.

Миссис Рамзи подняла голову, словно очнувшись от грезы, давая понять: если он хочет, она проснется, правда проснется, но если нет, продолжит грезить, еще немного, еще капельку. Она взбиралась по ветвям, и так и эдак, хватаясь то за один цветок, то за другой.

И розе пунцовой хвалу я не вознес[10],

---

[10] Сноски: 10
Здесь и далее миссис Рамзи читает 98-й сонет Уильяма Шекспира.

читала она, взбираясь на вершину, на самую вершину. Как приятно! Как спокойно! Все осколки и обрывки дня липли к этому магниту, сознание очищалось от всего наносного. И вот он появился весь целиком, лег ей прямо в руки — прекрасный и разумный, звучный и совершенный — сонет.

Она почувствовала взгляд мужа. Тот насмешливо улыбался, словно журил, что она заснула среди бела дня, и в то же время думал: продолжай читать, теперь ты не выглядишь печальной. Интересно, что это за книга, гадал он, преувеличивая ее невежество, ее простоту, поскольку ему нравилось думать, что она не очень-то умна и мало разбирается в книгах. Он гадал, понимает ли жена вообще, что читает. Вряд ли, решил мистер Рамзи. Но до чего красива! Казалось, с годами ее красота только приумножается, если это возможно.

Но мне казалось, что вокруг царит зима,
Ведь без тебя весна – лишь тень самой себя,

закончила она.

— Ну что? — спросила миссис Рамзи, подняв

взгляд и с мечтательным видом улыбнувшись мужу.

Ведь без тебя весна – лишь тень самой себя,

прошептала она, кладя книгу на стол.

Что же произошло, гадала миссис Рамзи, вновь берясь за вязание, с тех пор как они оставались наедине? Она помнила, как одевалась к ужину, как смотрела на луну, Эндрю поднял тарелку слишком высоко, она расстроилась из-за слов Уильяма, птицы на деревьях, козетка на лестничной площадке, дети не спят, Чарльз Тэнсли перебудил их, столкнув книги на пол — ах, нет, это она выдумала, и у Пола есть замшевый футлярчик для часов. О чем же ему рассказать?

— Они помолвлены, — сказала миссис Рамзи, начиная вязать, — Пол с Минтой.

— Я так и думал, — откликнулся он. На этом тема иссякла. У нее в голове все еще кружились прочитанные стихи, он все еще чувствовал себя ободренным, воспрянувшим после чтения про похороны Стини, и оба сидели молча. Затем ей отчаянно захотелось, чтобы он что-нибудь сказал.

Все что угодно, все что угодно, думала она, про-

должая вязать. Лишь бы не молчал.

— Славно, должно быть, выйти замуж за человека, у которого есть замшевый футлярчик для часов, — промолвила миссис Рамзи, потому что они любили шутить на подобные темы.

Он фыркнул. К этой помолвке мистер Рамзи относился примерно так же, как и к любой другой: девушка слишком хороша для такого молодчика. И постепенно до нее дошло: зачем же тогда сводить людей вместе? В чем прок, в чем смысл? (Сейчас истинность обретало любое слово.) Скажи что-нибудь, думала она, дай услышать твой голос! Она чувствовала, как вокруг снова смыкается тень. Только не молчи, умоляла она взглядом, прося о помощи.

Он молчал, покачивая компас на цепочке для часов взад-вперед и размышляя о романах Скотта и Бальзака. Сквозь сумеречные стены близости — они невольно сближались, становясь бок о бок, совсем рядом — она чувствовала, как сознание мужа, словно поднятая рука, затеняет ее сознание, и он начинает (теперь, когда ее мысли приняли неприятный для него оборот — пессимистичный, как он его называл) нервничать, хотя и молчит, подносит руку ко лбу, играет прядью волос, снова роняет.

— Чулок ты сегодня не закончишь, — заметил он, указывая на вязанье. Этого ей и хотелось — резкости, упрека в голосе. Если муж говорит, что смотреть на вещи пессимистично — плохо, наверное, так и есть, подумала она; значит, брак Пола и Минты будет удачным.

— Да, — кивнула она, расправляя чулок на колене, — не закончу.

И что дальше? Она чувствовала, что муж на нее смотрит, но взгляд его изменился. Он чего-то хотел — хотел того, что ей всегда было очень трудно ему дать, хотел, чтобы она сказала, что любит. Нет, только не это! Ему гораздо легче говорить о таких вещах, чем ей. Он может, а она нет. Разумеется, он всегда говорил о любви сам, потом внезапно распалялся и начинал ее упрекать, называл бессердечной, ведь она никогда не говорила, что любит. Но это не так — совсем не так! Если бы только она могла сказать о том, что чувствует… Нет ли крошек у него на пиджаке? Может ли она что-нибудь для него сделать? Поднявшись, миссис Рамзи встала у окна с рыжевато-коричневым чулком в руках, отчасти желая отвернуться, отчасти желая полюбоваться ночным морем, и знала, что он за ней наблюдает. Она поняла, о чем он думает: ты красива как ни-

когда, и почувствовала себя очень красивой. Неужели не скажешь хотя бы раз, что любишь? Так он думал, возбудившись из-за Минты и книги, из-за того, что день подошел к концу, что сегодня они поссорились из-за прогулки на маяк. Увы, она не могла, просто не могла этого сказать. Чувствуя на себе его взгляд, она без лишних слов обернулась, держа в руках чулок, и посмотрела на мужа. И, глядя на него, улыбнулась, потому что он, конечно, понял: любит. Он не мог этого отрицать. С улыбкой она посмотрела в окно и сказала (думая про себя, что с этим счастьем не сравнится ничто на свете):

— Да, ты прав. Завтра погоды не будет. Мы не сможем поехать. — И посмотрела на него с улыбкой, потому что вновь одержала победу. Она этого не сказала, но он понял.

Проходит время

1

— Остается только ждать, что покажет будущее, — проговорил мистер Бэнкс, вернувшись с террасы.

— Слишком темно, почти ничего не видно, — заметил Эндрю, вернувшись с берега.

— Не разобрать, где море, где суша, — добавила Прю.

— Свет оставляем? — спросила Лили, снимая плащ.

— Нет, — ответила Прю, — если все дома, то нет. Эндрю, — окликнула она, — выключи свет в холле.

Лампы погасили все, кроме мистера Кармайкла, который любил почитать Вергилия перед сном, и его свеча горела еще долго.

2

Луна скрывалась в тучах, по крыше барабанил мелкий дождик. Когда погасили все лампы, нахлынула непроглядная тьма. Казалось, она сме-

тает все на своем пути, забивается в замочные скважины и трещины, обволакивает шторы, проникает в спальни, поочередно поглощает кувшин, таз, чашу с красными и желтыми георгинами, острые углы и массивную глыбу комода. Пострадала не только мебель — едва ли что осталось от тела и духа, чтобы с определенностью сказать: «Это он» или «Это она». Лишь поднималась рука, пытаясь что-то схватить или оттолкнуть, раздавался стон или смех, словно кто-то делился шуткой с небытием.

В гостиной, столовой и на лестнице все замерло, сквозь ржавые петли и разбухшие от морской влаги дверные проемы сочились отдельные дуновения, оторвавшиеся от потока ветра (в конце концов, дом совсем обветшал), тихонько огибали углы и пробирались внутрь. Никто не удивился, когда они ворвались в гостиную и поинтересовались, теребя полоску отставших обоев, доколе еще она продержится, когда наконец упадет? Легонько коснувшись стен, они недоуменно скользнули дальше, словно вопрошая красные и желтые розы на обоях, когда же те поблекнут, и допытываясь (ненавязчиво, ведь времени у них предостаточно) у обрывков писем в корзинке для бумаг, у цветов, у книг, теперь таких

уязвимых: Вы — союзники? Враги? Сколько еще продержитесь?

И вот какой-то случайный свет — то ли проглянувшей сквозь тучи звезды, то ли заплутавшего корабля, то ли даже маяка — поманил их по своим бледным следам к лестнице, и легкие дуновения поднялись наверх и засновали у дверей спален. Здесь им, конечно, надлежало развеяться. Что бы ни гибло и ни приходило в упадок внизу, здесь все неизменно. Здесь не место блуждающим лучам и чахлым дуновениям, что норовят нависнуть над кроватью, здесь нельзя ни к чему прикасаться, нельзя ничего портить. И тогда, словно перисто-упругие призраки с легкими как перышки пальцами, они бросили усталый взгляд на закрытые глаза и неплотно сплетенные руки спящих, устало подхватили свои одежды и исчезли. И так, вынюхивая и тыкаясь носом, обследовали окно на лестничной площадке, спальни слуг, коробки на чердаке; спустившись, обесцветили яблоки на обеденном столе, переворошили лепестки роз, потрогали картину на мольберте, прошлись по ковру, сметая на пол песчинки. Наконец свились воедино, вздохнули в горестном порыве, слегка распахнули кухонную дверь, и та захлопнулась, так никого и не

впустив.

(Тут мистер Кармайкл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.)

3

В конце концов, что такое одна ночь? Короткий промежуток времени, особенно если темнота быстро рассеивается, начинают петь птицы, кричит петух и в глубине волны проступает бледная зелень, словно листок распускается. Одна ночь сменяется другой. Зима припасла их в избытке и распределяет равномерно, деля поровну не знающими усталости пальцами. Ночи удлиняются, становятся темнее. В иные из них в небесах сияют яркие, лучезарные светила. Облетающие осенние деревья машут потрепанными стягами, пламенея в сумраке прохладного храма, где на мраморных страницах золотыми буквами описана гибель в битве, белеющие кости сгорают в песках Индии. Перед днем осеннего равноденствия деревья мерцают в желтом лунном сиянии, которое умеряет трудовой пыл, сглаживает стерню и захлестывает берег синевой.

Такое чувство, что Божественная благодать, тронутая людским раскаянием и тяжким трудом,

раздвинула завесу и явила зайца на задних лапах, опадающую волну, покачивающуюся лодку — все это, если бы мы заслужили, стало бы нашим навсегда. Но увы, Божественная благодать, дернув за шнур, опускает завесу — она недовольна, она скрывает свои сокровища стеной града и разбивает вдребезги, сваливает в кучу, и кажется невозможным, что покой вернется, что мы сможем собрать осколки воедино или отыскать в них слова истины. Ибо наше упорство заслуживает лишь мимолетного взгляда, лишь временного облегчения в тяжком труде.

Теперь по ночам царят ветра и разрушение, деревья качаются, гнутся и стремительно теряют листву, та устилает лужайку, забивается в водосточные желоба и трубы, щедро усыпает мокрые дорожки. Море волнуется, не зная покоя, и, если кому-то пригрезится, что на берегу он сможет найти ответы на свои вопросы и развеять сомнения, если кто-то скинет одеяло и отправится бродить по песку, никакое божественное вмешательство не призовет ночь к порядку и не заставит мир указать курс мятущейся душе. Рука сжимает пустоту, в ухо ревет голос. И становится ясно, что в таком хаосе бесполезно вопрошать ночь, зачем и почему — не получит

он ответов на вопросы, которые погнали его из постели.

(Однажды ранним утром мистер Рамзи, бредя по коридору, раскинул руки, но те остались пусты, ведь прошлой ночью миссис Рамзи внезапно умерла.)

4

И когда дом опустел, двери заперли и матрасы скатали в рулоны, бродячие дуновения, передовые отряды великих армий, влетели в дом, накинулись на голые доски, стали их глодать и трепать, не встретив достойного сопротивления ни в спальне, ни в гостиной — лишь хлопающие шторы, скрипучее дерево, голые ножки столов, потускневшие, покрытые налетом кастрюли, потрескавшийся фарфор. Вещи, которые люди бросили и ушли — пара ботинок, охотничья кепка, выцветшие юбки, плащи в шкафах, — только они в этом запустении хранили контуры людских фигур и указывали на то, что когда-то их надевали, руки возились с крючками и пуговицами, в зеркале отражалось лицо, отражался целый мир, где двигался силуэт, мелькала рука, открывалась дверь, гурьбой вбегали

дети и уносились прочь. Теперь день за днем свет отбрасывал на противоположную окну стену четкие силуэты, качавшиеся, словно отражение цветка в воде. Тени деревьев, колышущихся на ветру, выражали свое почтение глубоким поклоном и на миг заслоняли лужу, в которой вспыхивал луч; или птица, пролетая, роняла тень, медленно скользящую по полу спальни мягким пятном.

Теперь здесь правило прекрасное и недвижное, являвшее собой призрак красоты — форму, лишенную жизни, одинокую, словно бледный вечерний пруд вдалеке, мельком увиденный из окна поезда, который исчезает настолько быстро, что беглый взгляд вовсе не лишает его уединения. Прекрасное и недвижное скрестили руки в спальне, стоя среди обернутых в ткань кувшинов и завешанных кресел, и даже пронизывающий ветер и мягкие носы холодных, влажных морских сквозняков, что трутся повсюду, гнусаво сопят и назойливо пытают — «Вы пропадете? Вы исчезнете?» — ничуть не нарушали покой, равнодушие, атмосферу неприкосновенности, словно подобные вопросы вовсе не требуют ответа: мы остаемся, говорили они.

Казалось, ничто не могло развеять этот образ,

разрушить его непорочность или потревожить покров безмолвия, который неделя за неделей укутывал дом, вплетая в себя крики птиц, пароходные гудки, жужжание и гул лугов, лай собак, людские возгласы. Лишь раз на лестничной площадке подскочила доска, да посреди ночи ослабела и закачалась туда-сюда складка шали — с грохотом, с треском, словно после столетий покоя камень сорвался с горы и обрушился в долину. И вновь снизошел покой, задрожала тень, свет склонился в обожании к привычному месту на стене спальни, и миссис Макнаб, рванув пелену безмолвия руками, распаренными стиркой, топча ее ботинками, захрустевшими по гравию, пошла, как было велено, открывать окна и подметать спальни.

5

Рыская, словно корабль по волнам, и бросая косые взгляды (прямых она избегала, уклоняясь от мирского презрения и злобы — знала, что умом скудна), цепляясь за перила и потихоньку подтягивая себя вверх по лестнице, перекатываясь из комнаты в комнату, миссис Макнаб напевала. Протирая продолговатое зеркало

и посматривая искоса на свое покачивающееся отражение, она мурлыкала эстрадный мотивчик, популярный лет двадцать назад, но теперь, из уст беззубой, облаченной в чепец прислуги, звучавший глупой, бессмысленной пародией, воплощением терпеливости, которую попирают, а она распрямляется вновь — так и старуха рыскала, мела, протирала, всем своим видом говоря, что жизнь — долгая череда печалей и невзгод, только и знаешь, что вставать да ложиться спать, выносить вещи да убирать обратно. Почти семьдесят лет ей жилось нелегко и бесприютно, усталость клонила ее к земле. Доколе, гадала она, хрустя суставами и стеная, стоя на коленях под кроватью, протирая половицы, доколе еще терпеть? Но вновь с трудом поднималась, брала себя в руки, все тем же косым взглядом, ускользающим прочь даже от собственного лица и от своих печалей, вставала и изумленно смотрела в зеркало, бессмысленно улыбаясь, вновь семенила, прихрамывая, вытряхивать коврики, протирать фарфор, искоса поглядывая в зеркало, словно у нее были свои утешения, словно скорбная песнь дарила ей неизбывную надежду. Мечты о радости наверняка приходили к ней за стиркой, скажем, при мысли о детях (хотя

обоих прижила без мужа, и один ее покинул), в пивной за кружкой или за разбором старого хлама в комоде. Вероятно, в пелене мрака все же зиял просвет, узкая щель, сквозь которую проникало достаточно света, чтобы миссис Макнаб хватило сил улыбаться в зеркало и возобновлять уборку, бормоча под нос популярную некогда эстрадную песенку. Фантазеры и мистики, гуляя по берегу моря ясной ночью, бродя по заводям, разглядывая камешки, вопрошали: «Кто я такой?», «Что это такое?» и внезапно удостаивались ответа (хотя и не могли его постигнуть), который согревал их в мороз и дарил утешение в пустыне. Однако миссис Макнаб продолжала выпивать и сплетничать, как и прежде.

6

На полях раскинулась весна без единого листочка, нагая и прекрасная, словно безжалостная в своем целомудрии и презрительная в своей чистоте девственница — с распахнутыми глазами, настороженная и совершенно безразличная к тому, что сделают или подумают наблюдатели. (Прю Рамзи пошла к алтарю под руку с отцом. Подходящая партия, говорили люди. Как красива

невеста!)

Близилось лето, вечера становились длиннее, и тех, кому не спится ночами, кто полон надежд, гуляя по берегу, бродя по заводям, будоражили удивительнейшие фантазии — плоть распадается на поток атомов, несущихся быстрее ветра, в сердце сияют звезды, а скалы, облака и небеса сходятся, собирая воедино обрывки видения. И в этом зеркале — в сознании людей, в неспокойных заводях, где кружатся облака и рождаются тени, — жили грезы, и невозможно было устоять перед чудесными знамениями, которые несла каждая чайка, цветок, дерево, мужчина или женщина и сама земля, провозглашая грядущую победу добра, счастья и порядка (но сразу отступали, стоило спросить, когда же она наступит); или перед непреодолимым побуждением странствовать по миру вдали от тривиальных удовольствий и привычных добродетелей, вдали от совершенно чуждого домашнего быта в поисках абсолютного добра, средоточия мощи, единственного, твердого и сверкающего, словно бриллиант в песке, что дарит своему обладателю неуязвимость. Весна присмирела и смягчилась, прикрыла наготу плащом, вокруг которого жужжали пчелы и вилась мошкара, накинула вуаль,

опустила голову и наконец, в мелькании теней и брызг мелкого дождика, прониклась скорбями рода человеческого.

(Тем летом умерла Прю Рамзи, скончавшись от осложнения, связанного с беременностью, — большая трагедия, говорили люди, ведь все в ее жизни складывалось так хорошо.)

И теперь, в разгар лета, ветер вновь послал в дом своих шпионов. Залитые солнцем комнаты зарастали паутиной, по ночам в окна бились высокие сорняки. С наступлением темноты луч маяка, который прежде падал столь непреклонно, заметно смягчился, смешавшись с лунным светом, и скользил потихоньку, любовно лаская узоры на ковре, исчезал, выжидал и появлялся вновь. Но в самый разгар ласки, когда длинная вспышка света протянулась через кровать, со скалы сорвался камень — еще одна складка шали ослабла и повисла, качаясь. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда в пустых комнатах отражался эхом гул полей и жужжание мух, длинная бахрома плавно развевалась, бесцельно покачивалась, и солнце испещряло комнаты полосами, наполняло их желтой дымкой, так что миссис Макнаб, которая вторглась в дом и шатаясь бродила, то подметая,

то подтирая, смахивала на тропическую рыбу, бороздящую залитые солнцем морские глубины.

Несмотря на сонную дремоту и оцепенение, под конец лета раздались зловещие звуки, похожие на размеренные удары огромных молотков по войлоку, которые еще больше ослабили провисшую шаль, раскололи чайные чашки. Время от времени в буфете позвякивала стеклянная посуда, словно от раскатов мощного голоса, вопящего в муках так громко, что стаканы тоже вибрировали. И вновь наступала тишина, и ночь за ночью, а порой и среди бела дня, когда свет падал на стену и розы алели, в этой тишине, в безучастности, в неприкосновенности раздавался грохот падения чего-то тяжелого.

(Взорвался снаряд. Во Франции погибло двадцать или тридцать юношей, среди которых был и Эндрю Рамзи, чья смерть, к счастью, наступила мгновенно.)

В это время года те, кто спускались побродить по берегу и спросить у моря и неба, какое послание или видение им высматривать среди привычных божественных щедрот — закат на море, бледный рассвет, восход луны или рыбацкие лодки на ее фоне, детишек, лепящих куличики из песка или швыряющих друг в друга

пригоршни травы, — что-нибудь, выбивающееся из всеобщей гармонии, веселости и безмятежности. К примеру, на горизонте бесшумно возникал пепельно-серый корабль, а потом исчезал, на гладкой поверхности моря всплывало багрянистое пятно, словно внизу кипит и кровоточит нечто незримое. Столь грубое вмешательство в сцену, созданную, чтобы подтолкнуть к самым возвышенным размышлениям и самым утешительным выводам, замедляло их шаг. Такое трудно проглядеть, переоценить его значимость в общей картине и продолжить прогулку у моря, восхищаясь тем, что красота снаружи отражает красоту внутри.

Дополняет ли природа то, что дает ей человек? Завершает ли им начатое? С равной снисходительностью взирает она на его невзгоды, слабости и мучения. Неужели мечта о том, чтобы разделять, завершать, находить на берегу ответы — лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь серебристая поверхность, которая образуется в состоянии покоя, пока высшие силы дремлют в глубине? Нетерпеливому, отчаявшемуся, но не желающему уходить (ибо красота таит соблазны, дарует утешения), больше невозможно гулять по берегу — созерцание становится

невыносимым, зеркало разбито.

(Весной мистер Кармайкл опубликовал сборник стихов, имевший неожиданный успех. Война, говорили люди, вернула интерес к поэзии.)

7

Ночь за ночью, летом и зимой, в жестокие шторма и в пронзительной неподвижности ясного неба из верхних комнат пустого дома доносился лишь шум (если бы только нашлось, кому слушать) хаоса, пронизанного молниями; ветра и волны буйствовали, словно исполинские левиафаны, не озаренные светом разума, громоздились друг на друга, выпрыгивали и ныряли во тьме или при свете дня (день и ночь, месяц и год сливались воедино), куражась в идиотских игрищах, пока не начинало казаться, что вселенная борется сама с собой и рушится в диком смятении и буйной похоти.

По весне в садовых вазонах всходили принесенные ветром семена, расцветали фиалки и нарциссы. Неподвижность и яркость дня казались не менее странными, чем хаос и смятение ночи, и цветы глядели перед собой, глядели вверх и не видели ничего — слепые и внушающие ужас.

8

Большого вреда не будет, все равно семья не вернется, никогда не приедет, как говорили некоторые, и дом, вероятно, продадут на Михайлов день, думала миссис Макнаб, сгибаясь нарвать букетик цветов. Она оставила его на столе, пока подметала. Цветы ей нравились. Жаль, пропадают зря. Допустим, дом продадут (она встала перед зеркалом, уперев руки в бока), за ним понадобится присмотр — конечно, понадобится. И так простоял сколько лет без единой души. Книги и вещи заплесневели, ведь из-за войны и без должного ухода дом не убирали как следует. Теперь одной не управиться. Она слишком стара, ноги болят. Книги нужно разложить на траве и просушить на солнце, штукатурка в холле осыпается, водосточная труба над окном кабинета забилась и внутрь натекла вода, ковер совсем испорчен. Но владельцы должны приехать сами, должны прислать кого-нибудь все осмотреть — в шкафах осталась одежда, да и в спальнях тоже. И что теперь с ней делать? В вещах миссис Рамзи завелась моль. Бедная леди! Больше ей ничего не понадобится. Умерла, говорят, причем

уже давно, в Лондоне. Вот старый серый плащ, в котором она садовничала (миссис Макнаб пощупала ткань). Так и стоит у нее перед глазами, бедняжка, склонилась над своими цветами (сад в ужасном запустении, печальное зрелище, кролики так и порскают во все стороны, стоит пройти мимо клумб), и ребенок подле, а сама хозяйка в сером плаще. Вот ботинки и туфли, щетка и расческа на туалетном столике, словно завтра вернется. (Говорят, умерла совсем внезапно.) Однажды хозяева собрались приехать, да отложили из-за войны, ведь путешествовать было сложно; за все годы так и не удосужились, просто посылали деньги, но ни разу не написали, не приехали и надеются застать все в прежнем виде, подумать только! И в ящиках полно всего (миссис Макнаб выдвинула ящики) — и платки, и ленточки. Да, она частенько встречала миссис Рамзи, когда шла по дорожке с выстиранным бельем.

— Добрый вечер, миссис Макнаб, — говорила она.

Приятная была женщина. Все девушки ее любили. Увы, с тех пор многое изменилось (старуха задвинула ящик) — родных потеряли многие. Миссис Рамзи мертва, мистер Эндрю погиб, мисс Прю тоже умерла, говорят, вместе с первен-

цем, — за эти годы все кого-нибудь потеряли. Цены неприлично поднялись, да так и не упали. Она хорошо помнила хозяйку в сером плаще.

— Добрый вечер, миссис Макнаб, — говорила она и велела кухарке налить тарелку молочного супа, ведь тащить полную корзину из города тяжело. Так и стоит перед глазами, склонившись над клумбой, — блеклый неверный образ, словно желтый луч или кружок на конце телескопа прошелся по стене спальни, поднялся по туалетному столику, переместился по умывальнику, пока миссис Макнаб ковыляла и семенила по дому, подметая и наводя чистоту. Как звали кухарку? Милдред? Мэриан или вроде того? Забыла, память уже не та. Вспыльчивая такая, как все рыжие. А как они хохотали! На кухне ее всегда привечали. Прежде жилось куда лучше, чем теперь.

Старуха вздохнула — слишком много работы, одной не управиться. Она покачала головой. Здесь была детская. Все отсырело, штукатурка падает. И к чему тут звериный череп? Весь заплесневел. На чердаке полно крыс, крыша протекает. Но хозяева так и не вернулись, даже не написали. Кое-где вывалились замки, двери хлопают. Ей не нравилось оставаться наверху в сумерках.

Одной не управиться, слишком, слишком тяжело. Она скрипела от натуги, она стонала. Наконец захлопнула дверь, повернула ключ и ушла из покинутого дома прочь.

9

Дом покинут, дом обезлюдел. Покинут, словно ракушка на песчаном берегу, которую в отсутствие жильца заполняют соленые крупинки. В нем воцарилась долгая ночь; казалось, неугомонные легкие дуновения, холодные и влажные сквозняки одержали верх. Кастрюля проржавела, ковер сгнил. Внутрь пробрались жабы. Апатично, бесцельно покачивалась шаль. Между плитками кладовой пророс чертополох. В гостиной свили гнезда ласточки, пол усыпали сухие травинки, штукатурка падала кусками, обнажились стропила, крысы тащили что ни попадя и грызли за панелями. Из куколок вылезали бабочки-крапивницы и обреченно бились в оконные стекла. Среди георгинов проросли маки, лужайка покрылась высокой травой, среди роз возвышались огромные артишоки, среди капусты цвела махровая гвоздика; зимними ночами тихое постукивание сорных трав в окна превратилось

в барабанную дробь мощных ветвей колючего шиповника, летом заливавшего комнату зеленым светом.

Какая сила могла бы теперь противостоять плодовитости и равнодушию природы? Греза миссис Макнаб о покойной леди, о ребенке, о тарелке молочного супа? Она пробежала по стенам, словно солнечный зайчик, и исчезла. Старуха заперла дверь и ушла. Одной такое не по силам, сказала она. Рамзи не вернулись, даже не написали. В шкафах гниет одежда — разве можно вот так бросать вещи, удивлялась она. Дом пришел в полное запустение. Только луч маяка проникал в комнаты, пронзая зимнюю тьму и озаряя внезапной вспышкой кровать и стену, невозмутимо глядя на чертополох и ласточку, на крысу и сухие травинки. Ничто им не противилось, ничто не противоречило. Пусть дует ветер, пусть маки всходят, где им угодно, пусть гвоздики растут среди капусты. Пусть ласточки вьют гнезда в гостиной, и чертополох раздвигает плитки, и бабочки садятся на выцветшую обивку кресел. Пусть осколки стекла и фарфора устилают лужайку, зарастая травой и дикими ягодами.

Наступил тот миг, тот переломный момент, когда брезжит рассвет и ночь берет передышку,

когда перышко склоняет чашу весов. Одно лишь перышко, и оседающий, распадающийся дом канет в темные глубины. В разрушенной гостиной любители пикников будут греть воду для чая, на голых досках разлягутся влюбленные парочки, на кирпичах разложит свой обед пастух, завернется в пальто бродяга, спасаясь от холода. Крыша провалится, шиповник и тсуга заплетут дорожку, крыльцо и окно, буйно разрастутся, погребя под собой весь могильный холм, и лишь по алой книпхофии в зарослях крапивы или осколку фарфора серди кустов случайный путник, потерявший дорогу, поймет: когда-то здесь жили люди, когда-то здесь стоял дом.

Если бы перышко упало, склонило чашу весов, то весь дом канул бы в пески забвения. Но вмешалась некая сила, не слишком разумная, пошатываясь заковыляла по комнатам, не желая выполнять свою работу ни с надлежащими ритуалами, ни с торжественными песнопениями. Миссис Макнаб стонала, миссис Баст скрипела от натуги. Обе старые, окостеневшие, с больными ногами. Они явились с щетками и ведрами и приступили к уборке. Совершенно неожиданно написала одна из молодых хозяек: дом понадобился, пусть миссис Макнаб сделает это, пусть

сделает то, да поскорее. Могут приехать на лето, откладывали до последнего, надеются застать все как прежде. Медленно и мучительно, с помощью щетки и ведра, выметая и намывая, миссис Макнаб с миссис Баст остановили разрушение и гниение, спасая из смыкавшейся над ними пучины времени то умывальник, то буфет; утром извлекли из небытия все романы Уэверли и чайный сервиз, после полудня вытащили на свежий воздух медную каминную решетку и приборы к ней. Джордж, сын миссис Баст, переловил крыс и постриг лужайку. Вызвали плотников. Казалось, под скрип петель и скрежет засовов, стук молотков по сырому дереву происходят ржавые, многотрудные роды, и обе женщины сновали по лестнице вверх-вниз, стеная, распевая, прихлопывая и притопывая, метались между чердаком и подвалом. Ох уж эта работа, сетовали они.

Иногда они пили чай в спальне или в кабинете, прерываясь в середине дня — с перепачканными лицами, с натруженными старческими руками, ноющими после швабр. Развалившись в креслах, они рассуждали то о грандиозной победе над кранами и ванной, то еще более изнурительном и далеко не полном триумфе над длинными

рядами книг, некогда черных как вороны, теперь же в белых разводах, рассаднике бледной плесени и логове опасливых паучков. Как-то раз, когда горячий чай приятно согревал нутро миссис Макнаб, телескоп вновь приблизился к ее глазам, и в кольце света она увидела на лужайке пожилого джентльмена, худого как щепка, качающего головой, и она шла мимо с корзиной белья, а он разговаривал сам с собой. Никогда ее не замечал. Одни утверждали, что он умер, другие — что она. Так кто же? Миссис Баст тоже не знала наверняка. Молодой джентльмен точно погиб. Она сама прочла его имя в газете.

Еще была кухарка, Милдред, Мэриан или вроде того — рыжеволосая, вспыльчивая, как все рыжие, зато добрая, если найдешь к ней подход. Как же они хохотали! Она припасала для Мэгги тарелку супа, кусочек ветчины — что останется. Прежде жилось хорошо, всего хватало (весело и подробно, согревшись чаем, она разматывала клубок воспоминаний, сидя у камина в плетеном кресле). Дел по дому тогда было много, народу полно, человек по двадцать гостило, и посуду мыли далеко за полночь.

Миссис Баст (она никого из хозяев не знала, жила тогда в Глазго) поинтересовалась, поставив

чашку, чего ради на стену повесили звериный череп? Небось подстрелили где-нибудь в чужих краях?

Очень может быть, кивнула миссис Макнаб, без удержу предаваясь воспоминаниям, друзья с востока, джентльмены и леди в вечерних туалетах — сама видела, заглянув в гостиную, сидели и ужинали. Человек двадцать, все в драгоценностях, так что ее попросили остаться и помочь с посудой, разошлись далеко за полночь.

Ага, кивнула миссис Баст, и сад теперь не узнать. Она высунулась из окна, посмотрела, как ее сын Джордж подстригает лужайку. Вдруг они спросят, как так вышло? Ведь старик Кеннеди, который присматривал за садом, свалился с телеги и совсем охромел, целый год, почитай, никто не занимался, а потом был Дэйви Макдональд, и семена, может, присылали, да разве кто сажал? Сад теперь не узнать.

Она наблюдала, как сын косит. Настоящий трудяга и тихоня. Что ж, пора приняться за шкафы, заключила она. Старухи потянулись наверх.

Наконец, после стольких дней усилий внутри и снаружи, после обрезки и вырубки, с подоконников смахнули тряпки, окна закрыли, замки заперли, хлопнула входная дверь и все закон-

чилось.

И вот, когда уборка, чистка и косьба утихли, раздалась едва слышная мелодия — прерывистая музыка, которую ухо улавливает и тут же роняет; лай, блеянье — звуки разрозненные, но так или иначе связанные друг с другом — жужжание насекомого, дрожь подстриженной травы, звуки отдельные и все же сплоченные; скрежет жука-навозника, скрип колеса — громкие, грубые и все же таинственным образом близкие; ухо силится собрать их воедино и всегда ему почти удается, хотя и не до конца, и наконец вечером звуки поочередно умирают, единство распадается, и наступает тишина. С заходом солнца четкость контуров исчезла, тишина разлилась, словно туман, ветер улегся — мир погрузился в сон, стало совсем темно, не считая проблесков света, сочившегося сквозь зелень листвы и белевшего на цветах под окном.

(Однажды поздним сентябрьским вечером в дом вошла Лили Бриско с багажом. Тем же поездом приехал мистер Кармайкл.)

10

И наконец воцарился мир. Призывами к миру дышало море, неся их на берег. Пусть ничто не нарушит сон, пусть покой станет еще глубже, пусть мечтателям снятся безгрешные, мудрые сны — о чем оно там бормочет? — Лили Бриско положила голову на подушку в чистой, тихой комнате и слушала море. В открытое окно доносился глас вселенской красоты, слишком тихий шепот, слов не разобрать — разве это важно, если смысл прост? — упрашивая спящих (дом снова полон, приехала миссис Беквит, мистер Кармайкл тоже) спуститься на берег или хотя бы поднять штору и выглянуть в окно. И они увидят ночь в пурпурных одеждах, в короне, с драгоценным скипетром и взглядом как у ребенка. И если они еще медлят (уставшая с дороги Лили заснула буквально сразу, мистер Кармайкл читал при свече), если еще говорят: нет, ее великолепие — лишь фантазия, у росы больше силы, чем у ночи, и предпочитают спать, то глас споет им нежно, без упреков и возражений. Мягко разбиваются волны (Лили слышала их сквозь сон), ласково струится свет (проникая сквозь веки Лили). И все

выглядит, подумал мистер Кармайкл, закрывая книгу и засыпая, как и прежде.

И в самом деле, мог бы подытожить глас, пока темная завеса укрывала дом, укрывала миссис Беквит, мистера Кармайкла и Лили Бриско, налагая на веки целые слои тьмы, почему бы не уступить и не смириться?

Их успокаивали вздохи моря, мерно бьющегося об острова, их укутывала ночь, их сон ничто не тревожило, пока на рассвете в его белизну не вплелись слабые голоса птиц, скрип телеги, собачий лай, и солнце подняло шторы, разорвало завесу тьмы на веках, и Лили Бриско завороча-лась. Она цеплялась за одеяло, словно падающий со скалы хватается за траву на краю. Глаза ее распахнулись. Я снова здесь, подумала она, резко садясь в кровати. Наяву.

Маяк
1

Какой в этом смысл, какой же во всем этом смысл? — спрашивала себя Лили Бриско, оставшись одна и размышляя, пойти ей на кухню за еще одной чашкой кофе или подождать здесь. Какой в этом смысл? — книжная, набившая оскомину фраза, отчасти созвучная ее мыслям, потому что в первое утро в гостях у Рамзи она никак не могла совладать с чувствами и пыталась прикрыть ею пустоту в голове, пока туман не рассеется. В самом деле, что она чувствует, вернувшись после стольких лет, после смерти миссис Рамзи? Ничего, ничего — ничего такого, что могла бы выразить словами.

Лили приехала вчера затемно, когда все выглядело таинственным. Теперь же она сидела за столом на своем привычном месте, но в одиночестве. Было очень рано, ближе к восьми. Рамзи затеяли экспедицию — Кэм и Джеймс с отцом собрались на маяк. Уже должны бы уехать — спешат поймать прилив или что-то в этом роде. А Кэм не готова, Джеймс не готов, Нэнси поза-

была распорядиться насчет сэндвичей, и мистер Рамзи вспылил и выбежал из комнаты, хлопнув дверью.

— Какой смысл ехать теперь? — горячился он.

Нэнси исчезла. Мистер Рамзи в ярости вышагивал по террасе. По всему дому хлопали двери, раздавались голоса. Вбежала Нэнси и спросила, оглядывая комнату бестолковым, блуждающим, отчаянным взглядом: «Что обычно берут на маяк?», словно заставляла себя делать то, с чем справиться не могла.

И действительно, что берут на маяк? В любое другое время Лили могла бы резонно предположить, что взять следует чай, табак, газеты, но этим утром все казалось настолько чудны́м, что вопрос Нэнси — Что обычно берут на маяк? — распахнул двери сознания, и те хлопали, бились друг о друга, заставляя ошеломленно переспрашивать: Что взять? Что сделать? Зачем вообще здесь сидеть?

Сидя за длинным столом в одиночестве (Нэнси снова ушла) среди чистых чашек, она чувствовала себя отрезанной от других людей и могла лишь наблюдать, задаваться вопросами, недоумевать. Дом, остров, утро — все казалось странным. Нет у нее здесь ни привязанностей, чувствова-

ла Лили, ни связей; может произойти все что угодно, и что бы ни произошло — снаружи раздались шаги, потом чей-то голос («Не в буфете, ищи на площадке», — крикнул кто-то), — звучало как вопрос, словно нить, связующая предметы воедино, перерезана, и они висят там и тут неприкаянные. До чего все бесцельно, до чего хаотично, до чего нереально, думала она, глядя в пустую чашку. Миссис Рамзи умерла, Эндрю убит, Прю тоже умерла — повторяй сколько угодно, все равно никакого отклика. И все мы сошлись вместе в доме вроде этого утром вроде этого, сказала она себе, глядя в окно. День выдался погожий и тихий.

Проходя мимо, мистер Рамзи внезапно поднял голову и обратил на Лили смятенный, дикий взгляд, в то же время такой проницательный, что вмиг пронзил ее насквозь, словно увидел впервые и навсегда; и она притворилась, что пьет из пустой чашки, чтобы спастись — спастись от домогательств, хоть ненадолго отгородиться от его насущной потребности. Он покачал головой и пошел дальше («Одинок», услышала она, «погиб», услышала она) и, как и все прочее этим странным утром, слова стали символами, начертанными на серо-зеленых стенах. Если бы только

удалось собрать их воедино, чувствовала Лили, и составить фразу, открылась бы истинная суть вещей. Мимо прошлепал старик Кармайкл, налил себе кофе, взял чашку и ушел на солнышко. Нереальность происходящего пугала и будоражила. Экспедиция на маяк. Но что же берут с собой на маяк? Погиб. Одинок. Серо-зеленый свет на противоположной стене. Пустые стулья. Такие разрозненные детали, как собрать их воедино? — спрашивала себя Лили. Любое вмешательство могло разрушить хрупкую конструкцию, выстроенную на столе, и она повернулась спиной к окну, чтобы мистер Рамзи ее не видел. Нужно куда-нибудь уйти, побыть одной. Внезапно Лили вспомнила. Когда она гостила здесь десять лет назад, на столе была какая-то веточка или листок в узоре скатерти, приковавший ее взгляд в момент озарения. Ей не удавался задний план на картине. Передвину дерево в середину, решила тогда она. Картина так и осталась незаконченной. Она напишет ее теперь! Столько лет не давала ей покоя… Интересно, где краски? Да-да, краски. Вчера она оставила их в холле. Сейчас и начнем. Она поскорее поднялась, пока мистер Рамзи не обернулся.

Лили раздобыла стул, со свойственной ста-

рой деве аккуратностью установила мольберт на краю лужайки не слишком близко к мистеру Кармайклу и не слишком далеко, чтобы тот мог ее защитить. Да, пожалуй, именно здесь она и стояла десять лет назад. Вот стена, зеленая изгородь, дерево. Вопрос был в том, как соотносятся массы цвета. Она вынашивала замысел все эти годы. Похоже, решение пришло — теперь она знала, что хочет сделать.

Но под нажимом мистера Рамзи она ничего не могла. Каждый раз, когда он приближался — он ходил взад-вперед по террасе, — на нее надвигалась разруха, хаос. Писать было невозможно. Лили сутулилась, отворачивалась, хватала тряпку, выжимала краски из тюбиков — лишь бы держать его на расстоянии. Из-за него руки опускались. Если дать ему малейший шанс, если он увидит, что она бездействует, смотрит в его сторону, мигом накинется, как прошлым вечером, когда он заявил: «Мы уже совсем не те». Прошлым вечером он встал, подошел к ней и произнес эти слова. Хотя дети сидели молча, тараща глаза, все шестеро, которых прозвали в честь английских королей и королев — Рыжий, Красивая, Злая, Бесщадный, — она ощутила их гнев. Добрая старушка миссис Беквит как-то сгладила нелов-

кость, но в доме кипели подспудные страсти — Лили чувствовала это весь вечер. И в довершение всего мистер Рамзи поднялся, пожал ей руку и сказал: «Мы уже совсем не те», и никто из них не шевельнулся, не заговорил — дети сидели с таким видом, словно их заставили. Только Джеймс (без сомнения Угрюмый) хмуро щурился на лампу, а Кэм наматывала носовой платок на палец. Потом мистер Рамзи напомнил, что завтра они едут на маяк. Ровно в половине восьмого нужно ждать в холле в полной готовности. Взявшись за дверную ручку, он обернулся. Хотят они ехать или нет? — требовательно спросил он. Если бы дети отважились ответить «нет» (очевидно, ему этого хотелось), он бы с трагическим видом бросился в горькие воды отчаяния. У него явная склонность к театральным жестам — прямо король в изгнании. Джеймс угрюмо буркнул «да». Кэм запнулась. Да-да, оба будут готовы, заверили они. Вот она, трагедия, осознала Лили, не гроб, прах и саван, а дети, которых принуждают, дети, павшие духом. Джеймсу шестнадцать, Кэм, видимо, лет семнадцать. Лили огляделась в поисках той, кого здесь не было, — не иначе как миссис Рамзи. Но тут сидела лишь добрая миссис Беквит, перелистывая свои наброски

при свете лампы. Уставшая Лили почувствовала, как качается вверх-вниз на волнах, ею овладевали запах и вкус тех мест, где давно не была, свечи задрожали, она утратила себя и ушла под воду. Ночь выдалась чудесная, звездная, они поднимались наверх под шум моря, в окно на лестничной площадке заглядывала огромная бледная луна. Уснула Лили сразу.

Она решительно водрузила на мольберт чистый холст, словно барьер — хрупкий, но достаточный, надеялась она, чтобы отгородиться от мистера Рамзи и его притязаний. Когда он поворачивался спиной, она изо всех сил старалась смотреть на картину, на линию там, на массу цвета здесь. Увы, тщетно. Пусть он в пятидесяти футах отсюда, пусть не обращается к ней и даже не смотрит, он пропитывает собой все кругом, довлеет над всем, докучает. Он все портит! Лили не видела ни цветов, ни линий; даже когда он отворачивался, Лили могла думать лишь об одном: сейчас накинется, требуя того, что я не могу ему дать. Она забраковала одну кисть, выбрала другую. Когда же дети выйдут? Когда же они отплывут? — нервничала она. Что за человек, думала Лили, начиная закипать, никогда не отдает, лишь берет. А ее вынуждает отдавать.

Миссис Рамзи только и делала, что отдавала, потом умерла, и все. На самом деле она злилась на миссис Рамзи. Кисть слегка дрожала в руке, Лили смотрела на изгородь, на окно, на стену. Во всем виновата миссис Рамзи! Взяла и умерла, и теперь Лили, в свои сорок четыре, теряет время зря, ни на что она не способна, просто стоит и играет в художника, и во всем виновата миссис Рамзи! Умерла. Окно, в котором она любила сидеть, опустело. Умерла.

Зачем повторять снова и снова? Зачем пытаться пробудить в себе чувство, которого не испытываешь? Немного отдает кощунством. Все усохло, захирело, иссякло. Им не следовало ее приглашать, ей не следовало приезжать. В сорок четыре года нельзя терять время, подумала Лили. Она терпеть не могла играть в художника. Кисть — единственная надежная вещь в мире раздоров, разрухи, хаоса — играть с ней нельзя, даже сознательно — она этого не выносила. Но мистер Рамзи ее заставил. Не прикасайся к холсту, словно говорил он, надвигаясь, пока не дашь мне то, что я хочу. Вот и он, снова приближается, ненасытный и безутешный. Ладно, подумала Лили, безвольно опуская руку, проще отдаться.

Наверняка у нее получится изобразить то сияние, восторженность, беззаветную преданность, которую Лили доводилось видеть на многих женских лицах (к примеру, миссис Рамзи), когда те в схожей ситуации вспыхивали восторгом сочувствия, предвкушением награды, дарующей высшее блаженство, доступное человеку. Причин ей никогда не понять, но она помнила выражение лица миссис Рамзи. Вот и он, остановился рядом. Она даст ему, что может.

2

С годами слегка усохла, подумал мистер Рамзи. Слишком хрупкая и щуплая, хотя по-своему привлекательна. Лили ему нравилась. Помнится, одно время ходили разговоры о том, что они с Уильямом Бэнксом поженятся, но ничего не получилось. Жена ее любила. За завтраком он был немного не в духе, а потом — потом накатил один из тех моментов, когда настоятельная необходимость, в которой он сам не отдавал себе отчета, вынуждала его кидаться к любой женщине и любыми средствами добиваться своего — сочувствия.

О ней хорошо позаботились? — спросил он.

Что-нибудь еще нужно?

— Конечно, спасибо, нет, — нервно ответила Лили Бриско. Увы, ничего не выходит. Ей следовало незамедлительно окунуться с головой в волну всепоглощающего сочувствия — давление было колоссальным. Но она застыла как вкопанная. Повисла ужасная пауза. Оба смотрели на море. Зачем, думал мистер Рамзи, смотреть на море, если есть я? Она надеется, что будет достаточно спокойно, чтобы они смогли высадиться у маяка. Маяк! Маяк! При чем тут маяк?! — думал он с досадой. Внезапно, поддавшись поистине первобытному порыву (он и в самом деле больше не мог сдерживаться), мистер Рамзи исторг такой стон, что любая женщина кинулась бы что-то делать, что-то непременно сказала бы — любая, кроме меня, подумала Лили, ужасно себя укоряя, ведь я, по-видимому, не женщина, а желчная, иссохшая старая дева со скверным характером.

Мистер Рамзи вздохнул полной грудью. Подождал. Неужели ничего не скажет? Неужели не видит, что именно ему нужно? И он признался, что хочет отправиться на маяк не просто так. Жена посылала туда вещи. Там был несчастный мальчик с туберкулезом бедра, сынишка смотрителя. Он вздохнул глубоко, многозначительно.

Все, о чем мечтала Лили, — лишь бы громадный поток скорби, неуемная жажда сочувствия, требование к безоговорочной капитуляции на веки вечные (печалей у него хватало в избытке) как-нибудь ее миновали, отвлекшись на другого (она поглядывала на дом в надежде, что их прервут), иначе ее сметет.

— Подобные вылазки, — заметил мистер Рамзи, ковыряя землю носком ботинка, — весьма тягостны. — Лили снова промолчала. (Скала, камень, сказал он про себя.) — И весьма утомительны, — добавил он, разглядывая свои красивые руки с такой тоской, что Лили замутило (играет роль, почуяла она, великий человек устраивает спектакль). До чего противно и непристойно! Неужели они никогда не придут, думала она, не в силах нести громадный груз чужих страданий, поддерживать тяжелый покров скорби (он принял позу полной старческой немощи, даже слегка затрясся) ни секунды дольше.

Лили так ничего и не сказала, словно до самого горизонта не нашлось ни одного подходящего предмета для разговора, она могла лишь изумленно ощущать, как взгляд стоящего рядом мистера Рамзи горестно упал на залитую солнцем траву и обесцветил ее, набросил траурный

флер на румяного, сонного, вполне довольного собой мистера Кармайкла в шезлонге, читающего французский роман, — подобное существование, выставляющее напоказ свое благополучие в мире скорби, будило в нем самые мрачные мысли. Посмотрите него, всем своим видом говорил мистер Рамзи, и посмотрите на меня; и действительно, в этот миг он горел лишь одним желанием: Думайте обо мне, думайте обо мне! Эх, если бы только эту тушу удалось передвинуть к нам, сетовала про себя Лили, если бы только она поставила мольберт на пару ярдов ближе — мужчина, любой мужчина положил бы конец его излияниям, прервал бы его сетования. Будучи женщиной, она и спровоцировала этот ужас, будучи женщиной, она должна знать, как с ним справляться. Стоять и молчать означало опозорить весь женский род! Следовало сказать — что там говорят в таких случаях? — Ах, мистер Рамзи! Дорогой мистер Рамзи! Добрая пожилая леди, которая рисует эскизы, миссис Беквит, мигом бы так и сделала, и совершенно правильно. Но только не Лили. Они стояли, оторванные от всего мира. Его запредельная жалость к себе, потребность в сочувствии хлестали потоком, собираясь в лужи, и все, что могла

поделать Лили, несчастная грешница, подобрать юбки чуть повыше голеней, чтобы не замочиться. Она стояла в полном молчании, сжимая кисть.

Хвала небесам — в доме раздался шум. Наверное, Джеймс с Кэм идут. И мистер Рамзи, словно зная, что время его на исходе, навалился на ее хрупкую фигурку всем грандиозным весом своего густейшего горя, старости, немощи, одиночества, и вдруг в порыве досады — в конце концов, какая женщина способна перед ним устоять? — нетерпеливо тряхнул головой и заметил, что у него развязаны шнурки. Превосходные ботинки, подумала Лили, опустив взгляд: рельефные, массивные и, как и все, что носит мистер Рамзи, начиная с потертого галстука и заканчивая наполовину расстегнутым жилетом, безусловно, несут на себе отпечаток его личности. Ей так и виделось, что они шагают в кабинет сами по себе, даже в отсутствие хозяина полные его пафоса, угрюмости, дурного нрава, обаяния.

— Какие красивые ботинки! — воскликнула Лили и устыдилась. Восхищаться ботинками, когда он жаждет утешения для души, когда он показал ей свои кровоточащие руки, свое израненное сердце и просит их пожалеть, а она радостно принялась хвалить ботинки — это заслуживает,

как она понимала и уже предвкушала заодно с внезапной вспышкой гнева, полного уничтожения.

Вместо этого мистер Рамзи улыбнулся, стряхнув гробовые покровы, траурные одежды и немощь. О да, сказал он, поднимая ногу повыше, чтобы она посмотрела, ботинки первоклассные. На всю Англию лишь один человек способен сшить такие. «Ботинки — в числе главных проклятий человечества! — воскликнул он. — Обувщики только и знают, что калечить и истязать людские ноги». Они же самые несговорчивые и аморальные представители человечества. Лучшие годы юности ушли у него на то, чтобы ботинки ему шили так, как должно. Пусть убедится (он поднял правую ногу, затем левую), что ботинок такой формы ей видеть не доводилось. И кожа на них пошла лучшая в мире, не какая-нибудь крашеная бумага и картон. Он благодушно взирал на свою задранную ногу. Мы достигли, почувствовала Лили, солнечного острова, где царит мир, где правит душевное равновесие и всегда светит солнце, — благословенного острова хороших ботинок. На сердце у нее потеплело. «Теперь посмотрим, умеете ли вы завязывать узлы», — усмехнулся мистер Рамзи. Он отмахнулся от ее

несовершенного метода и показал собственное изобретение. Если узел правильный, точно не распустится. Трижды он завязывал ей туфлю, трижды развязывал.

Почему она должна терзаться сочувствием к нему в самый неподходящий момент? Когда он склонился над ее туфлей, Лили тоже наклонилась, к лицу прилила кровь, и она настолько устыдилась своей бессердечности (про себя она назвала его комедиантом), что от вскипевших слез защипало глаза. Занятый прозаическим делом мистер Рамзи пробудил в ней безграничное сострадание. Он завязывает шнурки, покупает ботинки. В этом одиноком путешествии ему ничем не поможешь… Но едва ей захотелось что-нибудь сказать, едва она решилась, как на террасе появились Кэм с Джеймсом. Идут бок о бок, еле переставляя ноги, — серьезная, меланхоличная парочка.

Почему они идут с таким видом? — рассердилась Лили, ведь могли бы глядеть повеселей, могли бы дать ему то, что из-за них не успела она. Внезапно Лили ощутила пустоту, разочарование: сочувствие пробудилось слишком поздно, он больше в нем не нуждался. Мистер Рамзи обратился в весьма презентабельного пожило-

го джентльмена, который не испытывал в ней ни малейшей нужды. Ее отвергли. Он повесил на плечи рюкзак, раздал свертки (их было много, небрежно упакованных в оберточную бумагу), отправил Кэм за плащом. Вылитый глава экспедиции, отдающий последние распоряжения. Затем, развернувшись, зашагал по дорожке твердой военной походкой в своих чудесных ботинках, с бумажными свертками в руках, а дети потянулись следом. Все выглядит так, думала Лили, будто судьба предназначила им суровое испытание, и они идут ему навстречу, достаточно юные, чтобы тащиться в кильватере за отцом послушно, с поблекшими глазами, словно молча переживают испытание не по годам. И вот они прошли по краю лужайки, и Лили показалось, что она наблюдает за процессией, движимой общим чувством, которое связывает воедино эту маленькую компанию, какой бы нескладной и поникшей та ни была, и придает ей необычайную трогательность. Учтиво, но очень отстраненно мистер Рамзи поднял руку и помахал на прощание.

Какое лицо! — подумала она, немедленно ощутив, как жаждет проявиться непрошеное сочувствие. Что же сделало его таким? Веро-

ятно, размышления по ночам — о реальности кухонных столов, добавила она, припомнив поразительную метафору, которую пытался ей растолковать Эндрю. (Погиб мгновенно, убитый осколком снаряда, вспомнила она.) Кухонный стол — нечто иллюзорное, аскетичное, нечто голое, твердое, без всяких украшений. В нем нет цвета, сплошь углы да края, он непоколебимо прост. Тем не менее мистер Рамзи глаз с него не сводил, не позволял себе отвлекаться или впадать в заблуждение, пока лицо его не стало потрепанным, созерцательным и не приобрело налет той же красоты без излишеств, столь глубоко ее поразившей. Затем, вспомнила Лили, стоя с кистью в руках там же, где он ее оставил, лицо избороздили страдания уже не столь возвышенные. Наверняка его посещали сомнения по поводу стола, предположила Лили, реален тот или нет, стоит ли затраченного времени, возможно ли вообще доискаться до истины. У него бывали сомнения, поняла она, иначе бы он не требовал от людей столь многого. Так вот о чем они беседовали по ночам, и на следующий день миссис Рамзи выглядела уставшей, а Лили раздражалась на него из-за какой-нибудь ерунды. Теперь ему не с кем беседовать о столе, ботинках или уз-

лах; он рыщет словно лев, прикидывая, кого бы сожрать, и на лице печать отчаяния, он переигрывает — вот что ее встревожило и заставило спасаться, подхватив юбки. А затем, вспомнила Лили, он внезапно оживился, заблистал (ведь его ботинки похвалили), воспрянул к жизни и проявил интерес к простым человеческим вещам, потом прошло и это (он постоянно меняется и ничего не скрывает), перейдя в финальную фазу, которая была для нее новой и заставила устыдиться своей раздражительности, когда он вроде бы отбросил тревоги и притязания, надежду на сочувствие и жажду похвалы, подавшись в иную сферу, увлекся, словно из любопытства, безмолвным разговором то ли с самим собой, то ли еще с кем, шествуя во главе маленькой процессии, вне пределов досягаемости. Удивительное лицо! Хлопнула калитка.

3

Все-таки ушли, вздохнула Лили, одновременно испытав облегчение и разочарование. Собственное сочувствие вернулось к ней, словно распрямившаяся ветка терновника хлестнула по лицу. Лили ощущала странную раздвоен-

ность: часть ее тянуло туда — в безветренный день, где море в дымке, и расстояние до маяка кажется огромным, а часть прочно, цепко обосновалась тут, на лужайке. Она посмотрела на холст — тот парил перед ней в своей непреклонной белизне, холодным взглядом упрекая за спешку и нервозность, за глупость и пустую трату эмоций, решительно призывал обратно и затопил ее сознание сначала покоем, и беспорядочные чувства (мистер Рамзи ушел, ей стало его жаль, но она ничего не сказала) покинули поле боя, а затем пустотой. Она беспомощно посмотрела на непреклонную белизну холста, перевела взгляд на сад. Кое-что было (Лили стояла, сощурив узкие китайские глазки на маленьком личике), кое-что ей запомнилось в соотношении линий, разрезающих холст посередине, разбивающих пространство надвое, и в массиве живой изгороди с ее зеленой пещерой, намеченной голубыми и коричневыми мазками, кое-что застряло в сознании, завязало узелок, и время от времени, шагая по Бромптон-роуд или расчесывая волосы, она невольно ловила себя на том, что мысленно пишет ту самую картину, скользит по ней взглядом и распутывает узел в своем воображении. Однако между отвлеченными размышлениями

вдали от холста и первым реальным мазком кисти — целая пропасть.

Взбудораженная присутствием мистера Рамзи, она схватила не ту кисть и воткнула мольберт в землю не под тем углом. Теперь, когда она все исправила, тем самым подавив нахальство и неуместность, которые отвлекали внимание и заставляли вспоминать, что она за человек и в каких отношениях с другими людьми, Лили занесла руку над холстом и замерла, дрогнув в болезненном и все же приятном возбуждении. Где начать? — вот в чем вопрос. Одна-единственная линия на холсте подвергает художника бесчисленным рискам, обрекает на многократные и бесповоротные решения. Все то, что в теории кажется простым, на практике становится сложным: с вершины скалы волны выглядят ровными и симметричными, а пловцу приходится преодолевать буруны и пенистые гребни. И все же придется рискнуть, коснуться кистью холста.

Испытывая странное ощущение, будто ее что-то подталкивает вперед и в то же время вынуждает держать себя в руках, Лили решительно и быстро провела первую линию. Кисть опустилась. На белом холсте вспыхнул коричневый мазок, оставив яркий след. Второй взмах, третий. То медля,

то водя кистью, она вошла в легкий, танцующий ритм, словно паузы — один его элемент, а мазки — другой, и они взаимосвязаны; и так, беззаботно и стремительно, то замирая, то водя кистью, она покрывала холст нервными коричневыми линиями, которые не успокоились, пока не замкнули пустое пространство (Лили чувствовала, как оно надвигается). Внизу, у подножия волны она увидела над собой следующую, и та вздымалась все выше и выше. До чего же оно громоздкое, это пространство! И вот опять, подумала Лили, отступая и разглядывая холст, она вырвана из досужих разговоров, из жизни, из людского общества и стоит перед лицом давнего грозного врага — другой правды, другой реальности, внезапно ее захватившей, которая возникла на заднем плане и завладела ее вниманием. Лили подчинялась неохотно, через силу. Зачем ее вообще выдергивать? Почему не оставить в покое, не дать поболтать на лужайке с мистером Кармайклом? В любом случае подобная форма общения слишком обременительна. Другие объекты поклонения довольствуются малым — мужчины, женщины, Бог — преклоняй колена, и все; а форма, где даже очертания белого абажура на лампе, освещающей плетеный столик,

побуждают человека к вечной борьбе, вызывают на поединок, в котором он обречен на поражение. Всегда (Лили не знала, то ли это присуще лишь ее натуре, то ли всему женскому роду) перед тем, как променять текучесть жизни на сосредоточенность живописи, она несколько мгновений ощущала себя нагой, словно нерожденная душа, душа без тела, колеблющаяся на продуваемой всеми ветрами вершине и беззащитная под порывами всевозможных сомнений. Тогда зачем ей это нужно? Она посмотрела на холст, слегка исчерченный бегущими линиями. Картину повесят в спальне для слуг, скатают в рулон и сунут под диван. Тогда зачем вообще писать, и ей послышался голос, твердящий, что она не способна рисовать, не способна творить, словно ее захватило одно из тех привычных течений, что после определенного времени формирует в сознании опыт, и человек повторяет слова, больше не отдавая себе отчета, кто их произнес изначально.

Не способна рисовать, не способна творить, бормотала она монотонно, судорожно продумывая план атаки. Масса светилась перед нею, выпирала, давила на глазные яблоки. Затем, словно самопроизвольно выделилось немного сока, необходимого для смазки ее таланта, Ли-

ли начала осторожно нырять то в синий пигмент, то в умбру, двигая кистью туда-сюда, но теперь движения стали более тяжелыми и медленными, подчиняясь ритму, диктуемому ей (она поглядывала то на изгородь, то на холст) тем, что она видит, и, хотя рука ее трепетала, полная жизни, ритм был достаточно силен, чтобы увлекать за собой, подчиняя своей скорости. Разумеется, она утратила связь с окружающим миром, а вместе с ним позабыла свое имя, личность и внешность, позабыла, рядом мистер Кармайкл или нет, и сознание продолжало извергать из своих глубин эпизоды, имена, фразы, воспоминания и идеи подобно фонтану, бьющему над этим ослепительным, отвратительно трудным белым пространством, пока она задавала ему форму зелеными и синими мазками.

Так любил говорить Чарльз Тэнсли, вспомнила она: женщины не способны рисовать, не способны творить. Подкрадывался сзади, чего она терпеть не могла, и стоял над душой, пока она писала картину на этом самом месте. «Табак низшего сорта, — пояснял он, — пять пенсов за унцию», бравируя своей нищетой, своими принципами. (Война несколько смягчила ее язвительность. Бедолаги, думала она теперь

и о мужчинах, и о женщинах, бедолаги.) Вечно носил под мышкой книгу, вроде фиолетовую. Так сказать, «работал». Лили помнила, как он усаживался поработать на солнцепеке. За обедом Тэнсли загораживал ей весь вид из окна. В итоге произошел тот знаменательный случай на пляже. Такое не забывается! Утро выдалось ветреным, и все пошли на пляж. Миссис Рамзи устроилась возле скалы писать письма. Все писала и писала. «Поди-ка! — восклицала она, глядя, как что-то плывет по волнам. — Это ловушка для омаров? Или перевернутая лодка?» Зрение у нее было такое слабое, что сама она разглядеть не могла, и вдруг Чарльз Тэнсли сделался любезен, как никогда. Затеял игру в утки и селезни. Они подбирали плоские черные камешки и пускали скакать по волнам. Время от времени миссис Рамзи смотрела на них поверх очков и смеялась. Лили не помнила, о чем говорили, но им с Чарльзом было весело бросать камешки, они внезапно поладили, и миссис Рамзи за ними наблюдала. Лили чувствовала на себе ее взгляд. Миссис Рамзи, подумала она, отступая на шаг и щурясь. (Когда она сидела на ступеньках с Джеймсом, менялась вся картина. Там нужна тень.) Вспоминая себя и Чарльза, играющих

в утки и селезни, да и всю сценку на пляже, Лили заподозрила, что все каким-то образом зависело от миссис Рамзи, сидевшей у скалы с блокнотом на коленях и писавшей письма. (Она строчила их без счета, и ветер уносил страничку-другую, а они с Чарльзом бежали отнимать их у моря.) Что за сила заключена в душе человека! — подумала Лили. Женщина, которая сидела у скалы и писала, умела все уладить, устроить так, что гнев, раздражение спадали ворохом старого тряпья, соединяла одно с другим и из жалкой глупости и неприязни (Лили с Чарльзом ссорились, препирались, вели себя глупо и озлобленно) рождалось нечто иное — взять, к примеру, эпизод на пляже, исполненный дружбы и приязни, — что уцелело, пережило все эти годы, и она смогла погрузиться в воспоминание, которое сохранилось в памяти и вызвало отклик почти такой же, как произведение искусства.

Как произведение искусства, повторила она, переводя взгляд с холста на ступени гостиной и обратно. Нужно минутку отдохнуть. И отдыхая, рассеянно переводя взгляд с одного на другое, Лили задалась старым вопросом, который постоянно витал в небесах ее души, вопросом обширным и привычным, склонным вникать

в подробности в те моменты, когда она давала волю сдерживаемым творческим порывам; вопрос висел над ней, медлил, закрывал своей тенью. В чем смысл жизни? Вот и все, простой вопрос, с годами, как правило, сводившийся к одному. Великое откровение так и не пришло. Пожалуй, великое откровение и не придет. Вместо него — маленькие ежедневные чудеса, озарения, вспыхивающие во мраке спички, вот как сейчас. Одно, другое и третье, они с Чарльзом, и волна разбивается о берег, миссис Рамзи сводит их вместе, миссис Рамзи говорит: «Замри, жизнь», миссис Рамзи превращает мгновенье в вечность (как в другой сфере Лили сама пытается превратить мгновенье в вечность) — такова природа откровения. Посреди хаоса есть форма, беспрерывно текучее и мимолетное (она посмотрела на пробегающие облака и мятущиеся листья) застывает, обретая постоянство. Замри, жизнь, говорила миссис Рамзи. Миссис Рамзи! Миссис Рамзи! — воскликнула Лили. И всем этим она обязана ей.

Кругом стояла тишина. Все замерло. Лили смотрела на спящий в лучах утреннего солнца дом, на зелено-голубые отражения листвы в окнах. Казалось, расплывчатые раздумья о миссис Рам-

зи созвучны притихшему дому, легкой дымке, прекрасному утреннему воздуху. Расплывчатый и нереальный, поразительно чистый и волнительный. Она надеялась, что никто не откроет окно или не выйдет из дома, и ей удастся подумать в одиночестве над картиной. Она повернулась к холсту, но, поддавшись непонятному любопытству, движимая нерастраченным сочувствием, дошла до края лужайки, чтобы посмотреть, не видно ли, как на берегу маленькая компания отправляется в плаванье. Далеко внизу, среди крошечных лодок, иные из которых шли со свернутыми парусами, иные двигались медленно, потому что стояла тишь, виднелась одна, забравшаяся довольно далеко. На ней как раз поднимали парус. Лили решила, что там, в далекой и совершенно беззвучной лодочке вместе с Кэм и Джеймсом сидит мистер Рамзи. Вот подняли парус, тот сперва провис, потом надулся, и лодочка уверенно направилась в открытое море.

4

Паруса хлопали над головой, вода фыркала и билась о борта неподвижно дремавшей на солн-

це лодки. Иногда паруса колыхались от легкого ветерка, потом снова опадали. Лодка вообще не двигалась. Мистер Рамзи сидел в середине. Еще немного, и он потеряет терпение, подумал Джеймс, и Кэм тоже, глядя на отца, севшего между ней и братом (Джеймс правил, Кэм устроилась на носу), плотно сплетя ноги. Он терпеть не мог терять время зря. Как и следовало ожидать, поерзав пару секунд, он бросил что-то резкое мальчишке Макалистера, тот достал весла и начал грести. Но они знали, что отец не успокоится, пока лодка не пойдет полным ходом. Он будет выискивать бриз, ерзать, бормотать себе под нос, Макалистер с сыном его, конечно, услышат, и Кэм с Джеймсом станет ужасно неловко. Он вынудил их поехать, буквально заставил. Оба злились и уповали лишь на то, что ветер не поднимется и поездка сорвется, раз уж он вынудил их поехать против воли.

Всю дорогу до берега они молча тащились позади, хотя отец их и поторапливал: «Поживей, поживей!» Оба шли, опустив головы, словно под гнетом безжалостного шквала. Что ему скажешь? Они должны идти, должны следовать за ним, должны нести бумажные свертки. Но на ходу они безмолвно поклялись поддерживать

друг друга и соблюсти великий пакт — бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть. Так они и сидели на противоположных концах лодки в полном молчании. Ничего не говорили, лишь поглядывали на отца время от времени, а он сплетал ноги, хмурился и ерзал, плевался и фыркал, бормотал себе под нос и с нетерпением ждал ветра. Кэм с Джеймсом надеялись на штиль. Они надеялись, что отец потерпит поражение, поездка сорвется и они вернутся на берег.

Но когда мальчишка Макалистера немного выгреб от берега, паруса медленно надулись, лодка набрала скорость, выровнялась и рванула вперед. Словно сбросив незримый груз, мистер Рамзи мигом выпрямил ноги, достал кисет, что-то пробурчал и протянул его Макалистеру, вполне довольный собой, несмотря на все их страдания. Теперь придется плыть часами, и мистер Рамзи наверняка станет расспрашивать старика Макалистера про шторм, случившийся прошлой зимой, и старик примется за рассказ, и оба раскурят трубки, и Макалистер будет вертеть в руках просмоленную веревку, развязывая или завязывая узлы, и мальчишка будет рыбачить и помалкивать. Джеймсу придется глаз не спускать с паруса. Если отвлечется, парус сморщится

и задрожит, лодка замедлит ход, и мистер Рамзи резко бросит: «Не зевай! Не зевай!», и старик Макалистер задумчиво обернется. Так и вышло: отец задал вопрос о шторме, разразившемся на прошлое Рождество. «Судно огибает мыс», — говорил старик Макалистер, описывая страшную бурю, когда десяти судам пришлось искать укрытия в бухте, и он видел одно — там, другое — там, третье — вон там (он медленно указывал в разные места бухты, и мистер Рамзи следил за его рукой, поворачивая голову). Четверо матросов вцепились в мачту, а потом судно пошло ко дну. «И наконец нам удалось ее вывести», — продолжал старик (сквозь свою злобу и молчание Кэм с Джеймсом улавливали лишь отдельные слова, сидя на противоположных концах лодки, объединенные пактом — бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть). Наконец им удалось вывести спасательную шлюпку, спустив ее на воду, и пройти за мыс — вещал Макалистер и, хотя Кэм с Джеймсом улавливали лишь отдельные слова, они подмечали, как отец подается вперед, как вплетает свой голос в унисон с голосом Макалистера, как, попыхивая трубкой, смотрит, куда указывает Макалистер, и смакует подробности. Ему нравилось, что посреди ночи мужчины тру-

дятся до седьмого пота на открытом всем ветрам берегу, напрягая мышцы и ум в противостоянии стихии, ему нравилось, что мужчины заняты делом, а женщины занимаются домом и бдят возле спящих детей, пока мужчины гибнут там в шторм. Джеймс это понимал, и Кэм тоже (они смотрели на отца, они смотрели друг на друга) по его волнению, напряженности, звенящему голосу и легкому шотландскому акценту, который вдруг у него прорезался, благодаря чему отец и сам стал походить на сельского жителя, когда расспрашивал Макалистера про одиннадцать судов, искавших спасения в бухте. Три затонули.

Он горделиво смотрел, куда указывает Макалистер, и Кэм подумала, гордясь им сама не зная почему, что он и сам спустил бы спасательную шлюпку, добрался бы до места крушения, доведись ему там оказаться. Отец такой храбрый, так любит приключения, думала Кэм, и вдруг вспомнила про пакт — бороться против тирании не на жизнь, а на смерть. Обида лежала на детях тяжким бременем. Их заставили, им велели подчиниться. Этим погожим утром отец снова подавил их волю своим занудством и авторитетом, вынудил подчиниться, потому что ему захотелось, чтобы они поехали с кучей свертков

на маяк, приняли участие в обряде в память об умерших, который он совершает ради собственного удовольствия; им это претило, и они едва тащились за ним следом — все удовольствие от погожего дня было испорчено.

Ветерок приятно освежал. Лодка кренилась, разрезая волну, вода падала зелеными каскадами, пузырилась, струилась. Кэм всматривалась в пену, в море со всеми его сокровищами, и скорость ее завораживала, связь между ней и братом понемногу ослабевала. Она начала думать: как быстро идет лодка, куда мы идем? — и движение ее завораживало, в то время как Джеймс мрачно правил, не сводя глаз с паруса и горизонта. Он начинал думать, что мог бы спастись, мог бы все бросить. Куда-нибудь они пристанут, и тогда он будет свободен. Брат с сестрой переглянулись и испытали чувство освобождения и восторг, навеянный скоростью и переменой обстановки. Но ветерок вызвал те же чувства и в мистере Рамзи, и, когда старик Макалистер повернулся, чтобы закинуть удочку, он громко прокричал:

— Мы гибли, каждый в одиночку![11] — А потом, как обычно устыдившись или смутившись,

[11] Сноски: 11

Здесь и далее мистер Рамзи цитирует стихотворение «Смытый за борт» Уильяма Купера (1731–1800).

взял себя в руки и махнул в сторону берега.

— Взгляни на домик, — сказал он, желая, чтобы Кэм посмотрела. Она неохотно подняла взгляд. Который же? Она не могла различить, какой из домиков на склоне горы был их. Все выглядели чужими, мирными и незнакомыми. Несмотря на небольшое расстояние, пройденное ими, берег преобразился, казался далеким и призрачным, словно они уже не были его частью. Где же их дом? Кэм не нашла.

— Но бездна, поглотившая меня, — прошептал мистер Рамзи. Он нашел домик и увидел в нем себя, гуляющего по террасе в одиночестве. Он расхаживал взад-вперед между вазонами и казался себе очень старым и согбенным. Сидя в лодке, он понурился, скорчился, вмиг входя в роль — роль безутешного, всеми покинутого вдовца, и призвал толпы сочувствующих, разыграл, сидя в лодке, маленькую трагедию, требовавшую от него старческой немощи, упадка сил и глубокой скорби (мистер Рамзи воздел руки и убедился, что они достаточно худые), и женское сочувствие хлынуло потоком, он представлял, как его утешают, и, насытившись в мечтах тенью изысканного удовольствия, которое даровало ему женское сочувствие, вздохнул и произнес нежно

и печально:

Но бездна, поглотившая меня,
Была страшнее, чем его ждала,

и его скорбные слова четко расслышали все присутствующие. Кэм так и подпрыгнула. Это ее потрясло, даже разгневало. Отец смутился и воскликнул «Глядите! Глядите!» столь требовательно, что Джеймс повернул голову и посмотрел через плечо на остров. Посмотрели все. Все они посмотрели на остров.

Но Кэм не видела ничего. Она думала, что дорожки и лужайка, где они играли в детстве, исчезли, остались в прошлом, они нереальны, а реальны только лодка и парус с заплаткой, Макалистер с серьгами, шум волн — вот что теперь реально. Думая об этом, она бормотала вполголоса: «Мы гибли, каждый в одиночку», и отцовская фраза всплывала в сознании снова и снова, пока он не заметил ее странный взгляд и не начал подтрунивать над ней. Разве она не знает, где какая сторона света? Не может отличить север от юга? Неужели думает, что они живут прямо там? И он снова указал, где находится их дом — вон у тех деревьев. Ему хотелось, чтобы дочь была более прилежной, и он спросил: «Скажи мне, где во-

сток, где запад?» Спросил, наполовину смеясь, наполовину ругая, потому что не мог понять душевного состояния человека, если только он не слабоумный, который не умеет различать стороны света. И все же она не умела. Увидев, как Кэм таращится застывшим взглядом, теперь довольно испуганным, туда, где дома нет, мистер Рамзи позабыл про свои грезы, позабыл, как расхаживал взад-вперед по террасе между вазонами, как к нему тянулись женские руки. Он подумал, что женщины всегда такие, их ум безнадежно замутнен; он никогда не мог понять почему, но это факт. То же самое было и с его женой. Ни на чем они не способны сосредоточиться! И все же зря он на нее рассердился, более того, разве не за это он любит женщин? В подобной зыбкости есть свое очарование. Я заставлю ее улыбнуться, подумал он. Такая испуганная, такая притихшая. Он сжал пальцы и решил, что голос, лицо и быстрые выразительные жесты, которые столько лет вынуждали людей жалеть его и восхвалять, должны ему подчиниться. Он заставит ее улыбнуться. Придумает что-нибудь простое, непринужденное. Но что же? Он настолько погрузился в свои труды, что позабыл, как это делается. Щенок. У них теперь есть щенок. Интересно, кто сейчас

присматривает за щенком? — спросил он. Да, подумал Джеймс без тени жалости, глядя на голову сестры на фоне паруса, теперь она поддастся. Я останусь с тираном один на один. Выполнять обязательства по пакту придется мне. Кэм не сможет бороться против тирании не на жизнь, а на смерть, мрачно подумал он, наблюдая за ее лицом — печальным, угрюмым, покладистым. И как порой случается, когда туча опускается на зеленый склон горы и давит на него всей тяжестью, в окрестных горах воцаряется мрак и печаль, словно они задумываются над участью затемненного собрата, либо испытывая жалость, либо злорадствуя над его смятением, так и Кэм словно очутилась под тучей, сидя среди спокойных, решительно настроенных людей и гадая, что ответить отцу про щенка, как противостоять уговорам — прости меня, люби меня, в то время как Джеймс-законотворец, сидевший с раскрытыми скрижалями вечной мудрости на коленях (рука брата на румпеле стала для нее символом), говорил: не уступай, борись с ним! Правильно сказано, справедливо. С тиранией нужно бороться до конца, думала Кэм. Из всех человеческих качеств больше всего она почитала справедливость. Брат ее был самым богоподобным,

отец — самым смиренным из смертных. Кому же из двоих уступить, думала она, сидя между ними и глядя на берег, где смешались стороны света, где канула терраса с домом, где наступил покой.

— Джаспер, — угрюмо ответила Кэм. Он присмотрит за щенком.

А как она собирается его назвать? — продолжал наседать отец. В детстве у него был пес по кличке Шалун. Уступит, подумал Джеймс, наблюдая, как на лице сестры появляется знакомое выражение. Так женщины смотрят на свое вязаньие или еще на что-нибудь, потом внезапно поднимают взгляд. Он вспомнил блеск голубых глаз, затем та, что с ним сидела, рассмеялась и сдалась, чем ужасно его рассердила. Наверное, то была мать, вспомнил он, сидевшая в невысоком кресле, а отец стоял над ней. Джеймс принялся перебирать бесконечную череду воспоминаний, которые время плавно и непрерывно складывало в его мозг листок за листком, складка за складкой, порылся среди запахов, звуков, голосов грубых, глухих, нежных, мелькания огней и стука швабр, шума прибоя, и добрался до мужчины, который вышагивал взад-вперед и вдруг резко остановился напротив них, прямой как кинжал. Тем временем, заметил он, Кэм опустила пальцы

в воду и уставилась на берег, не говоря ни слова. Нет, не уступит, подумал он, Кэм — другая. Что ж, раз Кэм не отвечает, он не будет ее трогать, решил мистер Рамзи, нашаривая в кармане книгу. Ей очень хотелось ответить, ужасно хотелось сдвинуть какую-то преграду во рту, которая мешала ей сказать: да-да, Шалун! Я назову его Шалун! Ей даже хотелось спросить: не тот ли это пес, который в одиночку нашел дорогу через болото? Увы, как бы ни старалась, Кэм не могла придумать ничего, что прозвучало бы резко и в рамках заключенного пакта, и в то же время тайком дало бы отцу понять, что она его любит, незаметно для Джеймса. При всем при том, думала она, полоща руку в воде (мальчишка Макалистера поймал макрель, и та билась на дне лодки, из жабр текла кровь), при всем при том, думала она, глядя на Джеймса, который бесстрастно глядел на парус и время от времени посматривал на горизонт, ты не подвергаешься такому давлению, не разрываешься надвое, не подвергаешься искушению. Отец шарил по карманам, вот-вот достанет книгу. Никто не нравился ей больше, чем он, — какие у него красивые руки, ноги, голос, а его торопливость, характер, причуды, страстность, а как он воскликнул

во всеуслышание: «Мы гибли, каждый в одиночку», а его отстраненность! (Отец открыл книгу.) Что действительно невыносимо, подумала Кэм, выпрямившись и наблюдая, как мальчишка Макалистеров вытаскивает крючок из жабр второй рыбешки, так это вопиющая слепота и деспотизм отца, которые отравили ей все детство, вызывая бури негодования, — до сих пор она просыпается посреди ночи, дрожа от ярости, и вспоминает бесцеремонные отцовские указания: «Сделай это», «Сделай то», его превосходство: «Сделаешь, как я сказал».

И Кэм промолчала, продолжая грустно и угрюмо смотреть на берег, окутанный мирным покровом, словно все люди уснули, свободные как дым, как призраки, что вольны приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Там нет страданий, думала она.

5

Да, это их лодка, решила Лили Бриско, стоя на краю лужайки. Серовато-коричневые паруса наконец расправились, и лодка рванула через бухту. Вон он сидит, подумала она, и дети все такие же притихшие. И ей до него не дотянуться.

Невысказанное сочувствие к мистеру Рамзи пригибало ее к земле. Писать картину было трудно.

Она всегда считала его человеком тяжелым. Ей никогда не удавалось похвалить его в глаза, вспомнила Лили. Поэтому отношения оставались нейтральными, лишенными физического влечения, которое делало его обращение с Минтой таким галантным, чуть ли не игривым. Он мог сорвать для нее цветок, одалживал ей книги. Неужели он верил, что Минта их читает? Она таскалась с ними по саду, вкладывая зеленые листочки вместо закладок.

Помните, мистер Кармайкл? — хотелось спросить у старика, но тот уснул, накрыв шляпой лицо, или просто предавался мечтам, или искал подходящую рифму, предположила Лили.

Помните? — хотела она спросить, проходя мимо, и снова подумала про миссис Рамзи на берегу — бочонок подпрыгивает на волнах, страницы летят. Почему через столько лет уцелело именно это воспоминание, заключенное в кольцо, освещенное, видимое до мельчайших деталей, а до и после него сплошная пустота на многие мили?

Там лодка или пробка? — повторила Лили слова миссис Рамзи, неохотно поворачиваясь к холсту. Слава небесам, проблема пустого пространства

никуда не делась, подумала она, снова берясь за кисть. Пространство уставилось на нее свирепо. На нем-то и держится вся картина. На поверхности она должна быть красивой и яркой, легкой как перышко и эфемерной, цвета перетекают друг в друга, словно на переливчатых крыльях бабочки, но под тканью должна быть скреплена стальными болтами. Такой, что сомнешь неловким дыханием, такой, что не сдвинешь с места и упряжкой лошадей. И она начала класть красные, серые мазки, и начала прокладывать путь к пустоте в центре. В то же время Лили казалось, что она сидит на берегу рядом с миссис Рамзи.

— Там лодка или пробка? — спросила миссис Рамзи, шаря в поисках очков. Нашла и села, молча вглядываясь в море. И Лили, продолжая писать, почувствовала себя так, словно открылась дверь, она вошла и стоит, безмолвно озираясь в высоком, похожем на собор здании, очень темном и торжественном. Из далекого внешнего мира доносились крики. На горизонте в клубах дыма исчезали пароходы. Чарльз бросал камешки, и те подпрыгивали по воде.

Миссис Рамзи сидела молча. Рада, подумала Лили, посидеть в тишине, ни с кем не общаясь, отдохнуть в полном забвении от человеческих

отношений. Кто знает, что мы такое, что мы чувствуем? Кто знает даже в моменты близости: это — знание? Ну разве мы все не портим, говаривала миссис Рамзи (кажется, молчать с ней рядом Лили доводилось часто), произнося вслух? Разве мы не способны на большее? Пожалуй, момент исключительно удачный. Она вырыла в песке ямку и засыпала, чтобы сохранить в ней совершенство текущего момента — словно капля серебра, в которую заглядываешь, и мрак прошлого рассеивается.

Лили отступила на шаг, чтобы увидеть холст в перспективе, так сказать. Странная это дорога — живопись. Идешь и идешь все дальше, пока не очутишься на узком уступе совершенно один, над морем. Макая кисть в синюю краску, она погружалась в прошлое. Потом миссис Рамзи встала, вспоминала Лили. Пора было возвращаться домой — время ланча. И все поднялись на крутой берег вместе, она шла за Уильямом Бэнксом, впереди — Минта в дырявом чулке. Как упрямо круглая дырочка на розовой пятке лезла им в глаза! Как осуждающе смотрел на нее Уильям Бэнкс, при этом, насколько Лили помнила, не говоря ни слова! Для него она олицетворяла крах женственности, грязь и беспорядок,

удравших слуг и не застеленные до полудня кровати — все, что он презирал. Бедняга содрогнулся и растопырил пальцы перед собой, словно пытаясь скрыть неприглядное зрелище от глаз. А Минта шла себе дальше, вероятно, навстречу Полу, и удалилась с ним в сад.

Чета Рэйли, подумала Лили Бриско, сжимая тюбик с зеленой краской. Она собрала воедино свои впечатления от Рэйли. Их жизни представлялись в виде ряда сценок. В первой Пол пришел рано и лег спать, Минта задерживалась. И вот в три часа пополуночи Минта стоит на лестничной площадке — торжествующая, накрашенная, разодетая. Пол выходит в пижаме, держа в руке кочергу на случай грабителей. Минта жует сэндвич, стоя вполоборота у окна в мертвенном свете раннего утра, а на ковре дыра. О чем же они говорят? — спросила себя Лили, точно вглядываясь, можно расслышать слова. Минта продолжает жевать сэндвич назло Полу, и тот шепчет что-то резкое, оскорбительное, стараясь не разбудить детей, двух маленьких сыновей. Он — поблекший, осунувшийся, она — яркая, беззаботная. Все пошло наперекосяк уже через год или два — брак оказался неудачным.

И это, подумала Лили, макая кисть в зеленую

краску, придумывание эпизодов и есть то, что мы называем «знать» людей, «думать» о них, «интересоваться» ими! Ни слова правды, она все выдумала, хотя и знала их достаточно хорошо. Она продолжила углубляться в картину, в прошлое.

В другой раз Пол упомянул, что играет в шахматы в кофейнях. Воображение Лили вновь выстроило на основе его слов целую конструкцию. Она вспомнила: когда он это сказал, то ей живо представилось, как он позвонил служанке, и та говорит: «Миссис Рэйли ушла, сэр», и он решил тоже не возвращаться домой. Вот он сидит в углу мрачного кафе, где дым въелся в красную плюшевую обивку кресел, и официантки знают посетителей в лицо, и играет в шахматы с коротышкой, который торгует чаем и живет в Сербитоне, а больше Полу о нем ничего не известно. Минты не было дома, когда он вернулся, и последовала та сцена на лестнице, когда он прихватил кочергу для встречи грабителей (и ее напугать, конечно) и с горечью заявил, что она сломала ему жизнь. В любом случае, когда Лили навещала их в загородном домике под Рикмансвортом, обстановка была ужасно напряженной. Пол повел ее в сад смотреть на бельгийских зай-

цев, которых разводил, Минта увязалась следом, напевая и держа обнаженную руку у него на плече, чтобы он не разоткровенничался.

Минте осточертели зайцы, подумала Лили, только она себя не выдаст. Даже не упомянула про шахматы в кофейнях. Слишком бдительна, слишком осторожна. Но — возвращаясь к их истории — опасную стадию они миновали. Прошлым летом Лили приезжала к ним погостить, машина сломалась, и Минта подавала Полу инструменты. Он сидел на дороге, ремонтируя машину, и то, как жена подавала ему инструменты — деловито, просто, по-дружески, — доказывало, что у них все в порядке. Больше не влюблены, нет, он завел другую женщину, серьезную, с волосами, собранными в косу, и с портфелем в руке (Минта описывала ее с благодарностью, почти с восхищением), которая ходит на митинги и разделяет взгляды Пола (все более и более радикальные) на налогообложение земельной собственности и капитала. Этот союз не разрушил их брак, а, наоборот, укрепил. Похоже, они теперь отличные друзья — судя по тому, как она подавала ему инструменты, когда он сидел на дороге.

Такова история четы Рэйли, подумала Лили и представила, как рассказывает ее миссис Рам-

зи, которой наверняка не терпелось бы узнать, что с ними стало. Сообщить ей, что брак не удался, было бы отрадно.

Вот только мертвые, подумала Лили, наткнувшись на какое-то препятствие в замысле, заставившее прервать работу и задуматься, отступив на пару шагов, ох уж эти мертвые! — пробормотала она, их жалеют, от них отмахиваются, некоторых даже слегка презирают. Они в нашей власти. Миссис Рамзи поблекла и пропала, подумала она. Мы можем пренебречь ее желаниями, испортить все дело, пытаясь улучшить ее ограниченные, старомодные представления. Она все больше от нас отдаляется. Сквозь коридор лет миссис Рамзи виделась ей в карикатурном виде: сидит с очень прямой спиной ранним утром (птицы в саду начинают петь) и твердит явную нелепость: «Женитесь! Выходите замуж!» И никто ведь ей не скажет: все пошло наперекор вашим желаниям. Им хорошо на свой лад, мне — на свой. Жизнь совершенно изменилась. И самое ее существование, даже ее красота, вмиг устарели и покрылись пылью. Лили, стоявшая к солнцу спиной, подвела итог семейной жизни четы Рэйли и на миг восторжествовала над миссис Рамзи, которая никогда не узнает, что Пол ходит

по кофейням и завел любовницу, что он сидел на земле, а Минта подавала ему инструменты, что Лили стоит здесь и рисует, что она так и не вышла замуж, даже за Уильяма Бэнкса.

Миссис Рамзи строила такие планы. Возможно, останься она жива, ей бы это удалось. Тем летом мистер Бэнкс уже стал «добрейшим мужчиной». Он был «первым ученым среди своего поколения, как говорит мой муж». Еще она называла его «бедняга Уильям — мне больно видеть, как неприютно он живет — в доме даже цветы некому расставить». И их посылали на совместные прогулки, и ей говорили с легким оттенком иронии, с которой миссис Рамзи всегда ускользала от трудных тем, что у нее научный склад ума, что ей нравятся цветы, что она очень аккуратная. Что за мания выдавать всех замуж и женить? — гадала Лили, отступая от холста и вновь подходя ближе.

(Внезапно, как с неба падает звезда, в ее сознании вспыхнул красноватый свет, охвативший Пола Рэйли, исходящий от него. Он вспыхнул, словно ритуальный костер, разведенный дикарями на дальнем берегу. Раздался рев и треск поленьев. Море на мили вокруг залило багрянцем и золотом. К его запаху примешивался

какой-то пьянящий аромат, вскруживший ей голову, и Лили вновь захотелось броситься со скалы и утонуть, разыскивая на пляже жемчужную брошку. Рев и треск наполняли ее страхом и отвращением, будто кроме великолепия и мощи пламени она видела, как оно питается сокровищами дома — жадно, мерзостно, и это ее отвращало. Но по зрелищности, по великолепию оно превосходило все, что ей довелось испытать, год за годом оно горело словно сигнальный огонь на пустынном островке на краю моря, и стоило кому-то сказать «влюблен», как в тот же миг огонь Пола разгорался с новой силой, вот как сейчас. И снова гас, а она говорила себе со смехом: «Чета Рэйли», вспоминала про шахматы в кофейнях.)

Я ведь была на волосок от гибели, подумала Лили. Она разглядывала скатерть, и вдруг ей пришло в голову, что дерево нужно передвинуть в центр картины и выходить замуж вовсе ни к чему, и ее затопило неимоверное облегчение. Она поняла, что способна противостоять миссис Рамзи, хотя и отдавала должное власти, которую та имела над людьми. Сделай так, говорила миссис Рамзи, и человек делал. Властной казалась даже ее тень у окна, где она когда-то

сидела с Джеймсом на коленях. Лили вспомнила, как шокировало Уильяма Бэнкса пренебрежение Лили к значимости матери и сына. Разве она не восхищается их красотой? — спросил он. Однако Уильям все же выслушал объяснение, глядя на нее глазами мудрого ребенка, и убедился, что о непочтительности и речи нет: свету нужна тень в качестве противовеса и так далее. Она вовсе не принижала тему, которую, как оба согласились, Рафаэль считал боговдохновленной. С ее стороны это не было проявлением цинизма — совсем наоборот. Благодаря научному складу ума он все понял — лишнее доказательство бескорыстия его ума, что чрезвычайно ее порадовало и утешило. Значит, говорить с мужчиной о живописи всерьез возможно. Несомненно, дружба с ним приносила ей радость. Уильяма Бэнкса она любила.

Они ездили в Хэмптон-Корт, и он всегда оставлял ей, как истинный джентльмен, предостаточно времени, чтобы, так сказать, помыть руки, а сам прогуливался у реки. Такие уж у них были отношения — многое оставалось недосказанным. Много лет они гуляли по парку и любовались соразмерностью линий и красотой цветов, и он рассказывал про перспективу, про архитектуру,

останавливался рассмотреть дерево или вид на озеро, восхищался детьми (к великому сожалению, дочери у него не было) в странной отвлеченной манере, которая свойственна человеку, много времени проводящему в лаборатории, — внешний мир настолько ослепляет, что ему приходится ходить медленно, заслонять глаза рукой и останавливаться, запрокинув голову и вдыхая свежий воздух. Потом он признался, что экономка уехала отдыхать, а ему нужно купить ковер на лестницу. Не согласится ли она помочь с выбором ковра? Как-то раз он неожиданно заговорил о Рамзи и рассказал, что впервые встретил ее в серой шляпе лет в девятнадцать или двадцать. Она была поразительно красива. И он стоял, вглядываясь в аллею Хэмптон-Корта, словно увидел среди фонтанов ее.

Лили посмотрела на ступени гостиной. Глазами Уильяма она видела очертания женщины, безмятежной и молчаливой, с опущенным взглядом. Та сидела, задумавшись (в тот день она была в сером, вспомнила Лили). Взгляд, как всегда, опущен. Да, подумала Лили, всматриваясь, я наверняка видела ее там, только не в сером, не такой неподвижной, не такой молодой, не такой безмятежной. Образ сложился с легкостью.

Она была поразительно красива, сказал Уильям. Но красота еще не все. За красоту приходится дорого платить — слишком легко дается, слишком ее много. В присутствии красоты жизнь замирает — замораживается. Теряется легкий трепет, румянец, бледность, причудливое искажение, игра света и тени, вмиг делающие лицо неузнаваемым и в то же время добавляющие черточку, которая врезается в память навсегда. Проще все это сгладить, скрыв под покровом красоты. Интересно, как она выглядела, думала Лили, когда нахлобучивала охотничью кепку с двумя козырьками, бежала по лужайке или распекала садовника? Кто знает? Кто расскажет?

Против воли она вынырнула на поверхность и обнаружила, что отошла от своего холста и ошеломленно, словно во сне, смотрит во все глаза на мистера Кармайкла. Тот лежал в шезлонге, сложив ручки на пузе, не читал и не спал, а нежился, довольный жизнью как никогда. Книга валялась в траве.

Ей хотелось подойти к нему и окликнуть: «Мистер Кармайкл!» Тогда бы он поднял взгляд, посмотрел на нее, по обыкновению, доброжелательно, с поволокой в зеленых глазах. Но будить людей, не зная, о чем говорить, не стоит. Лили хо-

телось сказать так многое, что она растерялась. Маленькие слова разбивают мысль на части, не выражая ничего. «О жизни и смерти, о миссис Рамзи» — нет, подумала она, один человек ничего не может сказать другому. Острота момента никогда не достигает цели. Слова разлетаются в стороны и ударяются о предмет на несколько дюймов ниже, чем нужно. И тогда сдаешься, идея снова отступает, и ты становишься, как и большинство людей средних лет, осторожной, скрытной, с морщинками вокруг глаз и выражением постоянной тревоги на лице. Как выразить словами эмоции тела? Как выразить пустоту вон там? (Лили смотрела на ступени гостиной, и те выглядели необычайно пустыми.) Так чувствовало тело, а не разум. Внезапно физические ощущения, сопровождающие вид пустых ступеней, стали чрезвычайно неприятными. Хотеть и не получить — из-за этого ее тело становилось твердым, пустым, напряженным. А потом мучительное желание — хотеть и хотеть, не получая — как из-за этого сжимается сердце, как оно щемит снова и снова! О, миссис Рамзи! — безмолвно вскричала Лили, взывая к сущности, что сидела возле лодки, к абстракции, в которую сама ее превратила, к женщине в сером, словно

обвиняя в том, что она их покинула, а уйдя, вновь вернулась. Думать о ней совершенно не опасно. Призрак, воздух, ничто, вещь, играть с которой можно легко и безопасно в любое время дня и ночи, — вот чем стала миссис Рамзи, а потом вдруг протянула руку и сжала ей сердце. Внезапно пустые ступени, оборка на кресле в гостиной, ковыляющий по террасе щенок, колыхание и шепот сада превратились в архитектурные украшения, обрамляющие полную пустоту.

«Что это значит? Как вы это объясните?» — хотелось ей спросить, снова обратившись к мистеру Кармайклу. Казалось, сегодня утром весь мир растекся, обратившись в заводь мыслей, глубокий резервуар реальности, и вполне можно было представить, что стоит мистеру Кармайклу заговорить, к примеру, поверхность заводи рассечет маленькая слеза. И что тогда? Что-нибудь поднимется из глубин. Вскинется рука, сверкнет клинок. Ерунда, конечно!

Лили пришла странная мысль: все-таки он услышал то, чего она сказать не могла. Невозмутимый старик с желтым пятном на бороде, со своей поэзией и головоломками шел по жизни безмятежно, и та удовлетворяла все его нужды — достаточно руку протянуть, и он получит прямо

с лужайки все, что заблагорассудится. Лили посмотрела на картину. Пожалуй, таким мог быть его ответ — «вы», «я», «она» уйдут, исчезнут, ничего не останется, все изменится, кроме слов, кроме краски. И все же ее повесят на чердаке, подумала Лили, скатают и сунут под диван; но даже если и так, даже если взять ее картину, это правда. Пусть это пачкотня, а не настоящая живопись, и все же ее попытка «останется навсегда», хотела сказать Лили или, поскольку произнесенные слова прозвучали бы слишком хвастливо даже для нее самой, скорее безмолвно намекнула, и с удивлением обнаружила, что не видит холста. Глаза заполняла горячая влага (сначала она даже не подумала о слезах), которая делала воздух густым и катилась по щекам, не тревожа твердости губ. Она прекрасно владела собой — еще бы! — во всех иных аспектах. Неужели она плачет по миссис Рамзи, даже не сознавая, что несчастна? Она снова обратилась к старику Кармайклу. Что тогда? Что это значит? Могут ли они воздеть руки и схватить тебя, может ли клинок сечь, кулак сжиматься? Неужели спасенья нет? Неужели нельзя затвердить наизусть, как устроен этот мир? Ни путеводителя, ни укрытия — сплошные чудеса и прыжок с башенного

шпиля прямо в воздух? Могло ли быть так, что это и есть жизнь — поразительная, неожиданная, неизведанная даже для стариков? На миг Лили пригрезилось, что они стоят вдвоем здесь, на лужайке, и требуют объяснения, почему жизнь так коротка, почему так непостижима, требуют яростно, как два человека, готовые абсолютно ко всему, от которых ничего не скроешь, и тогда красота внезапно появится, пространство заполнится, пустые завитушки сложатся в образ; если они будут звать достаточно долго, миссис Рамзи вернется. «Миссис Рамзи! — громко воскликнула Лили, — миссис Рамзи!» По лицу бежали слезы.

6

Мальчишка Макалистера взял макрель и вырезал из бока квадратик для наживки. Изуродованную рыбешку (все еще живую) он бросил обратно в море.

7

— Миссис Рамзи! — вскричала Лили. — Миссис Рамзи!

Но ничего не произошло. Боль усилилась. До какого идиотизма может довести эта тоска! — подумала она. В любом случае старик ее не услышал. Все такой же благожелательный, спокойный — даже возвышенный, если угодно. Слава небесам, никто не услышал ее постыдного вопля: прочь, боль, прочь! Она не сходила с ума прилюдно. Никто не видел, как она шагнула с узкой доски навстречу гибели. Лили осталась убогой старой девой с кистью в руке.

Постепенно боль желания и горечь гнева (все вернулось, когда она вообразила, что перестала горевать по миссис Рамзи. Скучала ли она по ней за завтраком, в компании кофейных чашек? ничуть) утихли, мучения сменились облегчением, что само по себе — бальзам на раны, и еще, что более загадочно, ощущением присутствия миссис Рамзи, которая сбросила груз мирских забот, беззаботно постояла рядом, а потом (ведь это была миссис Рамзи во всей красе!) водрузила себе на голову венок из белых цветов и ушла. Лили выдавила еще красок и кинулась решать задачку с изгородью. Миссис Рамзи виделась ей на удивление отчетливо — стремительно прошагала среди мягких лиловых складок цветущих лугов, среди гиацинтов или лилий,

потом исчезла. Глаз художника и не на такое способен. Услышав о ее смерти, Лили Бриско еще долго видела, как миссис Рамзи надевает на голову венок и беспрекословно идет по лугам со своим спутником-тенью. Зрительный образ и фраза способны утешить. Где бы она ни писала картины — здесь, за городом или в Лондоне, — ее посещало это видение, и прищуренные глазки Лили искали, на что бы опереться. Она смотрела на вагон поезда, на омнибус, выхватывала изгиб плеча или скулы, смотрела на окна напротив, по вечерам разглядывала освещенную фонарями Пикадилли. Все они принадлежали смерти, все были частью ее лугов. Но вечно что-нибудь — лицо, голос, мальчишка-газетчик, кричавший «Стандарт», «Ньюс» — врывалось, одергивало, будило ее, чего-то требовало и в конце концов отвлекало внимание, и видение приходилось воссоздавать заново. И вот опять, движимая инстинктивной потребностью в просторе и синеве, Лили смотрела на бухту внизу, преображая синие гряды волн в горы, а лиловые прогалы между ними — в каменистые пустоши, и снова, как обычно, ее отвлекла некая несообразность. В середине бухты виднелось коричневое пятнышко. Лодка, вскоре поняла она. Да, но чья?

Мистера Рамзи, ответила она. Мистера Рамзи — мужчины, который отстраненно прошагал мимо нее с поднятой рукой, во главе процессии, в своих красивых ботинках, который просил сочувствия, а она ему отказала. Лодка была уже на полпути.

Не считая редких порывов ветра, утро выдалось таким погожим, что вода и небо совершенно сливались, паруса утыкались прямо в небо, облака текли по морю. Далеко-далеко пароход выпустил огромный клуб дыма, так и оставшийся висеть, живописно завиваясь, словно воздух — тонкая вуаль, которая удерживает предметы в своей мелкой сетке, легонько покачивая их взад-вперед. И, как иногда случается в очень ясную погоду, прибрежные скалы будто бы догадывались о присутствии кораблей, а корабли будто бы догадывались о присутствии скал, и они обменивались тайными сигналами. И маяк в дымке, иногда такой близкий к берегу, сегодня терялся в непроглядной дали.

Где же они теперь? — подумала Лили, глядя на море. Где же он, тот старик, который прошел мимо нее молча, держа под мышкой бумажный сверток? Лодка была на полпути к маяку.

8

Они там ничего не чувствуют, подумала Кэм, глядя на берег, который, поднимаясь и опадая, становился все более далеким и умиротворенным. Рука ее оставляла след в море, в то время как разум превращал зеленые завитки и полосы в узоры, и она, оцепеневшая и окутанная пеленой фантазии, бродила в подводном мире, где к белым брызгам льнут грозди жемчужин, где зеленый свет совершенно преображает сознание, а завернутое в зеленый плащ тело становится полупрозрачным и светится изнутри.

Затем водоворот вокруг руки ослабел. Напор воды уменьшился, мир заполнили тихие скрипы и визги. Волны бились о борт, словно лодка бросила якорь в гавани. Все вдруг значительно приблизилось. Парус, с которого Джеймс не сводил глаз, пока тот не стал для него старым знакомым, совершенно провис; они остановились, качаясь в ожидании ветерка под палящим солнцем вдали от берега, вдали от маяка. Казалось, весь мир замер. Маяк сделался недвижим, и линия дальнего берега застыла. Солнце припекало, и все сблизились настолько, что ощущали

присутствие друг друга, о котором почти позабыли. Леска Макалистера отвесно ушла в море. Однако мистер Рамзи продолжал читать, поджав под себя ноги.

Он читал блестящую книжку с обложкой пестрой, словно яичко ржанки. То и дело, пока они болтались в этом жутком безветрии, он переворачивал страницу. И Джеймсу казалось, что каждую сопровождал особый жест, предназначавшийся лично ему, — то напористый, то властный, то с намерением пробудить в них жалость, и все время, пока отец читал и перелистывал странички, Джеймс страшился момента, когда он поднимет взгляд и резко выскажется по тому или иному поводу. Почему они тут застряли? — спросит отец или еще что-нибудь несуразное. Если спросит, подумал Джеймс, я возьму нож и воткну ему прямо в сердце.

Идею взять нож и воткнуть отцу в сердце он вынес из детства, только теперь, став старше и глядя на отца в бессильной ярости, он хотел убить вовсе не старика, читающего книгу, а то, что давило на него — пожалуй, он и сам этого не осознавал, — свирепую чернокрылую гарпию с холодными и твердыми когтями и клювом, который вонзается в него вновь и вновь

(он чувствовал клюв на голых ногах, куда тот бил в детстве), потом уносится прочь, и вот перед ним опять сидит очень грустный старик с книгой. Вот кого он убьет, вот кого ударит прямо в сердце! Где бы он ни устроился (да ему что угодно по плечу, чувствовал Джеймс, глядя на маяк и на далекий берег) — хоть в торговле, хоть в банке, хоть в суде, хоть во главе крупной компании, с ней-то он и будет сражаться, ее-то и будет выслеживать и искоренять — тиранию, деспотизм, который заставляет людей делать то, что им не хочется, отнимает у них право голоса. Разве могли они сказать: я не поеду, когда он велел: поехали на маяк, сделайте это, принесите мне то. Черные крылья раскинулись над ними, и твердый клюв впился в плоть. А в следующий миг он сидит и читает книгу, может поднять взгляд — никогда не знаешь наверняка — вполне осмысленный. Может заговорить с Макалистерами, может сунуть соверен в руку замерзшей старухи на улице, думал Джеймс, и орать, наблюдая за состязанием рыбаков, возбужденно размахивая руками. Или может сидеть во главе стола, храня молчание весь обед. Да, подумал Джеймс, пока лодка болталась и зыбилась под палящим солнцем; посреди снежной, скалистой

пустыни очень одиноко и сурово, но в последнее время ему все чаще казалось, когда отец говорил или делал что-нибудь, удивлявшее окружающих, что в той пустыне всего две цепочки следов — его и отцовские. Только они двое понимают друг друга. Тогда к чему этот террор, эта ненависть? Оглядываясь назад среди множества листов, что вложило в его память прошлое, всматриваясь в сердце леса, где свет и тень настолько переплетаются, что искажают любые очертания, и человек допускает ошибку, ослепленный то светом, то тьмой, он искал образ, который остудил бы его пыл, разделил чувства и заключил их в конкретную форму. Предположим, будучи ребенком, беспомощно сидевшим в коляске или на чьих-то коленях, он видел, как повозка переехала, сама того не ведая и не желая, чью-то ногу. Предположим, он увидел сначала ногу, в траве, гладкую и целую, затем колесо и ту же ногу, только обагренную кровью, сломанную. Но колесо не виновато. Значит, теперь, когда отец прошелся по коридору, стуча в двери рано поутру, и позвал их на маяк, оно переехало ногу ему, Кэм, да кому угодно. А он просто сидел и смотрел.

Но о чьей ноге он подумал и в каком саду это произошло? У сценки свои декорации — деревья,

цветы, определенное освещение, действующие лица. В том саду не было тоски, никто не размахивал руками, люди говорили обычным тоном. Весь день они то входили, то выходили. На кухне судачила какая-то старуха, шторы колыхались от ветра — все развевалось, все росло, а ночью тарелки и чаши, красные и желтые цветы на высоких стеблях облекала тончайшая, как виноградный листок, золотистая завеса. По ночам становилось тише и темнее. Но завеса была так тонка, что огни ее рассеивали, голоса ее сминали, он видел очертания склонившейся над ним фигуры — подошла, потом удалилась, зашуршало платье, звякнула цепочка.

Именно в том мире колесо проехалось по чьей-то ноге. Высоко над ним что-то цвело, а потом вторглось что-то бесплодное и острое, как клинок, как ятаган, сминая листву и цветы даже в этом счастливом мире, заставило их увянуть и осыпаться.

«Будет дождь, — вспомнились ему слова отца. — Ты не сможешь поехать на маяк».

Тогда маяк представлялся ему серебристой, покрытой туманом башней с желтым глазом, который внезапно и робко открывался по вечерам. Теперь…

Джеймс посмотрел на маяк. Он видел выбеленные скалы, суровую и стройную башню, размеченную черными и белыми полосами, видел окна и даже белье, развешенное для просушки. Значит, вот он какой — маяк?

Нет, не только такой, потому что вещи никогда не бывают чем-то одним. Другой маяк тоже существует. Порой его едва разглядишь на другом краю бухты. По вечерам поднимаешь взгляд и видишь, как глаз открывается и закрывается, и его свет доходит до просторного солнечного сада, где они сидят.

Джеймс взял себя в руки. Всякий раз когда он говорил «они» или «кто-то», ему слышался шорох одежды, звяканье цепочки — он сразу ощущал в комнате чье-то присутствие. На этот раз — отца. Напряжение нарастало. Еще миг и, если ветерок не поднимется, отец захлопнет книгу и воскликнет: «Что происходит? Почему мы здесь болтаемся?», и, как раньше, когда он вонзил свой клинок в них с матерью, сидящих на террасе, и она напряглась всем телом, Джеймс пожалел, что у него нет под рукой ни ножа, ни топора или еще чего-нибудь острого, чтобы воткнуть отцу в сердце. Мать напряглась, потом ее рука обмякла, и он понял, что она больше

не слушает, она поднялась и ушла, оставила его одного — беспомощного, нелепого, сидящего на полу с ножницами.

Ни единого дуновения. Вода фыркала и булькала на дне лодки, три-четыре макрели били хвостами в слишком мелкой, чтобы их покрыть, лужице. В любой момент мистер Рамзи (Джеймс и взглянуть на него не осмеливался) мог выйти из себя, захлопнуть книгу и сказать что-нибудь резкое, но пока он читал, и Джеймс украдкой, словно крадется босиком вниз по лестнице, боясь разбудить скрипом половицы сторожевого пса, продолжал думать, какой она была, куда ходила в тот день. Он проследил ее путь по дому, и наконец они вышли в комнату, где в голубом свете, словно отраженном от множества фарфоровых тарелок, она с кем-то разговаривала. Он слушал, как она говорит со служанкой, говорит первое, что приходит в голову. Она одна говорила правду, ей одной он мог сказать правду. Пожалуй, поэтому его так и влекло к ней — можно было говорить первое, что приходит в голову. И все время, пока думал о ней, Джеймс чувствовал, что отец следит за его мыслью, изучает ее, заставляет дрожать и спотыкаться. Наконец он перестал думать.

Он просто сидел на солнце и держал руку на румпеле, уставившись на маяк, не в силах пошевелиться, не в силах стряхнуть крупицы страданий, оседавшие в сознании одна за другой. Словно отец связал его веревкой, и освободиться можно, только взяв нож и воткнув… И в этот миг парус медленно развернулся, медленно наполнился, лодка дрогнула, в полузабытьи тронулась с места, а потом пробудилась от сна и рванула по волнам. Напряжение схлынуло. Казалось, все вновь отдалились друг от друга и облегченно выдохнули, а лески за бортом вновь туго натянулись. Отец даже не повернул голову, лишь загадочно поднял правую руку и уронил на колено, словно дирижировал тайной симфонией.

9

(Море без единого пятнышка, подумала Лили Бриско, все еще стоя и глядя на бухту. Морская гладь расстилалась шелком. Даль необычайно сильна, вот и их поглотила, чувствовала Лили, и они канули навеки, влились в естественный порядок вещей. Так спокойно, так тихо. Пароход исчез, но огромный клуб дыма все еще висел в воздухе, словно траурно приспущенный флаг.)

10

Вот, значит, какой он, этот остров, подумала Кэм, снова проводя пальцами по волнам. Видеть его с воды ей пока не доводилось. Он лежал в море, посередине — выемка и два острых утеса, и море захлестывает сушу и расстилается на многие мили в обе стороны. Совсем маленький, в форме листка, стоящего торчком. И тогда мы сели в лодочку, подумала она, начиная приключенческий рассказ о бегстве с тонущего корабля. Но море струилось сквозь пальцы, внизу исчезали водоросли, и ей не хотелось сочинять никаких серьезных историй, ей хотелось приключений и свободы, ведь пока лодка плыла, злость отца из-за сторон света, одержимость Джеймса их пактом, ее собственные страдания куда-то улетучились, сошли на нет, утекли прочь. И что дальше? Куда они делись? Из холодной как лед руки, которую Кэм держала глубоко в воде, бил фонтан радости — разнообразие, освобождение, приключение (она выживет, она попадет туда). И капли с этого внезапного и бездумного фонтана радости изредка падали на темные, сонные глубины ее сознания, на очертания мира еще не сотворенно-

го, только обретающего форму, ловящего искры света — Греция, Рим, Константинополь. Хотя он и маленький, как листок, стоящий торчком и омываемый золотистыми водами, наверное, и у него есть, предположила она, свое место во Вселенной — даже у столь маленького островка? Старый джентльмен в кабинете, подумала Кэм, мог бы сказать ей наверняка. Иногда она нарочно забредала из сада в дом, чтобы застать их врасплох. Они неизменно сидели друг напротив друга (то мистер Кармайкл, то мистер Бэнкс и ее отец) в низких креслах. Они хрустели страницами «Таймс», когда она заходила из сада, и у нее голова шла кругом из-за того, что́ кто-то сказал про Христа, или про мамонта, выкопанного на лондонской улице, или про характер Наполеона. Потом они брали все это в свои чистые руки (они носили серую одежду, от них пахло вереском) и соединяли обрывки воедино, переворачивали страницу, закидывали ногу на ногу и время от времени что-нибудь кратко поясняли. Просто для удовольствия она иногда брала книгу с полки и стояла, глядя как отец пишет — очень ровно, аккуратно, строчку за строчкой, время от времени покашливая и что-нибудь кратко сообщая джентльмену напротив. И Кэм думала,

стоя с открытой книгой, что здесь любая мысль распускается, как чайный листок в воде, и если среди курящих трубки и читающих «Таймс» старых джентльменов думается хорошо, то и мысль правильная. Вспоминая пишущего в кабинете отца, она понимала теперь, сидя в лодке, что он вовсе не тщеславный, не тиран и не хочет, чтобы его все жалели. И вообще, если он замечал, что она наблюдает за ним, читая книгу, то спрашивал ласково как мог: ей что-нибудь нужно?

Или она ошибается? Кэм посмотрела на отца, читающего книжку в яркой, пестрой, как яичко ржанки, обложке. Нет, не ошибается. Взгляни на него, хотелось ей сказать Джеймсу. (Джеймс глаз не сводил с паруса.) Он — язвительная скотина, ответил бы Джеймс. Вечно переводит разговор на себя и свои книги, ответил бы Джеймс. Неисправимый эгоист. Хуже того, тиран! Ты только взгляни, возразила бы Кэм, взгляни на него. Посмотри на него теперь! Она наблюдала, как он читает книжечку, подогнув под себя ноги, маленькую книжку, чьи пожелтевшие страницы ей были знакомы, хотя она не знала, что на них написано. Небольшая, шрифт мелкий, на чистом листке в начале он записал, что потратил на обед пятнадцать франков: вино столько-то,

официанту — столько-то, все аккуратно подсчитано внизу странички. Но что написано внутри книги с загнутыми по форме кармана уголками, она не знала. Никто из них не знал, о чем он думает. Отец настолько погрузился в чтение, что поднимал невидящий взгляд, вот как сейчас, лишь для того, чтобы лучше понять мысль. Он читает, думала Кэм, словно ведет кого-то, или пасет большое стадо овец, или поднимается все выше и выше по узкой тропинке; и иногда идет быстро и прямо, пробираясь через заросли, и прокладывает себе путь, и порой кажется, что ветка его ударила, ослепила, однако он и не думает пасовать, идет себе дальше, листая страницу за страницей. И она вернулась к своей истории про спасение с тонущего корабля, ведь ей ничто не угрожало, пока он читает, как и в детстве, когда она прокрадывалась в кабинет из сада, брала книгу, и старый джентльмен, внезапно опустив газету, кратко сообщал что-нибудь про личность Наполеона.

Она оглянулась на море, на остров. Листок терял четкое очертание. Он казался очень маленьким, очень далеким. Теперь море стало гораздо важнее, чем берег. Повсюду их окружали волны, вздымались и опадали, на одной волне

качалось бревно, на другой — чайка. Примерно здесь, подумала Кэм, макая пальцы в воду, затонул корабль, и прошептала в полусне: мы гибли, каждый в одиночку.

11

Сколь много зависит, думала Лили Бриско, глядя на море без единого пятнышка, такое нежное, что паруса и облака тонули в голубизне, сколь много зависит от расстояния — далеко люди от нас или близко; потому что ее чувство к мистеру Рамзи менялось по мере того, как он плыл по бухте все дальше и дальше. Казалось, чувство удлиняется, вытягивается, а он становится все более чужим. Мистера Рамзи с детьми словно поглощала голубая даль, расстояние, а здесь, на лужайке, только руку протяни, внезапно фыркнул мистер Кармайкл. Она рассмеялась. Он схватил упавшую на траву книгу. Уселся в шезлонге, пыхтя и отдуваясь, словно морское чудовище. Совсем иное впечатление, когда он так близко. И снова наступила тишина. Наверное, они уже встали с постели, предположила Лили, поглядев на дом, но никого не увидела. Ах да, вспомнила Лили, после завтрака они

всегда расходятся по своим делам, что вполне в духе этой тишины, пустоты и иллюзорности раннего утреннего часа. Так иногда бывает, думала она, помедлив и бросив взгляд на сверкающие оконные стекла и голубой дымок: привычки перерастают в болезнь прежде, чем всплывут на поверхность, и ты чувствуешь нереальность происходящего, которая так и завораживает, чувствуешь, как что-то вырисовывается. В подобные моменты жизнь кажется особенно яркой. И дышится легче. К счастью, нет нужды нестись через всю лужайку к старой миссис Беквит, которая выискивает, где бы присесть, и трещать без умолку: «С добрым утром, миссис Беквит! Какой чудный денек! Набрались смелости и решили посидеть на солнышке? Джаспер спрятал все кресла. Позвольте за вами поухаживать!» и прочая болтовня в том же духе. Ничего говорить не нужно. Скользишь себе, покачивая парусами (в бухте было довольно оживленно, лодки отплывали от берега), нигде не останавливаясь, минуя всех. И вокруг вовсе не пусто, скорее полно до краев. Она словно стояла по самые губы в какой-то субстанции, двигалась в ней, плавала и тонула, потому что эти воды были немыслимо глубоки. В них влилось столько жизней! Четы Рамзи,

их детей, всяких бедняков и бродяг без счета. Прачка с корзиной, грач, книпкофия, лиловые и серо-зеленые цветы — и некое общее чувство, что удерживает их вместе.

Пожалуй, сходное ощущение завершенности охватило ее десять лет назад, когда она стояла примерно там же, где и сейчас, и заставило ее признаться, что она влюблена в это место. У любви — тысячи форм. Возможно, есть любящие, чей дар в том, чтобы отбирать элементы сущего и соединять воедино, таким образом придавая им недостающую цельность, превращая какую-нибудь сцену или сборище (все ушли, разбрелись в разные стороны) в нечто круглое и компактное, над чем витает мысль и чем тешится любовь.

Взгляд Лили остановился на коричневой точке — парусной лодке мистера Рамзи. Они будут на маяке к ланчу, предположила она. Ветер посвежел, небо слегка изменилось, и море слегка изменилось, лодки переместились, и общий вид, который только что казался удивительно соразмерным, теперь выглядел неудачно. Ветер развеял коричневый клуб дыма, в расположении кораблей появилось что-то неприятное.

Возникшая несоразмерность, казалось, нарушила гармонию в ее собственном сознании.

Лили ощутила смутное беспокойство. Оно усилилось, стоило ей повернуться к картине. Она теряет утро зря! Почему-то не удавалось достичь столь необходимого критического равновесия между мистером Рамзи и картиной. Может, просчет в композиции? Может, линия стены так и просится, чтобы ее прервали, или масса зелени слишком тяжелая? Какая ирония, ведь к началу работы вроде бы решила свою проблему.

В чем же проблема? Она должна ухватить нечто неуловимое. Оно ускользало, когда она думала о миссис Рамзи, оно ускользало даже теперь, когда она думала о картине. Фразы, видения. Красивые фразы, красивые видения. Но ей хотелось ухватить то, от чего ее коробило, то самое, с чего все началось. Возьми и начни заново, возьми и начни, в отчаянии твердила она себе, решительно становясь за мольберт. До чего жалкая машина, до чего малоэффективная, думала она, ведь человеческий организм не годится ни для живописи, ни для чувств, всегда ломается в самый ответственный момент; придется приложить героическое усилие и заставить себя. Она смотрела и хмурилась. Вот изгородь, это понятно. Одного упорства мало. Хоть ослепни, разглядывая линию стены или думая: она носила

серую шляпу, она была удивительно красива. Пусть идет как идет, сдалась Лили. В иные моменты не можешь ни думать, ни чувствовать. А если не можешь ни думать, ни чувствовать, подумала она, то где же ты?

Здесь, на траве, на земле, подумала она, присаживаясь и трогая кистью небольшую колонию подорожника. Лужайка совсем заросла дикими травами. Здесь, в этом мире, думала Лили, не в силах избавиться от чувства, что сегодня утром все происходит впервые или, наверное, в последний раз, как путешественник даже в полудреме знает, выглядывая из окна, что должен смотреть, иначе больше никогда не увидит тот город или повозку с мулами или женщину, работающую в поле. Лужайка — мир, они здесь вдвоем, на высшей ступени, думала она, глядя на старого мистера Кармайкла, который вроде бы (хотя за все время они и словом не перекинулись) разделяет ее мысли. Наверное, она больше никогда его не увидит. Он стареет. А еще, вспомнила Лили, с улыбкой глядя на тапочку, болтающуюся у него на ноге, становится популярным. Люди говорят, что у него очень красивые стихи. Они взяли и издали написанное им сорок лет назад. Кармайкл теперь знаменитость, улыбнулась она, думая,

сколько обличий может принимать человек, что в газетах он один, а здесь — тот же, что и всегда. Он выглядел все тем же, только еще больше поседел. Да, он выглядел прежним, но кто-то сказал, вспомнилось ей, что, услышав о смерти Эндрю Рамзи (погиб мгновенно от взрыва снаряда, а мог бы стать великим математиком), мистер Кармайкл «потерял к жизни всякий интерес». Что бы это значило? — гадала Лили. Прошествовал маршем по Трафальгарской площади с большой дубинкой? Листал страницу за страницей, не читая, сидя в одиночку в своей комнате в Сент-Джонс-Вуд? Она не знала, что он сделал, когда услышал о гибели Эндрю, но все равно чувствовала это в нем. Они лишь бормотали слова приветствия, встречаясь на лестнице, они смотрели в небо и говорили, что погода будет хорошая или плохая. Но это лишь один из способов узнать человека, думала она: в общих чертах, без подробностей, сидеть в саду и смотреть на лиловые склоны холмов, исчезающие в зарослях дрока. Так она его и узнала. Лили чувствовала, что он изменился. Хотя она не прочла ни строчки его стихов, ей думалось, что его поэзия течет медленно и густо. Наверняка его поэзия — выдержанная и зрелая. Он пишет про пустыню и верблюда,

про пальму и закат. В высшей степени безликая; там говорится о смерти и очень мало — о любви. Он и сам довольно безликий. Ему мало что нужно от других. А как он пробирался украдкой, сунув газету под мышку, мимо окна гостиной, избегая миссис Рамзи, которую почему-то недолюбливал! Из-за этого, разумеется, она вечно норовила его остановить. Он кланялся. Неохотно останавливался и низко кланялся. Недовольная тем, что ему ничего от нее не нужно, миссис Рамзи спрашивала (Лили так и слышала ее голос) не нужно ли ему пальто, плед, газету? Нет, спасибо, ничего. (Тут он кланялся.) Было в ней некое качество, из-за которого он ее недолюбливал. Пожалуй, дело в ее властности, настойчивости, прагматичности. Сама непосредственность.

(Внимание Лили привлек шум — скрипнули петли. Окном гостиной играл ветерок.)

Наверняка она не всем нравилась, подумала Лили. (Понятно, что ступени пусты, но ей все равно. Теперь миссис Рамзи ей не нужна.) Некоторые считали ее излишне самоуверенной, слишком напористой.

Кроме того, некоторых, пожалуй, раздражала ее красота. Как однообразна, говорили они, всегда одна и та же! Им нравились иные жен-

щины — смуглые, жизнерадостные. И еще она потакала мужу, позволяла ему устраивать сцены. И еще была очень сдержанной — никто не знал наверняка, что с ней происходит. И (возвращаясь к мистеру Кармайклу и его антипатии) никому бы и в голову не пришло представить миссис Рамзи за мольбертом или с книгой на лужайке. Просто немыслимо! Без лишних слов, повесив на руку корзинку (единственный признак, что идет по делам), она отправлялась в город, к беднякам, сидеть у чьей-нибудь постели в душной комнатке. Весьма часто Лили видела, как она молча уходила посреди игры или разговора, с корзинкой, очень прямая. Лили обращала внимание, какой она возвращалась. Лили думала, усмехаясь (как аккуратно расставляет чашки) и в то же время умиляясь (от ее красоты захватывает дух): на тебя смотрели глаза страждущих. Ты была там, вместе с ними.

А после миссис Рамзи сердилась, что кто-то опаздывает, или масло несвежее, или на заварочном чайнике щербинка. И все время, пока она выговаривала из-за несвежего масла, Лили думала о греческих храмах и о том, что в душную комнатку наведалась красота. Сама она ничего не рассказывала — просто методично ходила

туда, и все. Ею двигал инстинкт, который влечет ласточек, улетающих на юг, или артишоки, что тянутся к солнцу, инстинкт, безошибочно обращавший ее к роду людскому, заставляющий вить гнездо в его сердце. И это слегка обескураживало тех, кто подобным инстинктом не обладал — мистера Кармайкла и, конечно, саму Лили. Обоим было присуще некое убеждение в бесполезности действия, в примате мысли. Ее уходы были для них упреком, придавали всему совершенно другой оборот, поэтому они ее осуждали, до последнего цепляясь за свои предубеждения. Чарльз Тэнсли — такой же, отчасти поэтому его и не любили. Он нарушал гармонию их мирка. Интересно, как у него все сложилось, задумалась Лили, рассеянно трогая кистью подорожники. Получил стипендию. Женился, живет в Голдерс-Грин.

Во время войны она однажды зашла в ратушу и слышала, как он произносил речь. Тэнсли что-то осуждал и кого-то клеймил, призывал к братской любви. И она испытала крайнее недоумение: как он может любить себе подобных, если не отличает одну картину от другой, ведь когда-то он стоял у нее за спиной, покуривая махорку («пять пенсов за унцию, мисс

Бриско») и считал своим долгом выговаривать ей, что женщины не способны писать, женщины не способны творить — не то чтобы он сам в это верил, но почему-то упорствовал?! И вот он стоит худой, раскрасневшийся и охрипший, вещает о любви с трибуны (среди подорожников, которые она ворошила кистью, ползали муравьи — красные, энергичные, блестящие муравьи, похожие на Чарльза Тэнсли). Сидя в полупустом зале, она скептично взирала, как он изливает любовь в промерзшее пространство, и вдруг в волнах закачалась старая бочка или что там еще, и миссис Рамзи принялась искать среди камней футляр с очками. «Ой, какая досада! Опять потеряла очки. Не трудитесь, мистер Тэнсли. Летом я их теряю тысячами», на что он снова уткнул подбородок в воротник, словно боялся допустить подобное преувеличение, но готов был простить его той, что ему так нравится и улыбается так чарующе. Наверняка он откровенничал с ней во время одной из тех долгих прогулок, когда компания разбредается и все возвращаются поодиночке. К его чести, он оплачивал образование своей младшей сестры, поведала как-то миссис Рамзи. Шевеля подорожники кисточкой, Лили прекрасно осознавала, что имеет о нем

весьма искаженное представление. В конце концов, это можно сказать о доброй половине наших представлений о других. Мы используем их в личных целях. К примеру, Тэнсли служил ей мальчиком для битья. Будучи в дурном настроении, она секла его по тощим бокам. Если же относиться к нему серьезно, то придется прислушаться к миссис Рамзи, взглянуть на Тэнсли ее глазами.

Лили насыпала небольшую горку, чтобы муравьи на нее взбирались. Своим вмешательством в эту маленькую вселенную она внесла смятение в их ряды. Одни бежали туда, другие сюда.

Нужно иметь пятьдесят пар глаз, чтобы видеть, подумалось ей. Нет, пятидесяти пар глаз не хватит, чтобы обыграть эту женщину. Одна пара должна быть совершенно слепа к ее красоте. Нам хочется обладать неким тайным способом восприятия, ясным как воздух, чтобы проникать в замочные скважины и окружать ее там, где она вяжет, разговаривает, молча сидит у окна в одиночестве; чтобы забрать ее себе и беречь, как воздух хранит клубы пароходного дыма, ее мысли, фантазии, желания. Что значила для нее эта изгородь, что значил для нее сад, что значила для нее бьющаяся о берег волна?

(Лили подняла взгляд, как делала миссис Рамзи, услышав, как волна накатывает на берег.) И что же ворочалось и трепетало в ее сознании, когда дети кричали: «Ну как? Ну как?» за игрой в крикет. Она прекращала вязать, прислушивалась. Затем снова впадала в забытье, и вдруг мистер Рамзи резко останавливался напротив нее, и миссис Рамзи охватывала непонятная оторопь, погружавшая ее в глубокую тревогу, когда муж стоял над ней и смотрел сверху вниз. Лили так и видела эту сцену.

Он протянул руку и помог ей встать. Казалось, ему приходилось так делать и раньше, когда он склонился над лодкой вот так же и помог ей выйти на берег, до которого была пара дюймов, поэтому без помощи джентльменов леди бы не обошлись. Старомодная сцена, для которой прекрасно подошли бы кринолины и галифе. Позволив ему помочь, миссис Рамзи подумала (как предполагала Лили), что время пришло. Пора дать ответ. Да, она выйдет за него замуж. И она медленно, тихо ступила на берег. Наверное, обошлась всего одной фразой, оставив руку в его руке. Я за вас выйду, могла сказать она, не отнимая руки, но не более того. Вновь и вновь между ними пробегала та же искра — конечно, про-

бегала, думала Лили, разглаживая неровности на пути муравьев. Ничего она не выдумывает, просто пытается разгладить складки на том, что ей вручили много лет назад в сложенном виде, на том, что наблюдала сама. Ведь в суматохе повседневной жизни, когда вокруг столько детей, столько гостей, постоянно возникает ощущение, что все повторяется — один предмет падает туда же, куда прежде упал другой, и получается эхо, которое звенит в воздухе и заставляет его вибрировать.

Впрочем, упрощать их отношения было бы ошибкой, подумала Лили, вспоминая, как они удалялись рука об руку, как шли вдоль теплицы. Отнюдь не безмятежное блаженство — ее импульсивность и порывистость, его тревога и уныние. Вовсе нет. Рано утром дверь спальни яростно хлопала. Он выбегал из-за стола в бешенстве, швырял тарелку в окно. И по всему дому хлопали двери, трепетали шторы, точно от порывов ветра, и все сновали туда-сюда, в спешке запирая замки и наводя образцовый порядок. В один из таких дней она встретила на лестнице Пола Рэйли. Они хохотали, как дети, потому что за завтраком мистер Рамзи обнаружил в своем молоке уховертку и вышвырнул весь стакан на террасу.

«Уховертка, — пораженно прошептала Прю, — в его молоке». Пусть другим попадается всякая мелкая мерзость, лишь бы не ему — он окружил себя такой стеной святости и занимал это пространство с таким королевским величием, что насекомое в молоке казалось чудовищем.

Но хлопанье дверей и швыряние тарелок утомляли и даже немного пугали миссис Рамзи. И тогда между ними наступало долгое, напряженное молчание, и она погружалась в то душевное состояние, которое особенно раздражало Лили — не могла спокойно пережидать бурю или смеяться со всеми, а что-то скрывала в своей усталости. Она предавалась тоскливым размышлениям и сидела молча. Через некоторое время он начинал украдкой слоняться неподалеку — бродил под окном, где она писала письма или разговаривала, а миссис Рамзи при его появлении принимала озабоченный вид и ускользала, притворяясь, что его не замечает. И тогда он становился нежен, как шелк, любезен и учтив, пытаясь таким образом ее завоевать. Она не поддавалась и на короткое время обретала гордость и высокомерие, обычно столь не свойственные ее красоте: отворачивалась, смотрела через плечо, сидя в компании Минты,

Пола или Уильяма Бэнкса. Наконец, стоя поодаль от компании, словно изголодавшийся волкодав (Лили поднялась с травы и постояла, глядя на ступени, на окно, где видела его), мистер Рамзи резко окликал ее по имени — вылитый волк, лающий на снегу, но она все еще держалась, и тогда он окликал снова, и на этот раз что-то в его голосе заставляло ее подчиниться, и она шла к нему, внезапно бросая всех прочих, и они вместе прогуливались между грушами, капустой и зарослями малины. Объяснялись наедине, но в каком настроении и какими словами? В их отношениях было столько достоинства, что Лили и Пол с Минтой отворачивались, скрывая любопытство и неловкость, и начинали рвать цветы, играть в мяч, беседовать, пока не наступало время обеда и они усаживались, как обычно, он — на одном конце стола, она — на другом.

— Почему бы кому-нибудь из вас не заняться ботаникой?.. Столько ног и столько рук, и никто… — Так они болтали и шутили с детьми. Все снова было как обычно, не считая едва уловимого трепета, словно воздух рассек клинок, который проскальзывал между ними, как будто привычный вид детей, сидящих над тарелками с супом, вызывал у них особое умиление после ча-

са, проведенного среди груш и капусты. Особенно часто, думала Лили, миссис Рамзи поглядывала на Прю. Та сидела в окружении братьев и сестер, всегда при деле, и следила, чтобы все шло как надо, поэтому сама почти не разговаривала. Как Прю винила себя, наверное, за уховертку в молоке! Как побелела, когда мистер Рамзи вышвырнул тарелку в окно! Как падала духом, когда родители не разговаривали друг с другом! В любом случае мать стремилась как-то загладить вину, уверяла дочь, что все хорошо, обещала, что в один прекрасный день ее ждет такое же счастье. Впрочем, наслаждалась им Прю меньше года.

Она просыпала цветы из своей корзинки, подумала Лили, прищурившись и отходя назад, будто бы для того, чтобы посмотреть на картину, которую совсем забросила, ведь все ее чувства пребывали в трансе, застыли на поверхности, но внутри двигались с предельной скоростью.

Она просыпала цветы из своей корзинки, опрокинула ее на траву и, неохотно и нерешительно, без вопросов и упреков — разве она не владела даром беспрекословного повиновения? — тоже ушла. По лугам, через долины, белые, поросшие цветами, — вот как Лили бы это нарисовала.

Суровые горы. Голые, каменистые. Ревущие волны разбиваются о скалы. Ушли, все трое ушли, миссис Рамзи стремительно шагает впереди, словно предвкушая приятную встречу прямо за поворотом.

Внезапно в окне, на которое она смотрела, замаячило что-то белое. Значит, кто-то вошел в гостиную, сел в кресло. Во имя всего святого, взмолилась Лили, пусть сидит там и не вздумает выйти к ней поболтать! К счастью, кто бы это ни был, пока он оставался внутри и по чистой случайности уселся так, что отбрасывал на ступеньку треугольную тень. Композиция картины слегка изменилась. Как интересно выходит! Можно попробовать это использовать. Настроение писать возвращалось. Продолжай смотреть, ни на секунду не ослабляя накал эмоций, не теряя твердости духа, не дай себя одурачить! Держи сцену в тисках — вот так — и не позволяй ничему вмешаться и все испортить. Как хочется, думала Лили, усердно макая кисть в краску, находиться на уровне житейского опыта, просто знать: вот — кресло, вот — стол, и в то же время видеть в них и чудо, и вдохновение. Пожалуй, проблему можно решить. Стойте, что это? Белая волна пробежала по стеклу. Наверное, ветерок

всколыхнул занавеску. Сердце Лили подпрыгнуло и мучительно сжалось от боли.

— Миссис Рамзи! Миссис Рамзи! — вскричала Лили, чувствуя, как накатывает прежний страх — хотеть, хотеть и не получить желаемого. Неужели она до сих пор на это способна? А потом без лишнего шума ей удалось себя обуздать, и оно тоже перешло на уровень житейского опыта — как кресло, как стол. Миссис Рамзи — по доброте душевной — совершенно запросто сидела в кресле, стучала спицами, вязала рыжевато-коричневый чулок, отбрасывая тень на ступени. Вот и все.

Ее разум переполняло то, что она думала, что видела, и ей срочно понадобилось всем этим поделиться, но отрываться от мольберта тоже не хотелось, поэтому прямо с кистью в руках Лили бросилась мимо мистера Кармайкла к краю лужайки. Где же теперь лодка? Где же мистер Рамзи? Он ей так нужен!

12

Мистер Рамзи почти закончил читать. Рука зависла над книгой, готовая перевернуть страницу, едва он дойдет до конца. Ветер ворошил его воло-

сы — он сидел с непокрытой головой и выглядел необычайно беззащитным и старым. Он выглядит, подумал Джеймс, рассматривая голову отца то на фоне маяка, то на фоне открытого моря, как древний камень на песке, как воплощение того, что всегда таилось в глубине души их обоих, — одиночества, в котором для них заключалась истинная сущность вещей.

Читал он очень быстро, будто ему не терпелось дойти до конца. Они почти доплыли до маяка. Вон виднеется, суровый и прямой, ослепительно-белый с черным, и волны рассыпаются осколками, похожими на стекло, о скалы у его подножия. На них уже различимы линии и складки, и окна можно разглядеть — на одном белое пятно, и пучок травы на камнях. Вышел человек, посмотрел на них через стекло и снова зашел. Вот он какой, значит, подумал Джеймс, тот самый маяк, на который он смотрел через бухту все эти годы; прямая башня на голой скале. Маяк ему понравился. Подтвердил некое смутное представление о его характере. Пожилые леди дома в саду, подумал Джеймс, вытаскивают кресла на лужайку. Старая миссис Беквит, к примеру, всегда говорит, что там очень мило и приятно, что они должны гордиться и быть очень счаст-

ливы, и вообще-то, думал Джеймс, глядя на маяк, стоящий на скале, так и есть. Он посмотрел на судорожно читающего отца с поджатыми ногами. Они оба знали. «На нас несется шторм, мы все обречены», — проговорил он нараспев вполголоса, в точности как отец.

Казалось, целую вечность никто не произнес ни слова. Кэм устала смотреть на море. Мимо проплывали мелкие кусочки черной пробки, рыбы на дне лодки уснули. Отец все читал, Джеймс смотрел на него, и Кэм тоже, и оба поклялись бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть, а он продолжал читать, понятия не имея, о чем они думают. Тем и спасся, подумала она. Да, со своим большим лбом и крупным носом, цепко держа перед собой пеструю книжечку, он спасся. Попробуешь наложить на него руки — он, как птица, расправит крылья, улетит далеко-далеко и устроится вне досягаемости, на каком-нибудь мертвом пне. Она посмотрела в бескрайнюю морскую гладь. Остров стал таким маленьким, что уже не походил на листок. Он был похож на вершину скалы, которую вот-вот накроет волна. И все же, несмотря на уязвимость, там остались дорожки, террасы, спальни — да мало ли чего. Но, как и перед сном, когда все упрощается настоль-

ко, что лишь одна из бесчисленного множества деталей может заявить о себе, так и теперь, поняла Кэм, сонно оглядывая остров, все дорожки, террасы, спальни тускнели и исчезали, и уже не осталось ничего, кроме бледно-голубого кадила, что мерно раскачивалось в ее сознании. Висячие сады, долина, полная птиц, цветов, антилоп… Она засыпала.

— Ну, давайте, — сказал мистер Рамзи, внезапно захлопнув книгу.

Давайте что? Пойдем навстречу приключениям? Кэм резко проснулась. Пристанем к берегу, полезем на скалы? Куда он их ведет? После бесконечного безмолвия его слова их ошеломили. Это уже ни в какие ворота! Он проголодался, сообщил отец. Время ланча. К тому же смотрите, сказал он, вот и маяк. Мы почти на месте.

— У него очень хорошо получается, — похвалил Джеймса Макалистер. — Он ровно держал курс.

А вот отец его никогда не похвалит, мрачно подумал Джеймс.

Мистер Рамзи развязал сверток и раздал сэндвичи. Вот теперь он был счастлив, перекусывая хлебом с сыром в компании рыбаков. Ему хотелось бы жить в хижине и слоняться по гавани, трепаться с другими стариками, подумал Джеймс,

наблюдая, как отец перочинным ножом нарезает на мелкие кусочки желтый сыр.

Верно, все верно, чувствовала Кэм, очищая вареное яйцо. Теперь она чувствовала то же самое, что и в кабинете, когда старики читали «Таймс». Теперь я могу думать о чем угодно и не сорвусь с обрыва, не утону, ведь он рядом, он присматривает за мной, думала она.

В то же время они так быстро неслись вдоль скал, что это было ужасно захватывающе — словно делаешь два дела сразу: ешь ланч на солнышке и удираешь от шторма после кораблекрушения. Хватит ли им воды? Хватит ли провизии? — спрашивала она себя, сочиняя историю, но вместе с тем зная правду.

Скоро для них все закончится, говорил мистер Рамзи старику Макалистеру, а вот их детей ждет много странного. Макалистеру исполнилось в марте семьдесят пять, мистеру Рамзи — семьдесят один. Макалистер сказал, что в жизни к доктору не ходил, и все зубы у него свои. Вот бы и мои дети так жили — Кэм наверняка знала, что он думает, потому что отец не дал ей бросить сэндвич в море, вспомнив про рыбаков и как они живут, и сказал: если не хочет, пусть положит обратно в пакет. Выбрасывать еду нельзя. Такой

рассудительный, словно знает обо всем, что творится в мире, и она сразу положила сэндвич обратно, и тогда он выдал ей из своего пакета имбирный орех, с галантностью испанского гранда, вручающего цветок даме в окне. Вид у отца был затрапезный, он по-простому ел хлеб с сыром и все же вел их в великую экспедицию, в которой они вполне могли утонуть.

— Вот где она пошла на дно, — внезапно выдал мальчишка Макалистеров.

Прямо здесь утонули трое моряков, сообщил старик. Он сам видел, как они цеплялись за мачту. А мистер Рамзи, поглядев на указанное место, был готов, как боялись Джеймс с Кэм, вскричать:

Но бездна, поглотившая меня,

и если бы он так поступил, они бы этого не вынесли, завопили бы в голос, не в силах вынести взрыва кипевших в нем страстей; к их удивлению, отец вполголоса сказал: «А-а», словно подумал про себя: к чему суетиться? Естественно, люди гибнут в шторм, но это совершенно обычное дело, и морские глубины (он посыпал их крошками от сэндвича, встряхнув пакет) — всего лишь вода. Раскурив трубку, он достал часы, посмотрел на них внимательно, словно производя

математические вычисления. Наконец он торжествующе произнес:

— Молодец! — Джеймс правил как заправский моряк.

Вот, подумала Кэм, безмолвно обращаясь к Джеймсу, наконец ты дождался. Она знала, что именно этого Джеймс и ждет, и знала, что теперь брат так доволен, что не взглянет ни на нее, ни на отца — вообще ни на кого. Он сидел, положив руку на румпель, прямо по струнке, глядел довольно угрюмо и чуть хмурился. Ему стало так приятно, что он не собирался делиться ни крупицей удовольствия. Отец его похвалил. Пускай все считают, что ему абсолютно все равно, но ты свое получил, думала Кэм.

Они сменили курс и теперь шли вдоль рифа легко и плавно по длинным покачивающимся волнам, которые передавали их друг другу необычайно живо и ритмично. Слева в зеленоватой воде просвечивала коричневая гряда, и об одну скалу, более высокую, непрерывно разбивалась волна, и брызги падали дождем. Слышался плеск воды и удары капель, шуршание и шипенье волн, накатывающих, резвящихся и хлопающих по скалам, словно дикие создания, совершенно свободные и готовые кувыркаться, озорничать

и развлекаться подобным образом вечно.

Теперь стали видны двое людей на маяке, которые наблюдали за лодкой и готовились к встрече.

Мистер Рамзи застегнул пиджак и подвернул брюки. Он взял большой, кое-как упакованный бумажный сверток, который собрала Нэнси, и положил на колени. В полной готовности он сидел, глядя на остров. Пожалуй, при своей дальнозоркости он мог различить очертания крошечного листика, стоявшего торчком на золотой полосе, вполне отчетливо. Что он видит? — гадала Кэм. У нее все расплывалось перед глазами. О чем он думает? — гадала она. Что он ищет так сосредоточенно, так тщательно, так безмолвно? Дети наблюдали, как он сидит с непокрытой головой и свертком на колене, уставившись на едва различимый голубой контур, похожий на дымок после того, что сгорело дотла. Что тебе нужно? — хотелось им спросить. Скажи, и мы дадим тебе все, что угодно! — хотелось им сказать. Но он их ни о чем не просил. Просто сидел и смотрел на остров. Может, он думал: мы гибли, каждый в одиночку, а может: я доплыл, я его нашел. Но так ничего и не сказал.

Затем он надел шляпу.

— Возьмите свертки, — велел отец, кивнув на приготовленные Нэнси вещи. — Это для смотрителей маяка, — пояснил он.

Мистер Рамзи поднялся и встал на носу лодки, очень прямой и высокий, перед всем миром, и Джеймс подумал, что своим видом он говорит: «Бога нет», а Кэм подумала, что сейчас он прыгнет прямо в небо, и оба поднялись, чтобы последовать за ним, когда он выскочил со своим свертком из лодки на скалу, легко, как юноша.

13

— Наверняка уже доплыл, — сказала Лили Бриско вслух, внезапно обессилев. Маяк стал почти невидимым, растаял в голубой дымке, и усилия, затраченные, когда она вглядывалась в даль и думала о том, как он там высаживается, эти два усилия, слившиеся воедино, измотали ее тело и разум до предела. И все же какое облегчение! Что бы ей ни хотелось ему дать, когда он покинул ее утром, она наконец отдала.

— Уже высадился, — проговорила Лили вслух. — Все кончено.

Пыхтя и отдуваясь, к ней взобрался мистер Кармайкл, похожий на древнего языческого

божка — лохматый, с травинками в волосах и трезубцем (это был всего лишь французский роман) в руке. Он встал рядом с ней на краю лужайки, грузно покачиваясь, и сказал, заслонив глаза от солнца: «Высадились», и Лили поняла, что права. Им не нужно было разговаривать. Оба думали об одном и том же, и он отвечал ей, хотя она ни о чем не спрашивала. Он стоял, простирая руки над всеми людскими слабостями и страданиями; ей казалось, что он наблюдает, снисходительно и сочувственно, конечную участь человечества. Теперь он подвел итог, подумала она, когда рука его медленно опустилась, словно он уронил с высоты своего роста венок из фиалок и асфоделей, который медленно покружился и наконец лег на землю.

Быстро, как будто ее позвали, Лили повернулась к холсту. Вот она, ее картина со всеми зелеными и синими мазками, с линиями, бегущими снизу-вверх и поперек, ее попытка чего-то добиться. Картину повесят на чердаке, подумала Лили, ее уничтожат. Да какая разница? — спросила она себя, снова берясь за кисть. Она посмотрела на ступени — там никого не было, она посмотрела на холст — он расплывался перед глазами. С внезапным воодушевлением,

словно за миг все поняла, она провела линию там, в центре. Готово, картина закончена. Да, подумала она и отложила кисть, ощущая крайнюю усталость, я это увидела именно так.